

84260

# НОВЫЙ МИР

9

---

МОСКВА

1945

# НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Москва, 1945 г.

№ 9

Год издания XXII

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
КОНСТ. ФЕДИН — Первые радости, роман. Окончание	2
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ — Стихи	29
СЕРГЕЙ МИХАЛКОВ — Смех и слезы, пьеса	31
АЛЕКСАНДР КИРСАНОВ — Стихи	58
МАРИЭТТА ШАГИНЯН — Челябинские колхозы	60
ЮЛИАН ТУВИМ — Лирика, перевод с польского Ник. Асеева	70
С. УШАКОВ — Будни летчиков	72
ЛЕВ ЧЕРНОМОРЦЕВ — Стихи	85
А. РУБАКИН — Французские стихи	86
А. ДЕРМАН — Михаил Исаковский	102
АН. ВОЛКОВ — Новые материалы о Горьком	113
Э. ПАПЕРНЫЙ — Поэт-патриот	116
БИБЛИОГРАФИЯ	
ГРИГОРИЙ ЛЕВИН — Человек в природе	120
Я. РЫКАЧЕВ — Неудачная повесть	123
Х. ХЕРСОНСКИЙ — Неумирающие актеры	125
Г. БРОВМАН — Книжка о Грибоедове	128
НОВЫЕ КНИГИ	130

# ПЕРВЫЕ РАДОСТИ

Роман\*

КОНСТ. ФЕДИН

★

32.

Вскоре после свадьбы Лизы выпал золотой день, точно затерявшаяся карта из давно сыгранной колоды. Решено было отменить всю намеченную программу удовольствий и итти на яхте.

За рулем сидел Витенька, на парусах менялись двое его закадычных друзей, Лиза устроилась на носу. Ветер дул боковой, шли попеременно правым и левым галсом, выписывая широкую кривую от песков к берегу и назад к пескам, и Лиза вскрикивала на поворотах, когда перекидываемый парус валял яхту с борта на борт. Лизе не было страшно, она вскрикивала от удовольствия и потому, что это веселило яхтменов и они смеялись. Яхта была крашена в белое с голубым и носила имя «Лепесток». И правда, легкопослушная, она летела по бутылочно-зеленой чешуйчатой волне, и парус ее был похож на загнутый край белого лепестка.

Когда вышли на стрежень, Зеленый Остров развернулся всею ширию своих зарослей. Они уже перекрасились по-осеннему — ивово-серебряная поредевшая листва была почти проглочена лимонным тоном, местами — в пятнах табачного оттенка, нежно сливавшегося с неаполитанской желтизной песка.

Шипуче вколоса киль яхты в податливый берег острова, и шумное щелканье хлеставших друг друга ветвей тальника заполнило собою весь простор между рекой, землей и синим небом.

Все выпрыгнули на берег, зачерпнув башмаками рассыпчатого тонкого песка. Раскинули, вместо ковра, большой парус, расставили посуду, Витенька попробовал свой тенор. Это был голос неискушенного, любящего слушать себя певца, он высоко поднялся и быстро упал, как загоревшаяся солома, и Лиза удивленно вытнула шею, открывая в муже неизвестное и

довольно внушительное качество. Выпив вина, попробовали спеть хором, но ни одной песни никто не знал до конца. Дружнее всего получались студенческие кулеты, которых тоже не помнили толком, но зато повторяли с удовольствием:

От зари до зари,  
Лишь зажгут фонари,  
Вереницей студенты шатаются.  
А Харлампий святой,  
С позлаченной главой,  
Смотрит сверху на них, улыбается.  
Он и сам бы не прочь  
Прогулять с ними ночь,  
Да на старости лет не решается.  
Но соблазн был велик,  
И решился старик...

Дальше что-то выходило нескладно, хотя всем было известно, что старик спустился со своих высот, отвел со студентами душеньку, за что и был исключен из святого сословия неумолимым небесным советом.

Почему-то и Витюша, и — особенно — Лиза взгрустнули, заговорив о бесшабашной студенческой жизни. В самом деле — судя по рассказам — какая прелесть московские ночные чайные, где извозчики едят яичницу и тертую редьку; как уютно сидеть на бульваре, перелистывая конспект лекций, а иногда и задремывая на плече друга; как должны развлекать переезды с корзинкой белья, подушкой и связкой книжек от одной хозяйки к другой; как поэтичны походы на Воробьевы горы, откуда видны сотни газовых уличных фонарей и фейерверки народных гуляний; как забавно сдавать друг за друга зачеты рассеянным профессорам или ходить всем по очереди в одном и том же мундире на вечеринки.

— Жалко только, что эти студенты лезут в политику и портят себе веселую жизнь, — сказал Витюша.

— Да, — согласился приятель, — занимаются сбором денег для сыльных, заводят оружие, потом устраивают беспорядки. Тут, на острове, есть место, куда сту-

\* Окончание. См. «Новый мир», 1945 г. №№ 4, 5—6, 7, 8.

денты приезжали учиться стрелять. Хотите покажу?

— Недалеко?

— Вон, где большие деревья.

Решили пойти посмотреть. Тальник гибко расступался, пропуская тянувшихся гуськом прищельцев, и тотчас плавно смыкал свои прутья за каждым в отдельности, так что казалось, будто чудовищный змий ползет зарослями, распяливая и сжимая кольца одночленного своего тела. Здесь человек терлся, как иголка в стог сена, и не даром Зеленый Остров был излюблен всеми, кто искал надежного уединения — рыболовами, донжуанами, подпольщиками, самоубийцами, ружейными охотниками, беглецами. Природа покровительствовала равно всем, казня человеческие страсти мошкарю и комарами, вознаграждая ландшафтом, купаньем, привольным отдыхом на горячем пляже. Расцветками своих одежд остров отвечал самой утонченной мечте горожанина, и теперь, в осеннюю пору, озерца, заводи, лозовый подросток, рощицы и одинокие деревья соединяли в себе удовлетворение и сладость после боли, как чувство матери после родов.

Вышли на поляну, окруженную ветлами и ольхою, между которыми поднимался бледностволный, косоплечий осокорь. Картина была уже подготовлена к переходу на зиму — помятое сухое былье на земле носило палевою окраску, деревья брызгались и небо ярко прорезывалось сквозь темную сеть их ветвей.

Объемистый ствол осокоря на высоте от пояса до головы человека был начисто облущен от коры и белая древесина его ирещена в решето следами гаубоко заевших пуля. Витюше удалось выковырнуть ножом одну расплющенную пулю, и приятели поспорили — какому оружию она принадлежит.

— Конечно — браунингу, — говорил витьенькин друг, — потому что теперь у боевой дружины только браунинги. Я знаю.

— А почему ты знаешь, когда был сделан выстрел?

— Потому, что пуля не успела проржаветь. И потому, что она на самой поверхности. Старые пули сидят в глубине, а новые на поверхности. Ты что думаешь? Весь ствол насквозь забит свинцом. Видишь, дерево-то высохло.

Он потянул книзу большой корявый сук, который с хрустом отломился.

— Как хворост. Ты что думаешь? Может в это дерево стреляла еще сама Перовская. Она сюда приезжала, на сходку.

— А кто это? — спросил Витюша.

— Много будешь знать, скоро состаришься. Вон наши мальчишки, которых летом посадили в тюрьму, больно много знали. Они этой весной тоже сюда приезжали с браунингами, я был на рыбалке, идел.

Лиза слушала с увлечением и так внимательно рассматривала осокорь, будто хотела навсегда унести в памяти каждую щепочку его измочаленного ствола, каждую ямку опаленных следов стрельбы.

Витюша, подойдя к ней, вдруг сильно ущипнул ее два раза в ногу. Она вскрикнула.

— Ты что? — недоуменно спросил он. — Тебя кто-нибудь укусил?

Она ничего не могла ответить: его лицо выражало совершенно невинное беспокойство. Но тут же с капризной скукой он сказал:

— Ну, нагулялись, довольно. Надо ехать домой.

Его пробовали отговорить, но он заупрямился: у него разболелась голова, наверное — от солнца, и он уверял, что теперь, конечно, расхворается.

На обратном пути он не хотел ни править, ни держать парусов, а уселся на носу, заняв место Лизы, и отпустил только одно слово рулевому, когда у того, на повороте, сорвалась рука и яхта едва не хлебнула воды:

— Шляпа!

В яхтклубе, оставшись вдвоем с мужем, Лиза спросила, что с ним происходит, но он сделал вид, будто его окружает только свежий воздух. Она шла за ним с ощущением наказанной. Он нанял дикача и привез ее домой, не проронив ни звука.

Он заперся у себя в комнате и не подавал голоса до вечера, пока не пришла Дарья Антоновна, которой он пожаловался через дверь на нездоровье. Лиза должна была выслушать упреки телушки: как можно, действительно, не позаботиться о молодом супруге? — может быть ему нужен компресс на лобик или грелочку к ногам, а может быть надо послать за доктором? Стоя перед дверью, расписанной поддуб, и наклонив голову набок, чтобы лучше разбирать ответы больного, Дарья Антоновна вела переговоры:

— А градусник ты не поставил?

Нет, оказывается, градусника Витьенька не ставил.

— Но мыслимое ли дело без градусника?

Оказывается, мыслимое.

— Ну, а испарина у тебя есть?

Испарины никакой не было.

— А может тебя знобит?

Нет, ни капельки даже не познобило.

— Ну а если только голова, так ведь надо принять что-нибудь внутрь?

А вот принять Витьенька ничего не хотел. Он хотел совершенно отдаться страданию, если уж его до этого довела.

— Ах, довели? — ужаснулась Дарья Антоновна, направляя осуждающий взор на Лизу. — Но ведь вот и Лиза стоит здесь у двери и тоже страдает. Так, может, вы тогда лучше вместе будете мучиться, — все-таки облегчительнее, а?

Но на такое лукавство Витенька вовсе не откликнулся.

Уже поздно ночью, когда Лиза засыпала, он появился у постели — в халате и мягких туфлях. Даже усики его раскрутились и повисли, лицо же решительно осунулось и затекло, как будто от излишнего сна. Не проспал ли он на самом деле, весь вечер? — подумала Лиза. Но нет, Витенька одновременно крайне отличался от человека спронея: он дышал, как скороход после огромного прсбега.

— Если ты считаешь меня идиотом, то напрасно! — распахенно выдохнул он.

— Но ответь же мне, почему ты вдруг переменялся? — с искренней тоской воскликнула Лиза. — Что за мысль тебя мучает?

— Желаеть знать мою мысль? Я скажу. Я все равно сказал бы. Я не люблю скрывать, я прямой. Но ты тоже не скрывай: для меня это — острый нож, слышишь?

Он наклонился над постелью.

— О ком ты думала на острове, когда стояла у дерева? О ком? Когда мы рассматривали пулю, — о ком?

— Я... о ком? — переспросила Лиза, приподнявшись на локтях и слабо отодвигаясь. — Ни о ком.

— Нет, врешь! — сказал он, следуя за ее движениями, так что она все ближе слышала его дыханье.

— Я никогда не говорю неправду.

— А вот говоришь! Не хочешь признаться, что думала о своем Извекове? Я ведь знаю, что у тебя было с Извековым! Молчишь? Мне ведь все рассказали, все, как есть!

Он продолжал нависать над ней, и Лиза не узнавала его: не то он превращался в младенца, не то дряхлел на виду, и постаревший рот его дрожал от обиды. Потом он распрямился, словно с торжеством убедившись, что произвел необходимое впечатление и голосом судьи, читающего приговор, объявил:

— Если ты думаешь, что мы поедem в свадебное путешествие, то ошибаешься. Путешествие не состоится.

— Я тебя не принуждаю.

— Ты не имеешь права меня принуждать!

— Хорошо. Я тебя не прошу.

— Ага! Ты обиделась! Значит, я тебя разгадал! Если бы я ошибся насчет Извекова, ты не обиделась бы. Имей в виду: я читаю твою душу насквозь!

Он неожиданно всхлипнул и, сгорбившись, пошел из спальни, волоча пришитый к халату длинный пояс с красными помпонами.

Лизу поразило эффектное, почти актерское выполнение семейной сцены, но ей стало жалко Витеньку и сначала она готова была как-нибудь скорее загладить ссору. Он представился ей очень молодым,

гораздо моложе, чем ощущала она себя. Ему недоставало сильного влияния, как распущенному ребенку, и Лиза серьезно обдумывала — с чего начать, чтобы постепенно исправить его характер? Ее чувство к нему было, конечно, несвободно. Поэтому она испытывала подобие вины перед ним и почти догадывалась, что он должен пережить разочарование. Может быть оттого она его и жалела. Он ждал от нее страсти, и она тоже мечтала отдать свою нежность, но еще боялась окончательно сознаться, что могла бы отдать ее полностью только кому-то другому. Ей стало ясно, что если бы она захотела чистосердечно объясниться с мужем, то надо было бы поворить о самом главном, а самое главное было то, что она вынуждена была скрывать. И она подавила желание скорее загладить ссору. Ведь кто-то из двух должен был бы просить извинения. Если бы стала просить она, значит, она признала бы, что он прав. Но стоило ей это признать, как неизбежно возник бы разговор о самом главном, о том, что она скрывала. Она решила ждать, когда извинится он, потому что в таком случае правота осталась бы за ней, а это и было так: ведь, если не считать самого главного, то виноват была именно он, — с его грубостью, хитростью, ребяческим озорством. Как всегда в молодых браках, она еще была убеждена, что жить совместно нельзя в ссоре, и не подозревала, что раздор, обиды, оскорбления редко прерываются людьми, трясется в семейном фургоне до могилы. Она сделала первый шаг к перевоспитанию мужа: начала ожидать его раскаянья.

Однако Виктор Семенович не спешил с ремонтом покачнувшегося благополучия. Его натура редкость легко восполняла потери приобретениями. В первые же недели женитбы, на глазах Лизы, он мигом сменил одно увлечение другим. То его поглощала нумизматика: он ходил по церквям и наменивал в свечных ящиках пятакoв, алынонoв, грошей и полушек. Он вел знакомства с ктиторами и приваживал нищих, которые несли ему, не без выгоды для себя, старые медяки. У него стояли целые мешки позеленевших денег, и он копался в них, чтобы отыскать по каталогу какой-нибудь семик времен Очакова и покоренья Крыма. То он забросил монеты, наткнувшись в своем столе на старый альбом почтовых марок и тотчас воскресив забытую любовь к филателии. Вместо нищих, к нему потянулись школьники, и день за днем шла погоня за марками земской почты и мена Трансуаваля на Колумбию или Сиамом на Канаду.

— Комиссионеры мой, гимназисты — образованный народ, — говорил при этом Витенька, — ведь марки так расширяют кругозор!

Он отдавал все свободное время любому своему увлечению, а так как в его власти



превращал голубей в ленты, воду — в дым, партерный акробат расписывался воздушными сальтомортале. Появилась на просцениуме певица — блондинка в черном платье, окутывавшем ее так тщательно, как будто она боялась показать даже ничтожнейшее пятнышко тела: воротник был поднят косточками до самых ушей, шлейф обвивал ступни ног, черные лайковые перчатки затягивали руки выше локтей. Положив ладонь на ладонь, она прижимала кисти к груди и с томительным усилием старалась расцепить их, и все не могла, и томилась все больше и больше, обводя столики глазами, полными слез, и распевая грустным контральто:

Жалобно стонет ветер осенний,  
Листья кружатся поблещкие.

На смену ей выскочила к рампе, под звон рояля, певица совершенно противоположного темперамента. На ней не было никакого платья, а то, что было, казалось, крайне обременяло ее, не давало покоя ни на секунду, и она все хотела стряхнуть с себя сборчатый газовый поясск-лачку, и для этого закидывала ноги настолько высоко, что туфельки все время мелькали около лица, и свое нетерпение она объясняла бурными выкриками:

От Китая без ума я!  
Что за чудная страна!

Все столики аплодировали и требовали, чтобы она спела «Брандмайора». Она убежала за кулисы, снова выскочила, опять убежала и, вернувшись, пропела «Шантеклеров». От этого столики еще упрямее, еще злее потребовали «Брандмайора». Она сбегала за кулисы три раза и, наконец, исполнила желание зала. Ее восторг от «Китая» и «Шантеклеров» не шел ни в какое сравнение с тем экстазом, который пробуждал в ней «Брандмайор». Она просто кипела, хлопотала, извивалась, показывая зрителям всю свою безмерную слабость к тушителю пожаров.

Витенька хлопал в ладоши, не отставая от публики, и опрокинул бокал вина.

— Вот это настоящая штучка! — воскликнул он, отряхиваясь салфеткой.

Но, посмотрев на жену, обнаружил, что она не разделяет его восхищения. Щеки Лизы горели, брови сжались, она глядела себе в тарелку.

— Не понравилась? — с сожалением спросил Витюша. — Ведь это и есть шансонетка!

— Тебе приходится поворачиваться, — сказала Лиза. — Давай переменимся местами.

— Зачем же? Отсюда ведь хуже видно.

— Мне будет приятнее — спиной к сцене.

Они пересели, и Витенька сказал друзьям:

— Она у меня еще ребенок.

Все стали смеяться, упрощивая Лизу обернуться, как только появлялась новая шансонетка.

— Ну, взгляни, взгляни, — приставал Витюша, немного пьянея, — ну, эта совсем скромненькая!

— С ней можно идти к обедне, — подпевал один приятель.

— Не видно даже коленок, — заботливо разъяснял другой.

Вдруг Витюша заметил в глазах Лизы странное движение, как будто они медленно переменили свой светлый зеленовато-голубой цвет на темный и расширились, росли. Он заерзал, нахохлившись, осмотрелся и среди незнакомых голов, за дальним столиком, уловил выхоленную, отливавшую черным пером шевелюру Цветухина. Снова поглядывая на Лизу, он увидел, что она торопливо поправляет воздушные свои чуть-чуть распадающиеся волосы. Ему почудилось — у нее дрожат пальцы. Он нагнулся и сказал негромко:

— Вот зачем понадобилось тебе переменить место!

Она только успела поднять брови. Он ударил ее под столом носком башмака в лодыжку, так что она сморщилась от острой боли. Он чокнулся с приятелями, высоко поднимая бокал:

— Друзья мои! За святых женщин! За тех, которые не выносят легких зрелищ!

Они не успели допить, когда перед ними возникли Цветухин и Пастухов — в вечерних костюмах, с белыми астрами в петлицах, дымящие необыкновенно длинными папиросами. Пожав Лизе руку, они раскланялись с компанией.

— Познакомьтесь, — сказала Лиза глухо и неуверенно, — мой муж, Виктор Семенович.

Витенька и за ним его товарищи с некоторой строгостью поднялись и наклонили головы.

— Мы хотим вам предложить, — запросто сказал Пастухов, — объединиться за одним столиком. Вам весело, и мы с Егором полны зависти. Хотите — пойдем к нам, хотите — мы переберемся сюда, здесь лучше видно.

— Нет, — ответил Витюша, — моя жена первый раз у Очкина. Она рассказывает, что пошла. Она не переносит открытой сцены. Она любит театр.

Он задел Цветухина белым взглядом.

— Очень похвально, — серьезно одобрил Пастухов, — давайте глубже исследуем эту проблему за бутылкой Дюпре.

— Ведь вы — спортсмен, — сказал Цветухин, улыбаясь Шубникову, — сейчас будет французская борьба.

— Моя жена не может видеть даже недетых женщин, тем более — мужчин. Она хочет домой. — Витенька внушительно поклонился.

— Как жаль, — сказал Цветухин Лизе, — мы думали с вами поболтать. Оставайтесь.

— Нет, она ни за что не хочет остаться.

— Я вижу, воля супруга — закон, — опять с улыбкой сказал Цветухин.

— Да-с, закон-с! — шаркнул ножкой Витюша и адресовался к приятелям. — Вы заплотите, я потом разочтусь. Идем, Лиза.

Он показал ей дорогу театральным жестом, она простилась и пошла вперед между столбиками, он — позади нее, всю фигуру изображая безукоризненно предупредительного и покорного кавалера.

Он опять застегнул себя на все пуговицы. Но, придя домой, будто одним махом рванула свои одежды неприступного молчаливика, и пуговицы посыпались прочь: Виктор Семенович Шубников явился заново во всей полноте натурального своего вида.

Он упал в первое подвернувшееся кресло гостиной, крикнул женским голосом и зарыдал. У него трепетали руки, ноги, тряслась голова, он метался, заливая себя слезами, то откидываясь навзничь, то падая на колени и стучаясь лицом в мягкое сиденье так сильно, что гудели пружины.

Лиза смотрела на мужа с чертовой неприязнью, но потом ей стало жутко от мысли, что он — припадочный. Она кинулась за водой и поднесла ему стакан, но он отмахнулся, расплескал воду и принялся кричать еще пронзительней. Постепенно весь дом был поднят на ноги, и тетушка прибежала из своей половины. Кое-как Витюшу отвели в постель, где он продолжал кататься по пуховикам до полного изнеможения. К визиту доктора он лежал пластом и был похож на мертвеца. Тетушка тихо плакала, доктор сочувствовал ей, но лечение назначил самое нейтральное: валериановые капли в случае повторения бурности, а в прочем — покой, обыкновенное питание и ванна двадцати девяти градусов.

Эти двадцать девять градусов (не тридцать и не двадцать восемь) особенно насторожили Дарью Антоновну: очевидно, болезнь была нешуточна, а так как до жентяббы с Витенькой ничего подобного не приключалось и ему становилось явно хуже, если Лиза показывалась на глаза, то причину несчастья надо было искать в неудачном браке.

— Что ж, милая, ходить по комнатам скрестя ручки, — сказала как-то поутру Дарья Антоновна Лизе. — Витенька когда еще поправится, а ведь дело-то не стоит. Стулай-ка посиди за кассой в лавке на базаре. Мне одной не разорваться.

И хотя Витенька меньше всего уделял забот делу, от Лизы стали требовать так много, точно он работал не покладая рук, и она начала проводить время за торговлей красным товаром, неподалеку от магазина отца, где еще так недавно впервые встретила своего суженого.

33.

Когда произносили слово «базар», Лиза вспоминала давний детский страх перед ним, собиравшим милостыню на Пешке. Он сидел на земле, ощеривая зубы, как лошадь, старающаяся вытолкнуть языком неудобный мундштук, и любой мельчайший кусочек его лица дергался, составляя в ужасном танце с головой, плечами, всем телом. Мать сказала ей, что он болен пляской святого Витта, и велела всегда подавать ему две копейки. Она подавала, но всякий раз, бросив медяк в расписную деревянную плошку, которую нищий держал в ногах, она убежала и забиралась подалее в народ, чтобы не видеть пляски страшного лица. Поэтому она постоянно обходила базар как можно дальше.

Правда, на Пешке был один приятный угол — несколько арок старого Гостиного двора, где торговали птицеловы. На облезлых стенах снаружи и внутри арок висело множество клеток и силков, населенных сотнями щеглов, синичек, снегирей, клестов, свист которых издавала чудилась музыкальным ящиком с поломанными иголками. Среди торговцев ей нравился старик-птичник, похожий на некрасовского дядю Власа. Он обучал пению молодых соловьев, сидевших у него в закрытых холстинками низеньких клеточках. Лиза останавливалась около Власа, смотрела на его широконосое овчинного цвета лицо в кучерявом кустарнике бороды и усов, с крошечными на месте глаз щелочками, и ей бывало удивительно, если вдруг в щелочках вспыхивали два огонька в булавочную головку, а из кустов бороды вырывалось щекалье, трель, посвист и бархатный разлив соловьиной песни. На Благовещенье она приходила сюда выпускать на волю синичек, держала в горстях тепленькие пушистые птички тельца, подбираывала их, глядела, как, чиркнув стрелой и выписав два-три фистона в воздухе, синицы садились тут же на фронтон Гостиного двора и долго чистили и расправляли отвыкшие от полетов крылья. Часто потом во сне она видела, как сама взлетает на руках странно легко, быстро, будто бестелесно и садится на железную крышу Гостиного двора.

Верхний базар был жестким, жадным, каким-то безжалостно-отчаянным, забубенным. Толпа кишела шулерами, юлашниками, играющими в три карты и в наперсток. Дралась пьяные, ловили и били на смерть воров, полицейские во всех концах трещали свистками. Кругом ели, лопали, жрали. Торговки протирали салыем в ладнях колбасы — для блеска, жарили в подсолнечном масле олады и выкладывали из них целые каланчи, башни и горы. Хитрые мужички-раешники показывали панорамы, сажая зрителей под черную за-



навеску, где было душно и пахло керосиновыми лампами. Деревенский наезжий люд бестолковыми табунками топтался по торговым рядам, крепко держась за кисты с деньгами. До одури билась за цену татары, клялись и божились старухи, гундели Лазаря слепцы, да божи старички, обещанные снизками луковиц, то-ненько зазывали — эй, бабы! луку, луку, луку!

Лиза часами смотрела через окно лавки на неугомонную толчею базара.

Раз в скучный, холодный полдень она увидела высокого мужика с кошной бело-брысых кудрей, который, держа на руках ребенка, пропискивался через кучу людей к шулеру, игравшему в карманку. Игра состояла в том, что шулер метал на подстилочку шоколадные плитки с приклеенными к обложкам красавицами. Плитки ложились картинкой вниз, и любую из них требовалось открыть, как ипральную карту. Если партнер брался за голову красавицы, то он выигрывал шоколад, а если — за ноги, то платил его стоимость. Все делалось честно: шулер показывал, как держит плитку кончиками пальцев за уголок, и все видели — где голова, где ноги красавицы; потом он кидал плитку, и она, мгновенно описав дугу и сделав неуловимый поворот, падала на подстилку. Играющий почти наперно обманывался и проигрывал. Но подчурный шулера, потихоньку работавший с ним впару, выигрывал плитку за плиткой на глазах у публики и разжигал азарт простофилю.

Когда мужик с ребенком пролезал через толпу, к нему подскочила сзади девочка, такая же светловолосая, как он, и потянула его за пиджак.

Через отворенную форточку Лиза слышала истойчивый голосок:

— Пап, а пап! Не надо, ну, не надо!

Мужик обернулся, сказал:

— Я выиграю тебе с братиком, стой, — и опять полез, раздвигая людей.

Через мгновение он снова обернулся, с кривой виноватой улыбкой на впалых щеках:

— Проиграл. Погоди, еще одну попытаю.

Но едва он сунулся к шулеру, как подбежала маленькая женщина в шляпке с канарейкой и вместе с девочкой вцепилась в его пиджак.

Он отмахнулся, ударил их по рукам, крикнул в полуоборот:

— Да ну вас! Пускай Павлик потянет, Павлик на свое счастье! Тяни, Павлик!

Он спустил на землю ребенка и, нагнувшись, принялся подтакивать его вперед, под веселое одобрение ротозеев.

В это время женщина с девочкой, озлобленно перешептываясь, стали к окну бочком, и Лиза узнала Ольгу Ивановну и Аночку. Она постучала им в стекло, но они не слышали, потому что мужик обрадованно закричал:

— Выиграл! Павлушкино счастье не выдало!

— Ну и хорошо, ну и слава богу, и довольно, и пойдем, — затараторила Ольга Ивановна.

— Да ты стой, — сказал мужик успокаивающе-добродушно, — ведь я только квит: раз проиграл, раз выиграл. Пускай Павлик еще потянет. Он возьмет, он счастливый!

— Выиграл, и хорошо, и довольно!

— Не талдычь, говорю. Пускай Павлик вытянет себе шоколадку. Если выиграет — значит нам твоя барыня поможет.

Народ уже охотно пропустил его с Павликом, которого он опять толкал вперед. Шулер лихо метнул, все обступили ребенка, крича мужику:

— Ты не подтакивай! Не тронь, пусть сам возьмет! Возьми, малец, конфатку. Возьми!

Павлик цапнул плитку и потащил прямо в рот, но к нему сразу потянулось много рук, огняли у него плитку, поглядывая за какой конец он взялся, и он громко заревел.

— Проиграл! — мотнул головой мужик. — Не повезет нам с барыней. А ну еще!

Он полез в карман за деньгами. Но Ольга Ивановна схватила плачущего Павлика, передала его Аночке и повисла на руке мужика:

— Пойдем, пойдем!..

Лизе захотелось непременно вмешаться — купить Павлику гостинца, приласкать его, и она выбежала из-за прилавка. Но в эту минуту все семейство Парабукиных медленно вступило в магазин, ей навстречу.

Ольга Ивановна протянула Лизе ручку, часто и удивительно живо кивая, — в своей дергающейся на слабой резинке шляпочке.

— Простите нас, милая Лизавета Меркурьевна, что мы так все к вам сразу! Это — мой муж. А нашу Аночку вы ведь знаете. А это Павлик, мой младшенький. Что же ты, Аночка? Поздоровайся, как следует. Поставь Павлика на ножки, вытри ему носик. Мы, знаете, Лизавета Меркурьевна, осмелились сперва — прямо к вам домой, а там нам говорят — муженек ваш расхворался и даже совсем не встает с постели, а вы, вместо него, в лавке сидите. Вот мы сюда к вам и пришли, простите нас, ради бога. Что это такое с вашим муженьком? Ведь такой молодой! Павлик, вынь пальчик из носика, перестань плакать, вон дяденька тебя возьмет, вон, за прилавком! Ну да ничего, поправится, правда? А вы — как были такой молодой девочкой, так и остались. Как будто и замуж не выходили. Правда, Тиша, я тебе говорила — какая Лизавета Меркурьевна красавица?

— Да уж проси о деле-то, — сказал Парабукин, — не отнимай время.

Он остановился у косяка, смущенно закрывая пальцами подбитый глаз, другой рукой придерживая докоток Аночки, в свою очередь взявшую за ручку Павлика. Перед этой лесенкой выдвинулась Ольга Ивановна, стоявшая посередине магазина лицом к лицу с неподвижной и растерянной Лизой.

— Уж и не знаю, как начать, — задыхаясь от торопливости, лепетала Ольга Ивановна, и глаза ее старались разгадать, что думает Лиза, и бегали, шурились и вновь выплывались до болезненно-огромного своего размера.

— Вы ведь знаете, мы проживаем у вашего папаша, в ночлежном доме. Так вот, неизвестно почему и за что, и как это вышло, но только папаша ваш не влюбил моего Тишу — мужа моего — вот он сейчас с нами. Не влюбил, не влюбил и, знаете, приказал нам съезжать с квартиры. Не верите? Мы, знаете, тоже сначала ни за что не хотели верить. Да теперь, хочешь — не хочешь, поверил, потому что Меркурий Аадеевич грозитя полицией и слышать не хочет, что у нас дети и что мы без всяких средств пропитания, и Тиша, муж мой, совсем больной после увечья на работе, — смотрите на него, — разве это работник? И вот одна у нас теперь надежда на ваше на доброе сердце, милая Лизавета Меркурьевна.

— Господи я что же, — проговорила Лиза, незольно оглядываясь на приказчиков, с любопытством наблюдавших сцену. — Конечно, я чем могу...

— Золотая моя! — воскликнула Ольга Ивановна и всплеснула от умиления руками. — Ведь вы теперь такая богатая! Ведь уж наверняка найдется у вас какая-никакая комнатка! Уголок какой, так себе, что ни на-есть захудалый. Нам ведь, ей-богу, много не надо! Мы с тесной давно-давно помирились. Уж как-либо, пожалуй-ста!

— Я право, не знаю.. как мой муж.. какие возможности у тетушки, то-есть именно — с жильем, — сказала Лиза. — Я думаю, может быть, переговорить с папой?

— Ах, что вы, что вы! Он нишпочем не захочет.

— Все-таки если я его очень попрошу... Милая, милая! Вы ведь сама доброта, я вижу! Но разве он согласится? Он уж так на нас рассерчал! Слышать не хочет! А куда мы пойдем с детишками? Если бы не они, да разве мы с Тишей ходили бы просить по людям? Мы тоже ведь прежде прилично жили. Тиша был очень даже непростым служащим... Может вы его даже на службу к себе возьмете?

— Ладно, ладно, — прогудел Парабукин. Лиза взглянула на него, потом — с мучительным, несмелым состраданием — на

детей, и Аночка, перехватив ее взгляд, подалась вперед и выговорила, в голос матери, сбивчивым, поспешным говорком:

— Правда! Правда! Вы скажите, чтобы нас не трогали. Пожалуйста. Я-то не боюсь. Я проживу на улице. И папа мой тоже. А Павлик маленький, ему холодно.

Лиза рванулась к ней и обняла ее за плечи.

— Ах, боже мой! — вскрикнула растроганная Ольга Ивановна, порываясь тоже броситься в объятия к Лизе, но дверь широко распахнулась, почти придавив к косяку Парабукина, и Виктор Семенович Шубников, шагнув в магазин, обвел всех по очереди взъезжающим глазом.

— Что это ты обнимаешься? — спросил он Лизу, — с родней, что ли, своей?

Мгновение было тихо, никто не двинулся.

— Кто это тебя ходит разыскивает! Что за свидания такие, в магазине?

— Вы нас извините, — собравшись с духом, сказала Ольга Ивановна, и поклонилась, и поправила шляпку, и сделала чуть заметный шагок назад, выражая крайнюю деликатность. — Мы пришли к вашей супруге, потому что мы ее знали еще в дедаушках. Мы ее попросили, и она так добра, что обещала помочь в нашем квартирном горе.

— Зря обещает, чего без меня не может выполнить, — сказал Виктор Семенович, рассматривая Ольгу Ивановну, как личного неприятеля.

— Мы как раз, извините. так и думали — попросит вас через вашу супругу, которая знает и меня, и вот мою дочку Аночку. Но как вы оказались нездоровы...

— Прекрасно здоров, чего и вам желаю, — оборвал Виктор Семенович. — А шляться по магазинам, попрошайничать да клянчить не полагается.

— Их просьба касается моего отца, — сказала Лиза.

— Чего же они притащились ко мне? Ольга Ивановна быстро протянула руки к Лизе:

— Я вас умоляю — не отказывайтесь! Не отказывайтесь от доброго намерения!

— Вы же беспокойтесь, я сделаю, что обещала, — ответила Лиза суховато, но голос ее дрогнул, и это напугало Ольгу Ивановну.

Вдруг нагнувшись к Павлику и притянув его к себе, она тут же толкнула его к Лизе и упала на колени. Слезы с каким-то по-детски легким обилием заструились по ее щекам. Подталкивая Павлика впереди себя, она ползла к Лизе с подавленным криком:

— Детишек, детишек пожалейте, золотое мое сердечко! Не передумывайте! Помогите, милая, помогите! Не передумывайте!

К ней подступили сразу и Лиза, и Аночка, стараясь поднять ее на ноги, но

она забила и упала. Узел прически на ее затылке рассыпался, и шляпка повисла на волосах. Уткнув лицо в руки, раскинутые на полу, она вздрагивала и выталкивала из глубины груди непонятные, коротенькие обрывки слов.

Парабукин, наконец, оторвался от косяка, который будто не пускал его все время. Легко подтяв Ольгу Ивановну, он повернул ее к себе и положил трясущуюся голову на свою грудь. Аночка подняла с пола шляпку и прижалась к матери спиной, касаясь щекой ее спины и глядя на Виктора Семеновича строгими недвигающимися глазами.

— Пора кончать представление, — не театр, — проговорил Шубников, отворачиваясь и удаляясь за прилавок.

— Уйдем, не ерепенясь, — глухо сказал Парабукин.

— Не уйдешь, так тебя попросят, — прикрикнул Виктор Семенович, и лицо его наидолго словно не кровью, а ярким малиновым раствором.

— Обижай, обижай больше, — откликнулся Парабукин. — Когда меня обижают, мне и черт не спрашен. Не залугаешь. Аночка, бери Павлушку. Довольно ходить по барыням, кланяться. Не помрем и без них.

Он отворил дверь и, все еще не отпуская от груди Ольгу Ивановну, тихо вывел ее на улицу, в толпу.

Лиза медленно и туго прсвела ладонями по вискам. Опустошенным взглядом она смотрела на Витюшу. Он листал конторскую книгу за кассой.

— Это все невыносимо бессердечно, — после долгого молчания произнесла Лиза.

— У тебя больно много сердца... до других, — ответил он, не прекращая перелистывать.

— У тебя его нет совсем.

— Когда нужно, есть.

— Я думаю, оно нужно всегда, — сказала она и, вдруг подняв голову и выговорив едва слышно: прощай! — жесткими, будто чужими шагами вышла за дверь.

Она почти бежала базаром — в богатом светлом платье, с непокрытой головой. Ей смотрели вслед. Выкрики, зазыванья, переливы споров торгующихся людей то будто преграждали ей путь, то подгоняли ее снующий бег среди народа.

Добравшись до лавки отца, она передохнула и вошла.

Меркурий Авдеевич приветил ее улыбкой, но тотчас тревожно смерил с головы до ног.

— Пришла? Собралась заглянуть к отцу, соседка? — полуспросил он мягко, но уже с серьезным лицом. — Вот славно. Что это ты не оделась, в холод такой?

— Пришла, — сказала Лиза, тяжело опускаясь на стул. — И больше не вернусь туда, откуда пришла.

Меркурий Авдеевич перегнулся к ней через прилавок и окаменел. И тотчас как будто все кругом начало медленно окаменевать — приказчики, подручные мальчишки и вся разложенная, расставленная, рассортированная на полках москатель.

## 34.

Общество помощи воспитательным учреждениям ведомства императрицы Марии устраивало в Дворянском собрании литературный вечер с балом и лотереей. Судейские дамы развезжали по городу, собирая в богатых домах пожертвования вещами для лотереи и привлекая видных людей к участию в вечере. На долю супруги товарища прокурора судебной палаты выпало поручение нанести визит Шубниковым. Она приехала в сопровождении Ознобишина и была принята Дарьей Антоновной. Пышная гостья в осенней шляпе с черным страусовым пером говорила благосклонно-ласково. Ознобишин почтиительно ее поддерживал. Она хотела бы так же поговорить с молодой Шубниковой (с Елизаветой Меркурьевной, — подсказал Ознобишин), чтобы получить согласие на ее помощь в устройстве лотереи, но оказалось, что та не совсем здорова и не может выйти в гостиную. Ознобишин весьма сочувственно поинтересовался — серьезно ли нездоровье Елизаветы Меркурьевны (он еще раз назвал ее полным именем) и сказал, что Общество непременно желает видеть ее на вечере за лотерейным колесом. Дарья Антоновна обещала передать молодой чете об этом желании приезжавших гостей, и они уехали, довольные визитом.

Внезапное посещение столь заметной особы дало повод к новому совету между тетушкой и племянником о том, как же действовать пока возмутительное бегство Лизы не получило широкой огласки? Решено было, что тетушка пойдет к Меркурию Авдеевичу требовать отеческого увещевания дочери, после чего Витенька отправится к Лизе, помиритсЯ и возвратит ее к себе в дом. Конечно, это было уязвлением самолюбия, но ведь самолюбие пострадало бы еще больше, если бы история стала известна не одним приказчикам, бывшим ее свидетелями. Надо было замянуть скандал, пока он не разросся: шутка ли, если в городе заговорят, что от Шубникова сбежала жена, не прожив с ним после свадьбы и двух месяцев?

Уже четвертый день Лиза проводила в своей девичьей комнате. Странное чувство не исчезало у ней: не верилось, что продолжится все та же давнишняя жизнь, плавно несшаяся к неизвестному будущему, которое прихотливо звало к себе в туманных снах или в праздную бездумную минуту Лени. Нельзя было объединить

себя с девочкой, когда-то выравнивавшей по линейке вот эти золоченые корешки книг на полке. Ничего не изменилось ни в одной вешице — фарфоровая чернильница с отбитым хвостиком у воробья, шнурочек для пристегивания открытой фартки — а чувство другое, будто между прежним и нынешним стал какой-то непонятный человек и мешает большой Лизе протянуть руку маленькой. И только мать каждым своим словом, каждым нечаянным прикосновением убеждала, что идет, растет, наполнится горем и жаждет счастья все та же цельная, не поддающаяся никакому разрыву жизнь единственной Лизы.

Валерия Ивановна повторила собою удел матерей, отдающих дочь замуж с беззащитной покорностью требовательным обстоятельствам только потому, что замужество есть неизбежность, а брак, в котором ожидается достаток, лучше брака, обещающего нищету. Она повторила этот удел тем, что, отдав дочь только потому, что не отдать — нельзя, и сделав ее несчастной, она потом начала горевать ее горем и с жаром приняла ее сторону в неприязни к молодому мужу. Она словно замаливала свою вину тем, что укрепляла, выхаживала в дочери, как больничная хожатка, вражду к существованию, какого дочь не знала бы, если бы мать его не допустила. Она сердилась одним сердцем с дочерью на беду, которую накликала своим непротивлением судьбе, и одними слезами с дочерью оплакивала эту беду.

В глубине души Лиза была потрясена, что мать без сопротивления выдала ее судьбе. И она не только примирилась, но со старой и еще больше выросшей силой полюбила мать, едва поняла, что своим бегством от мужа освобождала не одну себя, но также ее. Потому что Валерия Ивановна, на секунду ужаснувшись бегства, точно обрадовалась ему и восхитилась, как если бы наша ребенка, которого считала бесследно погибшим.

Снова, как бывало всю жизнь, они говорили, говорили вечерами, подолгу не засыпая, утром и днем, обнимаясь, иногда тихо плача, а то вдруг с женской расчетливостью и терпением рассматривали самые маленькие переживания двухмесячной своей полуразлуки и отчужденности, когда они думали, что между ними уже не будет нежной близости, делавшей их как бы одним человеком.

Все речи сводили дело к тому, что жить с Виктором Семеновичем невозможно, и если случилось, что Лиза ушла от него, то возвращаться — было бы ошибкой несправившей. Если бы уход Лизы от мужа не встречал никаких препятствий, то дочь и мать решили бы дело немедленно, и уже не было бы особой потребности в часовых разговорах, в сидениях рядом на постели, с объятиями и слезами. Но на

стороне мужа находился закон, и неизвестно было — воспользуется ли Виктор Семенович своими правами. Неизвестно было кроме того, какое решение примет насчет дочери Меркурий Авдеевич: он мог ведь отказать ей в своем доме, раз она пренебрегла домом мужа. Но главная неизвестность заключалась в том, о чем мать и дочь сказали меньше всего, но непрерывно все эти дни думали, по-женски перетревоженные, понимая друг друга с мимолетного взгляда, спрашивая и отвечая молча, одними переменами настроений. И когда то, чего Лиза могла ожидать, сделалось ее уверенностью, они обе увидели, что почти решенный уход ее от мужа натолкнулся на такое препятствие, которое невозможно устранить: на четвертый день гощения в своей девичьей комнате Лиза сказала матери, что сама она тоже должна стать матерью.

Рассвет этого дня был совсем зимний — неохотный, серый. Цветы на окнах и разлапый филодендр казались пепельными. Пахло немного отсыревшей глиной затопленных печей. Кот на диване свернулся катышком, уткнув нос в задние лапы.

Лиза в луковом платке вышла на галерею — подышать. Впервые после свадьбы она взглянула через окна с частым переплетом рам. Горы потудились ей очень далекими и будто присыпанными золой. Дворы прижались друг к другу и стали меньше — в неясном, дрожащем, как мгла, плотном свете. Школа потеряла свою близину, ее очертания обеднели и даже когда-то рослые тополя рядом с ней стали маленькими, жидкими.

Было очень тихо, и все будто отступило в даль. Лиза тоже притихла. Уже не глядя в окно, она держалась кончиками пальцев за тонкий переплет рамы. Заснувший от холода шмель — оранжево-черный, как георгиевская лента — лежал на подоконнике лапками вверх. Паутинка карандашным чертёжком висела между оконной петлей и косяком. Уже забыли, когда открывались окна. Осень кончилась.

Неожиданно Лиза вздрогнула: на галерее появился отец. Он шагал прямо к ней, чуть-чуть подпрыгивая на носках.

С тех пор, как дочь вернулась домой, Меркурий Авдеевич замкнулся. Он как бы не мог выйти из окаменения, в какое впал, услышав от Лизы, что она покинула мужа. Он не говорил ни с ней, ни с Вадерией Ивановной, и это предвещало особенно грозное и особенно длинное внушение. Он готовил себя к предстоящему, изучая наставления затворника Феофана, труды которого собирал в своей книжной этажерке и считал истинными сокровищами духовного наиздания. Он составил мысленно целую беседу из вступления, изложения и заключения и, лишь почувствовав себя вполне подготовленным, владея всеми душевными силами, решил присту-

пить к делу, дабы закончить его раз и навсегда.

Вступление Меркурия Авдеевича должно было состоять из порицания праздномыслия, пустомыслия и вообще всякого сонного мечтания и блуждания мыслей. Изложение касалось того, как в душе и теле рождается потребность, как после первого, иногда случайного удовлетворения потребности возникает желание, всегда имеющее какой-нибудь определенный предмет, и как постепенно таких предметов находится больше и больше, так что за желаниями человек уже не видит потребностей. Что делать душе с этими желаниями? — спросит Меркурий Авдеевич. Ей предлжит выбор — какому предмету из возжеланных дать предпочтение. По выборе происходит решение — сделать или употребить избранное. По решению делается подбор средств и определяется способ исполнения. За этим следует наконец дело в свое время и в своем месте. Заключением беседы Меркурий Авдеевич думал сделать переход от положений общего душевнo-спасительного характера к содержанию лизингого бытия. И тогда разъяснилось бы, что выбор Лиза сделала, так как из всех возжеланных предметов она отдала предпочтение Виктору Семеновичу Шубкикову. Решение употребить избранное было принято тем, что Лиза согласилась соединить свою жизнь с жизнью Виктора Семеновича. По решению был найден способ исполнения — сыграна свадьба. И засим, наконец, последовало собственно дело в свое время и в своем месте.

Как же после столь правильного образа действий могло свершиться происшедшее событие? Сно свершилось вследствие крушения духа. И тут Меркурий Авдеевич должен был выступить в качестве восстановителя утерянного равновесия и направить стопы дочери на путь истины.

Так основательно вооруженный, Меркурий Авдеевич направился к дочери для объяснения. Его удивило, что нашел он Лизу опять у того окна, за которым она стояла в день свадьбы, и почти в той же позе. Он усмотрел в этом плохой знак.

— Продолжаешь упрямяться? — спросил он, подойдя к Лизе.

— В чем?

— В том, что, как ранее, глядишь в запрепном направлении.

Он показал головой за окно. Лиза не стеснялась.

— Манкируешь своим долгом в пользу бессмысленного сонного мечтания?

Лиза тихо улыбнулась и сказала необыкновенно ровным голосом, как будто мучавшие ее поиски давно были утолены:

— Ах, не трудись, папа. Ты хочешь убедить, что надо вернуться к мужу? Это решено. Сегодня я возвращаюсь.

Слова ее застали Меркурия Авдеевича врасплох. Он подготовил себя к такому

высокому барьеру, что разбег впустую точно свалил его с ног.

Он отвернулся и зажал ладонями лицо, чтобы подавить волнение. Потом, остро глянув из-под приподнятых мохнатых бровей, потерявших прозрачность, он поднял руку — погладить дочь по голове.

Когда, прикоснувшись к ее лбу, он быстро перекрестил его, она легко удержала его за руку.

— Я тебя хочу просить за несчастных Парабукиных, которым ты отказываешь в углу: оставь их, они — с детьми.

Меркурий Авдеевич, слегка посопев, усмеянулся:

— В большом господь наделил тебя разумом, а в малом оставил тебе глупость. Нашла о ком песчись. Пусть живут, коли ты просишь. Что я — бессердечный, что ли? Да ты послушай меня: не мешайся в их житье. Они люди простые, не поймут. А галах этот — непокорный строитивец. Жалость ему — яд.

Он махнул рукой и обнял дочь.

— Да пусть. Пусть живут...

Решение Лизы сняло с его сердца камень, да и весь дом сразу ожил, точно от ниспосланного мира. Стали ждать, когда явится за женой Виктор Семенович, и странно засуетились, готовясь его поздравить, как если бы надо было заглаживать всех застыдивший проступок.

Лиза побежала сказать Парабукину о новости. Все в том же шуховом платке, стукнутом на голову, и в старом узковатом гимназическом платье она спешила по избитым кирпичным тротуарам, припоминая знакомые дома, заборы, рытвинки перед воротами, скамейки у палисадничков и только наполовину веря, что земля может нести ее так готовно.

У самой постелки она увидела Аночку, которая в два прыжка соскочила с каменного крыльца, размахивая пустой бутылкой на коротенькой веревочке. Лиза крикнула ей вслед. Она остановилась и секунду помешкала, но, узнав Лизу, подбежала к ней.

— Вы опять как прежняя, — сказала она, охватывая медленными своими глазами лизинго платье и дивясь своему открытию.

— Мама твоя дома?

— Мама ушла на Пешку. А папа лежит. хворает. А мне мама велела сбегать в лавочку за постным маслом.

Она махнула бутылкой и тут же, еще раз оглядев Лизу и потом — себя, оттянула низко опущенный лацкан старого жакета и похвастала:

— Это я — в мамино. Он мне только маненько широк, да? Она мне его переделает.

— Я хотела к вам зайти, — сказала Лиза, — но теперь не надо, раз я тебя увидела. Передай маме, что вы все можете жить попржнему.

— Можем жить?

— Ну да.  
 — Это как?  
 — А как вы раньше жили.  
 — Когда раньше?  
 — Скажи маме, что вас никто не тронет, и чтобы вы оставались тут, на квартире. Поняла?

— Поняла. А папе можно?  
 — Всей вашей семье. Поняла? И тебе, и твоёму братику.

— Нет, нет! Сказать маме — я поняла. А папе сказать можно?

— Ах, ты, девочка, ну само собой!  
 Чуть-чуть присев и поставив одну ногу на ступеньку крыльца, Аночка проворно спросила:

— Тогда можно — я ему сейчас скажу, а?

— Конечно, можно, беги. Прощай!  
 Словно пружинкой подбросило Аночку с земли, — она вспрыгнула на крыльцо и стремглав понеслась вверх по лестнице, в ночлежку.

Лиза постояла в нерешительности. Ей хотелось заставить себя вернуться домой тем же путем, которым она шла. Но, пожав плечами, она сказала вслух: не все ль равно? Все равно она придет домой, где бы ни шла, все равно сегодня возвратится к мужу, — все решено окончательно и ничего не изменится оттого, что она мимоходом пристальнее взглянет на дом, влекший — казалось ей — только как прошлое, не больше.

Она обогнула угол и стала подниматься по взвозу. Чем ближе подходила она к школе, тем медленнее делались ее шаги, — не потому, что трудно было идти, нет, ей хотелось как можно дольше проходить мимо каменной оградки, мимо низких забранных решетками окон. Она почти останавливалась временами и даже дотронулась до стены здания, — приложила ладонь к холодной шершавой известке. Новое, доселе никогда не испытанное внутреннее безмолвие настроило ее чувства, и у нее не было ни горечи, ни обиды, что все вокруг отвечало ей словно безразличным молчаньем.

Дойдя до калитки, она собралась заглянуть во двор, и в эту минуту до нее донесся наступавший топот притяких ног: Аночка догоняла ее со всей юркой легкостью детского бега.

— Вы ушли, — выкрикнула она, подлетев и с разбегу остановившись.

Она шумно дышала, лицо ее сияло удовольствием, но опромыные влажные глаза выдавали растерянность и перепуг.

— Вы ушли, — повторила она, перехватывая пустую бутылку то одной, то другой рукой. — А я забыла сказать — спасибо!

— Что ты! Я же видела, что ты меня благодарить, — улынулась Лиза. — Ожота была бежать! Это наверно тебя отец посылал?

— Я сама. Я подумала, когда мама придет, она меня сейчас и спросит: ты сказала — спасибо? Я и побежала бегом. Вы не сердитесь?

— Нет, нет, все хорошо, — сказала Лиза, вздохнув и положив руку на плечо Аночке, — все хорошо.

Она заглянула в приотворенную калитку. Двор был пуст, дверь извековской квартиры — заперта.

— Ты давно видела Веру Никандровну?

— Она больше тут не живет, — весело ответила Аночка, — она теперь в другом училище, далеко-далеко! Вот когда мы ходили к вам, мы были у нее, я сама видела, как она перевозилась на ломовом.

Лиза отступила, прислонившись спиной к дереву ворот.

— Далеко? Ты знаешь — где?  
 — Нет. Я спрошу у мамы, она скажет.

Лиза подождала немного.

— А про Кирилла ты не слыхала?

— Нет. Хотите, узнаю? Сбегаю к Вере Никандровне, а потом приду к вам и все расскажу. Хотите?

— Хочу, хочу! — быстро подхватила Лиза, взяв Аночку за руку и горячо притягивая ее к себе. — Сбегай узнай, хорошо? Хорошо?

— Я, как только мама пустит, так и сбегаю.

— Хорошо, как хорошо, — бормотала Лиза, уезжая за собой Аночку и вдруг оставившись в лавочку, ступай, ступай!

Они простояли, и Лиза пошла скорей, приподнятой над землей поступью, возбужденная внезапностью ожидавших, не совсем ясных ожиданий, и молчание улиц точно сменило свое безразличие на давний тайный слезор с ней, каким она жила здесь прежде.

Дома ее встретила приехавший Витенька. Он кинулся навстречу, приветливый, праздничный: все сделалось без его усмех и так превосходно, как он мог лишь мечтать.

— Я знал, я знал, — твердил он, уводя Лизу к ней в комнату, где уже была разложена одежда, которую он привез — осеннее пальто, и шляпа, и перчатки — Лиза ведь ушла в одном платье!

— Милая, дорогая моя! — восклицал Витенька, целуя жену, разглядывая ее, как после бесконечной разлуки. — Ты знаешь, я снялся! И чудесно получился! Нашел обаятельную рамочку и поставил тебе на туалет. Сначала хотел сделать надпись, знаешь — какую? Нет, не скажу! Я напишу то, что ты захочешь! Ты продиктуешь. И потом ты тоже снимешься и напишешь мне то, что продиктую я, согласна? И я поставлю тебя на свой стол. Пока тебя не было, я сумками напролет смотрел на твою карточку, знаешь, которую еще давно достала Настенька, — где ты гимназисткой. Ах, Лиза!

Она переделывала платье, он сидел рядом, смегка заломив переплетенные пальцы и говоря с раскаянием:

— Ну, конечно, — я взбалмошный. Тетушка меня тоже попрекает, говорит: Витюша, это все от твоего дурного воспитания. Я говорю ей: ну зачем же вы с этим ко мне адресуетесь? Вы мне дали, я и взял. Но, правда, Лизанька: я себя совершенно вкорень переделаю, и мы с тобой ни разу, ей-богу, ни разу больше не поссоримся! Разве я не мужчина? Возьму себя в руки, вот и все!

Он ни за что не хотел остаться к чаю, как его ни упрасивали, наоборот — он настаивал, чтобы Мешковы пришли вечером к Дарье Англоновне, где будет отпраздновано примирение. Он нарочно отослал домой лошадей, чтобы идти с женой пешком и непременно — по людным улицам, чтобы все видели, какие они счастливые.

Они шествовали рука об руку, не спеша, останавливаясь перед витринами, разглядывая фотографии, почтовые марки, модные земные платья и даже калоши фирмы «Проводник».

— Знаешь, — говорил Витюша, довольный, что прохожие оглядываются на него с женой, — за тобой приезжала прокурорша, приглашала тебя на вечер. Будет шикарный вечер в Дворянском собрании, мы пойдем, правда?

— Да, да.

— Ты сошьешь новое бальное платье: надо им показать! Ты будешь разыгрывать лотерею. Интересно, да?

— Да, да, — отвечала на все Лиза.

Она была сосредоточенно-тиха, и необыкновенная ее ровность будто не давала Витеньке покоя, и он все хотел ее расшевелить.

Дома он водил ее по комнатам, и они выбирали вещи, которые можно пожертвовать для лотереи. Он выдвинул на середину гостиной стол для этих вещей, а сам ушел на тетушкину кухню — готовить-ся к приему Мешковых.

Лиза подолгу, с какой-то вялой леностью разглядывала безделушки, снимая их с насыженных мест и относя на стол. Это были нелюбимые вещи, заключающие вкус, который ей был навязан готовым, построенным чужими руками домом. Но они уже несли в себе напоминания о пережитом, были невольной частью передуманного в этих стенах, и прикосновениями к ним Лиза словно договаривала то, что могла сказать только себе. И когда она увидела стол, заставленный пепельницами, бокалами, вазами, и этих мельхиоровых, посеребренных изогнутых женщин, и бронзовых сеттеров, и птиц с омертвело разинутыми клювами, она отчетливо вспомнила первое свое утро здесь и свою примиренность с происшедшим. И она так же села в кресло подле этого будто нарочно возобновленного свадебного подарочного стола.

Но постепенно страшная улыбка начала озарять ее лицо — задумчивая и в то же время бездумная, счастливо-пустая, словно Лиза оставляла все окружающее — быть, как есть, освобождаясь от него ради того, что ей призрачно выдилось впереди.

Так ее застал взбудораженный хлопотами, веселый Витюша.

— Ты что грустишь? — обеспокоенно спросил он, — Тебе жалко безделушек? Не хочется расстаться, да? Пустяки какие! Я куплю тебе лучше! Мы купим с тобой вместе, хорошо? А это все отдадим. Ты еще мало собрала. Я прибавлю. Пусть знают Шубниковых, не жалею!

— Я не жалею, — сказала очень тихо Лиза.

— Ну а что же, что?

— Я хочу тебе сказать...

— Ну что, что? — торопил он.

— У меня будет ребенок.

Витенька смолк. Одернувшись, он распрямылся, кашлянул, щипнул колечки усиков.

— Не у тебя, а у нас, — поправил он новым, внушительным голосом. — У меня и у тебя. У меня, у Шубникова, будет сын Шубников!

Он подпрыгнул, распахнул руки, кинулся к Лизе, выхватил ее из кресла и, засмеявшись, поднял, почти подбросил ее в воздух.

35.

Подполковнику Полотенцеву сообщили вечером по телефону, что подследственная Ксения Афанасьевна Рагозина умирает в тюремной больнице после родов, и спросили — не будет ли каких распоряжений?

— В сознании ли она? — задал вопрос Полотенцев и, получив утвердительный ответ, сказал, что приедет.

Он собирался на благотворительный бал, у него были разложены по стульям сюртук, белье, запонки, он еще не кончил заниматься ногтями, — и в это время позвонил телефон. Он был ревнив к делам службы, в рагозинском деле его постигла незадача, он не мог упустить случая лишний раз допросить жену Рагозина, да еще в такую минуту — перед смертью. Он велел позвать извозчика.

Человек, от которого дознание могло бы получить больше, чем от кого-либо другого, был менее других уязвим: беременность Ксении Афанасьевны до известной степени ограждала ее от пристрастия, с каким велись обычные допросы, хотя — за упорный отказ давать показания — ее дважды держали в карцере. Ей самой вменялось обвинение в соучастии, доказанном тем, что у ней на глазах — в кухне и в погребке — находились наборные шрифты и станок, на котором, очевидно, печатались прокламации. Но она не назвала ни одного подпольщика, утаивала,

вероятно, известные ей следы скрывавшегося мужа, а за нерозыском его не мог быть вынесен приговор. Острастки не действовали на нее, попытка облегчить тюремные условия тоже не имели успеха, и, в конце концов, Полотенцев счел за благо предоставить ее естественному ходу вещей, то-есть лишениям, голоду, неизвестности.

Роды начались в камере, без присмотра, и только поутру Ксению Афанасьевну перенесли на носилках в больницу. Она потеряла так много крови, что бабка, принимавшая ребенка, пока не явился акушер, сочла заботу о матери излишней.

Но новорожденный появился на свет здоровым. Это был краснокожий в иррациональных жилках мальчишка с пучком слипшихся шоколадных пушинок пониже темени, большеротый, со сжатыми кулачками и притянутыми к животу фиолетовыми коленками. Глаза он держал наглухо закрытыми, уши были приплюснуты к голове и кончики раковин белели, точно напудренные. Он пищал не очень сильно, кривя на сторону рот, обведенный старческими морщинами. Его обмыли, помазали ему глаза и нос лечебным средством, отчего он запищал погромче, перебинтовали пупок и отнесли в тазу, в котором обмывали, в соседнюю с родильной комнату.

Ксения Афанасьевна была крайне слаба, но все-таки, когда ее осмотрел акушер и приказал положить в отдельную палату, она попросила, чтобы ей дали ребенка. Его принесли запеленутым в больничную дымячо-рыжую пеленку и положили о-бок матери так, чтобы удобно было дать грудь. Но у ней не могли вызвать молока, и мальчишка напрасно попискивал и чмокал губами. Наверно от голода он расклеил, наконец, веки, и в молочно-белой поволоке маленьких щелочек мать поймала его блуждающий, неосмысленный взор.

— Карие! — прошептала она изнеможенно-счастлива.

Это был цвет глаз Петра Петровича.

Ребенка взяли, сказав, что его будет кормить мамка. Заполдень ему нашли кормилицу-крестьянку — в общей женской камере каторжной тюрьмы. Больничная сиделка навязала ему на ножку тесемку с деревянной продолговатой бирочкой, на одной стороне которой было написано чернилами — «Рагозин», на другой — «крещен в тюремной церкви... наречен...» Для имени и даты было оставлено пустое место.

Обвернув младенца серым арестантским бушлатом, сиделка, в сочувствии вызванного конвоира, понесла его двором в женский корпус. Сыпал первый, несмелый, колючий снежок, испещряя бушлат мокрыми темными пятнышками, и сиделка с бабьей сардобольностью укрывала то место, где находилась голова ребенка. Кон-

воир шел впереди невеселым злуживым ходом, придерживая шапку. При входе в тюрьму стражник, открыв засовы решетки, засмеялся, гулко сказал:

— С приплодом!

И в отдалении другой стражник, отпирая решетку коридора, уловив его смех и угрюмо ухмыльнулся в ответ.

В камере, на крайней к окну наре, розлая арестантка, распустив завязку ворота на холщевой рубаше, кормила ребенка. Сиделка опустила рядом с ней новорожденного, развернула бушлат.

— Вот тебе приемыш, жалей да жалуй.

Женщины, медленно поднимаясь с нар, стали подходить ближе, полукругом обступая кормилицу. Она отняла от груди ребенка, положила его на подушку и взяла к себе на его место принесенного младенца.

— Полегше твою будет, — сказала одна женщина.

Арестантка вложила в жалкий разинутый рот мокрый сосок груди, но новорожденный бессильно чмокал и с писком глотал воздух. Она сжала его губки жесткими пальцами вокруг соска, и он начал судорожно подергивать крошечным подбородком и сопеть ей в грудь.

— Пошел! — одобрила сиделка.

— Мать-то жива еще? — спокойно спросила кормилица, похлопывая свободной рукой закричавшего у ней за спиной ребенка.

— Пока жива.

Все молча глядели, как учится сосать новый обитатель камеры. Наверно он начал испытывать удовольствие, потому что выпростал из пеленки ножку с биркой и тихонько дергал ею. Раздалось два-три вздоха. Молоденькая арестантка утерлась рукавом и отошла в сторону.

— Свивальников-то у меня нету, — сказала кормилица.

— А вот мать помрет, и возьмешь ты от нее останется носильного, — посоветовала какая-то из женщин.

— Ты погляди, — сказала кормилица сиделке.

— Погляжу, — обещала та и простилась, — оставайтесь с богом...

О Ксении Афанасьевне можно было и правда сказать, что она была пока жива. Полотенцев, войдя к ней в палату, подумал, что приехал уже поздно.

При свете убогой лампы, висевшей позади изголовья, круглый лоб Ксении Афанасьевны, остренький носик и скулы были светложелты, как липовый мед. Тени, закрывавшие глазницы и приподнятую губу, лежали неподвижно, в темноте чуть виднелась опавшая узенькая шея. Рот был открыт, светилась тонкая полоска верхних зубов, и оттого, что спутанные волосы широко раскинулись на подушке, весь череп, казалось, занимал очень не много места и был детским.



Полотенцев сел перед кроватью, нагнувшись и подперев кулаками подбородок. Подобно врачу, он наблюдал, как болела за жизнь больная. Вероятно, он послушал бы ее гульс, но она держала руки под одеялом. Скоро он решил, что она не спит, — наверно она заметила, как он входил.

— Пить, — расслышал он довольно внятно.

Он взял со столика поильник и поднес носиком к ее губам. Она глотнула, открыла глаза, и он почувствовал, что она его видит.

— Вы узнаете меня? — спросил он.

Она не отвечала.

— Как вы себя чувствуете?

— Ничего, — сказала она, и веки ее опять закрылись.

— Но все-таки ваше положение довольно опасно. У вас теперь сын. Вы обязаны подумать о нем.

Дыхание ее сделалось громким, она вытянула руку наружу, повернула кисть ладонью вверх, уронив ее на одеяло, и рука стала похожа на длинный беспомощный членок, выброшенный на берег.

— Кто позаботится без вас о ребенке? Только отец. Но он даже и не узнает, что у него есть сын. От кого он может узнать?

Ксения Афанасьевна попробовала приподняться.

— Нет, лежите спокойно. Вы ведь понимаете меня? — спросил Полотенцев.

Он пододвинулся ближе. Она теперь смотрела на него взглядом, в котором нарастали все силы ее меркнувшей жизни — останковившимися, воспламененными зрачками круто скошенных вбок больших глазных яблок.

— Я вижу, вы понимаете, о чем я говорю. Ваш муж не поблагодарит вас, если ребенок погибнет. Скажите, кто может передать Рагозину, что у него родился сын?

Он легонько сжал и потряс ее руку.

— Говорите. Иначе будет поздно. Кто может сказать Рагозину, что у него есть сын? Говорите же!

Она потянула руку и чуть-чуть оторвала от подушки голову, но не могла удерживать ее. Полотенцев почти приложил ухо к ее лицу. Он слышал, как стучали у ней от озноба зубы. Она прошептала неожиданно ясно слово за словом:

— Вам надо замучить мужа, как меня. Он отшатнулся.

— Вы не в своем уме! Вам говорят о ребенке! Первого вы потеряли, хотите потерять другого?

— Сына вы тоже замучаете, — договорила она из последнего усилия.

Он встал и потребовал с возмущением: — Еще раз: назовите, кому передать, что у вас родился сын?

Она отвернула лицо к стене. Он двинул стулом, отошел на шаг, подумав, спросил на всю палату:

— Какое у вас будет завещательное желание? Я уйду.

Ее знобило сильнее — одеяло вздрагивало на ней. Друг, поворачиваясь, она почти простонала:

— Пусть назовут Петром!

Полотенцев высоко вздернул плечи.

— Второго Петра Петровича желаете отказать нам в наследство? Второго Петра Петровича не будет! Будет обыкновенный тюремный Иван!

Он нетерпеливо погарцовал на месте и покинул палату гневным шагом.

— Чорт знает! — сказал он помощнику тюрьмы, проводжавшему его через двор к воротам. — Какой-то совершенно бесчувственный народ!

Он заехал домой и переоделся без спешности. В штиблетах с серебряными шпорами, в куртке по колено, он накинул в передней серую зимнюю шинель с пелериной и бобровым воротником, когда его опять позвали к телефону. Не сбрасывая с плеч шинели, он вернулся в кабинет. Квицелярия тюрьмы передавала, что дежурный по больнице врач сообщил о смерти Ксении Афанасьевны Рагозиной. Он ответил одним словом: «Хорошо!», — и поехал в Собрание.

## 36.

Вечер начали с опозданием — в зале шла литературная часть. Половину фойе заняли выставкой вещей, которые предстояло разыграть в лотерее. Дамы-благотворительницы еще хлопотали, прихорашивая убранство полок и столов. У колес стояли девочки в завитых кудряшках и голубых платьицах, пухлядицы, как херувимы Мурильо: они должны были вынимать билетки. Изредка дамы поправляли на девочках бантики и кудряшки. Посередине выставки красовалось в золоченой раме изображение главного выпрыща — холмогорская корова. Букет хризантем выштался перед ее носом, предназначенный для счастливица, которому падет выигрыш. Кругом все сверкало, переливалось, искрилось — самовары, чернильницы, татарские туфельки, бутылки шампанского, рупоры граммофонов, будильники, мандолины, мяеорубки. Здесь всякий вкус отыскал бы себе приманку, и ни поклонник стихов Надсона, ни знаток кактусов не могли бы пожаловаться, что они позабыты.

По сторонам лотереи были сооружены павильоны: в саженной, чудовищно разинутой пасти тифра красавица, наряженная цирковой укротительницей, продавала крошан, а под цыганским шатром в цветистых заплатах другая красавица, дородная и упитанная, в костюме цыганки, сидела с популярем, который выклеивал из ящичка бумажки с предсказаниями сча-

стья. Над шатром висела надпись: «Станешь ворожить, коли нечего на зуб положить».

Когда дамы убедились, что все готово, они приотворили дверь в зал и стали слушать концерт.

Лиза устроилась впереди всех, около самой щелки, и ей хорошо видна была эстрада.

Егор Павлович Цветухин, во фраке, читал «Быть или не быть», и зал следил за ним с почтительной сосредоточенностью, как будто все чиновники, офицеры, купчихи в декольте и светские барышни собрались сюда, чтобы немедленно и окончательно принять то решение вечного вопроса жизни и смерти, которое предложит актер. Цветухин читал просто, но простота его была отлично сделанной и потому — театральной, — он каждым словом, каждым жестом хотел сказать: смотрите, как прелестна, как обязательна моя простота. Ему очень признательно аплодировали, — слава его была неоспорима, никто на нее не покушался.

Но когда после него вынесли маленький столик и кресло и появился перед публикой Александр Пастухов — водворилось то недоуменное, живое любопытство, с каким встречаются неведомого, но совершенно уверенного в себе исполнителя. Видите ли, — словно говорил Пастухов, слегка небрежно и удобно усаживаясь в кресло, — удивлять вас я ничем не собираюсь, но уж раз вы меня захотели пригласить, есть у меня один недурной отрывочек из комедии, так себе — пустячок, и я вам его прочитаю, как прочитал бы вечером на даче, за рюмочкой, — вот, послушайте-ка. И он без старания, точно для самого себя, начал читать по маленьким листочкам, ни секунды не думая, что ему кто-нибудь помешает, или его голос плохо слышен, или кому-нибудь не понравится его манера себя держать, а с полным, естественным убеждением, что он делает как раз то, чего от него все с нетерпением ожидают. И его слушали, сначала чуть-чуть улыбаясь, потом — подавляя смех, наконец — не в силах удержаться и смеясь на весь зал и только вдруг пугаясь, что за хохотом ускользнет от слуха что-нибудь еще более смешное и любопытное. И когда Пастухов кончил и стал выходить на вызовы, он тоже смеялся — весело и немного свискока, внушая всем своим великодушно-снихождительным видом, что ведь — господи! — он же ни капельки не сомневался, что все это ужасно как смешно и неотразимо, хотя, конечно — сущая глупость, и по-настоящему он себя и не собирался показывать! Так что по смеяться — посмеемся, пожалуй, господа, — однако вы сами понимаете, что это вовсе не стоит такого шума!

Его триумфом закончилась литературная часть, публика стала встать, и бравурным призывом «Горосфудра»

долетевшим с хоров, была открыта лотерея. С билетов сняли печати, колеса завертелись, голубые жерувины опустили в них пухленькие ручки, доставая скатанные бумажки, дамы начали разыскивать на полках выигрыши, с оборожительными улыбками вручая их публике.

Молодежь расступалась, давая дорогу Цветухину и Пастухову. С ними был Мефодий в старомодном фраке из костюмерной театра, мешковато-уютный, польщенный тем, что небольшая толпа взоров, притянутых его знаменитыми приятелями, перепала на него. Втроем они подошли к колесу, за которым стояла Лиза. Пошучивая, как вся публика, насчет холмогорской коровы, которую предпочтительнее было бы разыграть в виде сливочного мороженого или выдержанного рокфора, они стали покупать билеты. Мефодий выиграл пачку зубочисток и сказал, что теперь дело стало за бифштеком, то есть опять за той же коровой. Цветухину досталось пять пустышек. Он вздохнул:

— Давно вижу, что потерял ваше расположение. Так вы мне и не ответили: понравился я вам в «Гамлете»? Бог вам судья! Но сегодня-то, по крайней мере, я был лучше этого несносного кумира толпы — Пастухова, а?

— Вы не сердитесь, — улыбалась Лиза, — хотя это совсем несравнимые вещи, но Александр Владимирович побил вашего Шекспира!

— Посторонись, — сказал Пастухов, небрежительно заслоня собой Егора Павловича, — твоя звезда закатилась. Сегодня на коне — я! Будьте любезны (показал он Лизе все свои прочные зубы), вашей собственной ручкой — десять штук!

Неожиданно серьезно все четверо раскатывали билетики, вынутые Лизой, пока не погасла выигрыш.

— Боже, что это может быть? Я не пережусу! — скороговоркой выпалили Пастухов и взялся за сердце.

Лиза долго ходила от вещи к вещи, отыскивая по ярлычкам выигранный номер, а приятели следили за ней, гадая и подсказывая в нетерпении: — кастрюля! — зонтик! — швейная машинка! И вдруг все сразу ахнули: — графин!

Лиза несла вместилистый хрустальный графин чудесных граней и просвечивающего пышного рисунка по гранатно-багровым блестящим плоскостям. Пастухов принял его священнодейственно, осмотрел любующимся взглядом, потом проникновенно заключил:

— Обидная, оскорбительная ошибка фортуны: эта вещь должна принадлежать, по великим заслугам его перед Бакусом, нашему несравненному другу!

Он ~~поклонился~~ графин Мефодию и поклонился \*

— Стой! — остановил его Мефодий расстроганно, но в неподдельной тревоге. — Не испытывай судьбу! Видишь?

Он вынул из графина пробку и поднял ее перед очами Пастухова:

— Понимаешь ли ты, безумец, что это означает?

Пастухов уставился на пробку, захлопнул ладонью рот и покачал в испуге головой.

— Ты меня напугал! Понимаю. Понимаю.

Он взял пробку, многозначительно спрятав ее в фракный карман и, отдавая графин Мефодию, приказал:

— А это таскай ты!

— Символика! — сказал Цветухин.

— Таинственная магия! — грозно проговорил Пастухов и сделал несколько павов гипнотизера на Цветухина и Лизу.

Они смеялись, а публика накапливалась около лотереи, оттесняя друзей в сторону, и Лизе пришлось отойти от колеса, чтобы расслышать, что ей говорил Цветухин:

— Я пролетел в трубу! Вы должны возместить мой проигрыш первым же вальсом.

Она стала уверять, что уже обещала, являясь боясь, что ей нельзя верить. Он глядел на нее с любованием, — ее возбужденные нравилось ему, ее юность еще жила в ней нетронутой, едва украшенной первым женским расцветом.

— Ну хорошо, верю, верю. Ну тогда — не вальс, а хоть какую-нибудь завалиющую плясочку — обещаете?

— Завалиющую — да.

Шутливому их разговору помешал Мефодий: он незаметно потянул Цветухина за фалду и пробормотал вполголоса:

— Идем скорей, нас представляют прокурору палаты!

Ознобились, гордясь своим знакомством, уже подвел Пастухова к супруге прокурора, и она изливала восторг, уверяя, что никогда не слышала таких чтецов и не подозревала, что в городе живет человек, пишущий такие забавные, такие милые комедии. Пастухов слушал, чуть наклонив голову, довольный похвалой, со своей улыбкой торжествующего и убежденного совершенства.

— Вы просто всех покорили, и я вас благодарю от имени нашего общества! Спасибо, спасибо!

— Н-да, н-да, благодарю вас, — говорил прокурор, пожимая Пастухова руку, — вы, как бы сказать, альфой созвездия осветили наше скучающее собрание. И как же вам не грех, живя здесь, скрывать от нас свое вдохновение, свой дар?

— Видите ли, ваше превосходительство, — сказал Пастухов с обаятельной непринужденностью давешнего знакомого, — я никогда не думал, что могу вас заинтересовать в этом своем качестве.

— Но позвольте, позвольте! Неужели вы полагаете, что мы уж так никогда не берем книги в руки, не заглядываем в театр, не интересуемся... как бы сказать, явлениями...

— Нет, нет, — поторопился Пастухов, — я только полагаю, что ваш интерес к некоторым мнимым, подозреваемым моим качествам мешал вам увидеть во мне что-нибудь другое.

— Подозреваемым? Но мы всегда подзрели в вас именно талант!

— Однако высокое учреждение, которое вы возглавляете, не допускало меня убедить вас в этом, да?

— Вас ко мне не допускали? Ах, да, да, да! — обрадованно спохватился и будто сразу все припомнил прокурор. — Вы говорите об этой истории?! Ну, вы заставляете меня открыть все наши карты! Извольте! Мы вас нарочно никогда не выпускали, прежде чем вы не порадуете нас своим блистательным публичным выступлением!

Пастухов скользя ладонью по лицу, смыывая выражение обаятельного лукавства, и, захохотав, предстал перерожденной, веселой душой общества, почти рубахой-парнем.

— Подумайте, подумайте! — восклицала прокурорша, перебивая разговор мужа с Пастуховым. — Вашему другу достался графин без пробки!

Мефодий с Цветухиным нерешительно ждали, как повернет дело Пастухов, когда довольно-улыбающийся, уверенный в каждом движении Александр Владимирович вытащил из фрака пробку и потряс ею перед лицом превосходительной четы.

— Я спрятал пробку, — на актеров нельзя положиться, они мечтатели и страшные растеры. А пробка мне нужна, проверить один в высшей степени научный опыт.

— Как, вы занимаетесь и наукой? — сказала прокурорша.

— Вы любите горох, ваше превосходительство? — спросил Пастухов.

— Горох? — удивился ужасно шокированный прокурор, впрочем — с вежливой миной и любопытством.

— Французы едят гороховый суп с похмеля. Как целебное средство. Не слышали? Очень советую. И вот, когда будете варить, для ускорения положите в горох хрустальную пробку. Это мне сказал большой гурман, и я теперь сам проверю.

— Боже мой, как интересно! — смеясь со всеми, говорила прокурорша, пораженная необычайной шуткой: при ней никто никогда не говорил, что прокурор может быть с похмеля.

Продолжая крутить пробку в пальцах, Пастухов немного пододвинулся к прокурору и сказал почти доверительно:

— Значит теперь, ваше превосходительство, когда осуществлен коварный план и меня додержали до нынешнего вечера, я

могу надеяться, что во мне больше нет нужды у вас в городе?

— Как — нет нужды! Да мы вас только что узнали! — в приступе неудержимого радужия запротестовал прокурор и едва не обнял Пастухова. — Как раз сейчас появилась настоящая потребность вас удержать! Мы вас ни за что не отпустим, пока вы не пожалуете — почитать у нас в узком кругу!

— Абсолютно в узком, интимном кругу, — поддакивала прокурорша, — и вы сейчас же, сейчас нам обещаете!

Казалось, все было отлично — все любезнейше улыбались, и расшаркивались, и кланялись, но Пастухов не выпускал из рук пробку и решил двигаться к цели, презрев приличия.

— Все же, ваше превосходительство, если говорить не о журавле в небе, а о том воробье, который зажат в кулак...

— Но какой же такой воробей? — поднимал брови прокурор.

— Ах, что — воробей! — говорил Пастухов. — Я чувствую себя тараканом в спичечной коробке!

— Воробей! Таракан! После такого фурора! Однако вы избалованы! И позволяете... если вы опять насчет...

— Да, ваше превосходительство, я опять насчет, — продолжал Пастухов.

— Ах, опять насчет вашей неприятности? Но, господи боже, завтра я дам распоряжение и... пожалуйте, пожалуйте! поднимайтесь в поднебесье журавлем или там ясным соколом и летите куда вам угодно!.. Голубчик Ознобишин, прошу вас, скажите завтра, чтобы мне дали это дело... ну, это непонимание с господином Пастуховым.

— И с Цветухиным, — вставил Пастухов.

— И с господином Цветухиным. Пожалуйте. И потом — минуточка — что это вон там за лысина. Вон у лотереи, это — не подполковник? Попросите его, голубчик, чтобы подошел...

— Вот — вздохнул с великим освобождением Пастухов, — вот теперь готов я не только читать на эстраде, но — если угодно — нарядиться испанкой и танцевать с кастаньетами!

— А мы вас и заставим, и заставим! — посмеивался прокурор, откланиваясь и следуя за своей дамой.

Пастухов стоял будто задымленный победой в славной кампании, — ноздри его шевелились, губы были жестко приоткрыты, словно он держал во рту невидимую добычу. Оба друга созерцали его с благоговеньем.

— Прав я? — жадно спросил Мефодий.

— Ты — пророк! — великодушно пожаловал Пастухов и торжественно воткнул пробку в горлышко графина. — Суп свясок. Ока мне больше не нужна.

Он взял друзей под-руки.

— Левое плечо вперед. В буфет марш!..

Маршировать было, конечно, невысказано, — надо было пробираться, протискиваться сквозь гудящие рои публики. В буфет тянулись все, кто выиграл в лотерею, чтобы «спрыснуть» выигрши, и кто проиграл — выпить с горя, и кто совсем не играл, а предпочитал тратить деньги, не омрачая удовольствия превратностями судьбы.

Виктор Семенович Шубников принадлежал к людям, действовавшим наверняка. Окруженный закадычными товарищами, он провел за столиком все время, пока в зале читали артисты, и не собирався менять место. Ему только хотелось взглянуть на Лизу, — какова она в новой роли, рядом с дамами общества. И, выбравшись из буфета, он постоял в отдалении от лотереи, укрываясь между людьми и наблюдая за женой. Да, он мог сказать себе, что решительно счастлив: платье Лизы было богаче всех, украшения на ней — несравненно по блеску, прическа ее — много выше других, может быть — самая высокая на балу. Около ее колес толпилось больше всего публики, она улыбалась очаровательнее всех, она двигалась легче и плавнее других дам, от прикосновения ее рук вещи будто дорожали, — нет, она не даром носила фамилию Шубникова!

— Я вижу, ты скоро расторгнешься?

— Сидение в магазине пошло впрок, — весело ответила она. — Ты выжил?

— В кругу друзей, в кругу друзей! Мы ждем тебя.

— Не могу. Видишь, что творится, — сказала она и так же весело, мимоходом прибавила: — ты ничего не имеешь против? — меня пригласил Цветухин танцевать.

Ему даже понравилась эта неожиданность, — прекраснотушие растворило все его чувства, успех жены казался ему собственным успехом.

— Если ты меня будешь спрашивать, я всегда тебе разрешу!

Она не отозвалась, а только еще живее заклопотала, слыхая выигравшие биестики с ярлыками вещей: хлопот было, и правда, чрезвычайно много.

Витенька возвратился в буфет с ощущением зачарованного поклонника. По пути он гадал у дыганки. Погугай вытянул ему из ящика полезное правило жизни, гармонизировавшее с его убеждением: «добивайся настойчиво и вскоре достигнешь своего. Помни, что тебе завидуют».

Он увидел Цветухина с Пастуховым, которые искали свободное место. Проходя, он раскланялся с Егором Павловичем и предложил разделить компанию за своим столом.

— Вы, поди, тогда у Очкина подумали, что я нелюди! Но, знаете, было неважное настроение! А нынче симпатичный вечер,

не правда ли? Моя жена говорит, вы с ней танцуете?

— Вальс она обещала, наверно, вам? — спросил Цветухин.

— Я переуслухал! — от всей щедроты сердца объявил Витюша.

Он хотел поздороваться с Пастуховым и был изумлен, что тот его просто не приметил, как будто Виктор Семенович своей персоной входил в состав электрического освещения, а не больше. Это было настолько разительно, что Егор Павлович опешил не меньше Витюши и попытался замять обидную неловкость, и даже дернул друга за рукав, но из всех стараний ничего не получилось, — Витюша отошел ни с чем.

Александр Владимирович с необычайной даже для него пристальностью глядел в угол, где поблескивал затылок и вспыхивали очки Полотенцева. Подполковник разговаривал с прокурором. Пастухов следил за тончайшими изменениями лица его превосходительства, за оттенками и вариациями его жестов, словно читая издали все помыслы прокурора, и вряд ли он узнал бы больше из этой недолгой значительной беседы, если бы слушал ее, стоя рядом.

— Господь с вами, — говорил прокурор с поощрительной усмешечкой, — вы до смерти истомили наших служителей муз! Смотрите, какие дарования, а? Гордость и сдвва, а?

— Конечно, ваше превосходительство, — соглашаясь подполковник, — но мне продолжает казаться, они служат не только музам, но отчасти некоторому ложному направлению.

— Казаться! — перегваривал прокурор. — Этого маловато, согласитесь. Дело ведь, как мне докладывали, никакого? Нет, нет, давайте-ка отпустим их души на покаяние!

— В том и беда, ваше превосходительство, что они не склонны принести покаяние.

— Ну а если, однако, не в чем, а?

— У каждого есть что-нибудь такое, в чем не мешаю покаяться.

— Что-нибудь такое! — снова переговорил прокурор и уже с нетерпением.

— И потом ведь это им на пользу, ваше превосходительство.

— Полагаю, не во вред. И может быть по справедливости вы правы. Но по закону — нет. Покорно прошу подобрать материал, и я прекращу производство.

— Все дело, ваше превосходительство, приходит к концу: нынче умерла Рагозина.

— От болезни? — утверждающе и остро спросил прокурор.

— От родов.

— И что же?

— Не отрицала, что муж был главарем.

— И может быть еще чего-нибудь не отрицала? — полюбопытствовала прокурор,

продолжая настороженно исследовать очки подполковника.

— Не отрицала, чего, по очевидности дела, не следовало отрицать, — несколько загадочно ответил Полотенцев и потер свою математическую шишку.

— Ну-с, меня ждут партнеры, — закончил прокурор. — Извините, помешал развлекаться. Но все из-за артистов. Какие таланты, а? Вытянули что-нибудь в лотерее, нет? Не везет? Что вы! Вам всегда везет! Корову желаю вам, корошу!

Он удалился в карточный зал, а Полотенцев пошел к выходу, совсем близко миновав Пастухова и не поклонившись: во-первых, было не в его обычае считать знакомыми тех, кого он узнавал по служебной обязанности, во-вторых, на поклон жандарма могли и не ответить.

Пастухов пропустил подполковника, с напряженным увлечением раскуривая папиросу, и потом массивные его плечи, живот и грудь стали чаще и чаще подергиваться от беззвучного смеха. Он обнял Цветухина, озаренный довольством и беззаботностью, и повел его к столу, за которым уже поместился Мефодий. Они приказали чуть-чуть подогреть бордо и наполнить им выигранный графин. Они болтали, на разные лады возвращаясь к тому, что их одинаково занимало в эту минуту: после встречи прокурора с подполковником, которую Пастухов уверенно истолковал в свою пользу, недавние терзания оборачивались курioзным анекдотом, и оставалось только выпить.

Танцы уже начались, пение меди доносилось промкими вздохами, Цветухин все порывался уйти, но графин был ёмкий, вино тяжело, приятели выдумывали тост за тостом, пока, наконец, Александр Владимирович не провозгласил, как отпущение грехов:

— Здоровье той, что подарила нас талисманом. За бедную Лизу (он сощурился на Цветухина), за Бедную Лизу и за Эраста!

Егор Павлович выпил стоя, послушно приняв новое крещение, и, уходя, состроил мину рокового соблазителя.

Он был на той приступочке, на которой выходясь к небу хмель делает свой первый завиток и откуда все в мире начнет казаться эфирно-легким и доступным. Ему хотелось быть стройнее, чем он был, шагать изящнее своей походки, глядеть горячее, улыбаться ярче, говорить краше. Ему доставляло усладу, что итти было тесно, что он мягко задевал чужие локти, изысканно извинялся и благосклонно извинялся.

Лиза представила ему покорительной и сразу подняла его ступенькой выше, где хмель изгибался вторым завитком — еще не дерским, но уже очень смелым. Егор Павлович словно не в первый раз держал Лизу об-руку, прокладывая ей путь среди разодетой толпы. вводил ее в блистающий

зал, ставил в черно-белый строй пар, подчинял и подчинялся вместе с нею повелевающей музыкальной забаве.

Завалающая плясочка, им, конечно, вспоминаемая, оказалась паде-катром. Они отворачивались друг от друга, обращались друг к другу лицом, кружились и опять отворачивались, и эта смена движений на секунду точно разлучала их, чтобы потом на секунду соединить, и они то глядели друг другу в глаза и что-то начинали говорить, то обрывали речь и придумывали — что сказать, когда начнут кружиться, и все это повторялось, повторялось, повторялось и становилось лучше и лучше, хотя ритм ничуть не менялся, а только учащалось дыхание и хотелось двигаться дальше и дальше. И хотя они были оцеплены сзади и спереди поездом таких же, как они, пар, у них было чувство, что они — единственная пара и музыка обрушивается с хоров свои промы на них одних.

Слова, которыми они обменивались, касались сознания Лизы с такой мимолетной легкостью, будто пролетала, садилась на вершущую тростижку и вновь летела прочь прозрачная стрекоза. В памяти оставалось одно движение, след рассеянного воздуха, вспышка света, ничто.

Но вдруг речь Цветухина начала мешать пустому полету мыслей, задерживать его, отягощать. Оркестр распался на отдельные инструменты, люстры — на лампочки, танец потрбовал внимания.

— Что? Что вы сказали? — спросила Лиза на последнем повороте. Они отвернулись друг от друга, потом сделали два шага, глядя в глаза, потом она положила ему на плечо руку, и он повторил ясно:

— Вы уже убегали от мужа?

К счастью, без остановки шли повороты — третий, четвертый — и уже нужно было опять становиться спиной к Цветухину и можно было подумать.

— Кто вам сказал?

— Мне просто кажется — непременно убежите.

Какой трудный, однако, этот танец, как неуловимы связаны его глухие части, как быстро устаешь!

— Вам хочется, чтобы я убежала?

— Мне хочется, чтобы вы были счастливы.

Кто-то толкнул Лизу, она замешкала, звенья поезда позавиди нее сжались, ей наступили на платье, она взяла Цветухина под руку:

— Я устала.

Он вывел ее из зала, она пошла к лотерее, он придержал ее. Разгоряченный, с влажным поблескивающим лицом, он коротко дышал, часто прикладывая сложенный платок к подбородку, вискам и щеке.

— Мне надо работать, — улыбнулась она, показывая на вертящееся колесо.

Он спросил настойчиво:

— Счастливы ли вы?

— Да. Конечно, — ответила она строго и потом, взглянув на него с прямого человеческого, сказала еще раз. — Да, конечно, счастлива. И вы не должны меня об этом спрашивать!

Она поклонилась и уже не видела, как он на минуту остолбенел, держа платок в остановившейся руке.

Она провела добрый час за чтением билетиков и ярлыков, путая номера, ошибаясь в выдаче вещей, пока одна из дам не сказала ей шутливо и сострадательно, что она утомилась и пора отдохнуть.

Она пошла в буфет. Вокруг двух сдвинутых вместе столов шумели, объединившись, компании Витюши и Цветухина. Хохотали над рассказами Пастухова. Он сидел как будто разросшись в своем кресле, и по глазам его, чуть склеенным от хмелька, было видно, что он приятно потешался незыскательностью смешливого общества. Все поднимались, предлагая место Лизе.

— Какие люди, какие люди! — приговаривал Витюша. — Ей-богу, ты не помешаешь: все очень прилично.

— Совершенно стерильно! — уверял сильнее всех подвыпивший Мефодий.

Но Лиза не хотела оставаться: ей было не по себе, кружилась голова, и Витюша внезапно проникся полным сочувствием и усердно закивал, давая понять, что ухватил какую-то важную мысль.

Он вытянул из кармана сверток займовых купонов и объявил, что платит за всех. Но со счетом у него получалось плохо. Приятели взялись помогать и тоже сбились. Пастухов отобрал у всех купоны, скопжав ворохом, и передал Лизе.

— Единственная трезвая душа — протяните нам, пьяненьким, руку помощи!

Она попробовала серьезно считать, но сразу запуталась, — одни купоны были в рублях с копейками, другие в неполных рублях без каких-то копеек, а главное — Цветухин смотрел на нее своими черными горящими глазами, не отрываясь. Она капризно призналась, что ей скучно разбираться во всех этих процентах. Тогда Цветухин сказал:

— Помогните словес: не выйдет из вас купчихи, коли не любите считать деньги.

— Эх! — воскликнул Витюша, загребая купоны назад в карман. — Зачем богатой считать? За богатую дурагой кто-нибудь сосчитает. Человек! Скажи буфетчику, чтобы прислал счет ко мне домой. Я — Шубяничков!

Он подал руку Лизе.

— Нынче меня уводит жена. Я согласен. Согласен.

Он шел не очень твердо и все время нащепывал:

— Я тебя сразу понял, — маленький

Шубников хочет бай-бай. Да? Угадал? Спальнички хочет наш маленький, да?

На морозце он еще больше размяк, лепет его стал неразборчив, и дома, с прехом пополам раздевшись, он тотчас захрипел.

## 37.

Лиза долго не могла уснуть. Странно повторялись перед ней залы Собраний. Возникнув, они застывали, и она могла подробно разглядывать, в переливе света, каждое лицо из толпы, платья женщин, букеты цветов и те вещи, которые она раздавала в лотерее и которые потом, как нелепую обузу, весь вечер носили в руках счастливицы. Но всякий раз, когда перед ее взором останавливалось смуглое, влажное лицо Цветухина, она старалась забыть его и перескочить на другое воспоминание, и задержаться на нем, чтобы как можно дольше не приходило на память это смуглое лицо. В этой борьбе начиналась изнуряющая шутаница, и Лизе казалось, что она никогда не заснет, а всю ночь будет мучиться бессонницей и пробиваться куда-то сквозь напроможенные мешающих забыться картин и вещей. Она бежала от них, но ее бег был очень слаб, ей хотелось вскочить на лошадей, и она даже видела лошадей, на которых можно было бы убежать. Лошади были разные, и среди них мелко переваливался с бока на бок ипрений иноходец Виктора Семеновича. Лиза думала вскочить на него, но тут вырвался откуда-то вороной рысак, накрытый большой синей сеткой, и Лиза успела ухватиться за сетку и очутилась в пролетке. Рысак мчал по пустым ночным улицам, срывозь тьму, и на весь город раздавался звон его подков. Дул ветер, и Лиза дрожала от холода — на ней была одна сорочка в кружевах и на голове — ночной чепчик, тоже весь в кружевах и с бантом. В совершенной темноте пролетка вдруг остановилась перед огромным черным подъездом, и Лизу кто-то с обоих боков взял под локти и помог сойти. Она открыла тяжелую дверь подъезда, — это был театр. Она двинулась между пустых рядов партера, к сцене. В бесконечной высоте на люстре горела одна пыльная желтая лампочка, чуть-чуть озаряя немой зал. Она ступала босиком неслышно, страшно медленно, в своей кружевной сорочке и чепчике, как — перед самой смертью — Пиковая дама, которую она видела в опере. Она перешла глубокую яму оркестра по узкой дощечке и перешагнула через рампу. Занавес был поднят. Вдруг под ногами вспыхнуло множество огней и ослепило ее. Она стала измерять сцену шагами. Пол был шершавый, завозистый, снизу через щели дул холод. В длину она насчитала двадцать семь шагов, в глубину — семнадцать. Может быть, в глубину было

больше, но ей что-то темное мешало итти глубже, и она не знала — что там, за темным. Она повернулась. Холод все дул, длинный подола сорочки был ее по ногам. Она стала считать лампочки, но они разгорались ярче, у нее закололо в глазах, она зажала лицо ладонями, и тут чей-то пронзительный голос закричал отчаянно сзади, из темного, и Лиза очнулась.

Она дрожала в испуге, но у ней было странно ясное ощущение, что она узнала во сне что-то необычайно новое и сама будто обновилась. Витенька храпел безмятежно. Лиза провела рукой по своему телу — пот проступил у ней на ключицах. Она скинула сорочку, бросила ее в кресло, надела халатик и подошла к окну.

На улице, уже по-утреннему людной, лежал тонкий сухой снежок. Черные следы колес расходились по мостовой, как рельсы. Запорошенные крыши были незапятнанно-белы, и дома как будто приподнялись. Небо было сплошь серо. Дымки из труб расшивали по нему синие шары, которые росли, голубели и сливались с небом. Саней еще не было.

Лиза прочла про себя: «проснувшись рано, в окно увидела Татьяна...» — и вышла в столовую.

Почти в ту же минуту отворилась другая дверь. Горничная-старуха, шевеля бровями, таинственно манила к себе пальцем Лизу, в то же время подходя к ней на цыпочках.

— Девочка пришла. Девочка вас спрашивает.

— На кухне?

— Да. Вы велели, говорит, притти. Еы, говорит, дожидаете.

Лиза быстро оглянулась в спальню и с неожиданной для себя доверчивостью цепнула старухе, чтобы та посмотрела.

Выбежав в кухню, она увидела Аночку, притулившуюся у дверного косяка, в той же материнской еще не перешитой жакетке, в какой она была прошлый раз, и в шерстяном понюшенном платке.

— Здравствуй, — тихо сказала Лиза, — ну, что ты?

— Я была вчера у Веры Никандровны.

— Ну что же, что?

— Она обрадовалась.

— Тебе обрадовалась?

— Обрадовалась, что вы велели сходить.

— Ну?

— Она вот еще меньше жидет, как вот отсюда до печки.

— Что же она, о чем-нибудь говорила?

— Мы целые после-обеда все говорили. Она теперь девочку учит, а не мальчиков.

— А о чем я тебя просила, — говорили?

— Ага, говорили. Она все спрашивала, спрашивала, а я все как есть рассказала, про то, как мама с папой в лавку к вам ходили, и как потом вы...

— Нет, нет. А про Кирилла?

— И про него тоже.

— Ну что, что?

— Она письмо дала.

— Мне письмо? — еще тише, но с неудержимым порывом спросила Лиза. Она уже стояла вплотную к Аночке и не упускала глазом ни одного ее движения. Аночка растегнула жакетку и, взявшись за полу, поглядела на Лизу с ясной и хитрой улыбкой:

— Вера Никандровна увидела — у меня подкладка отпорота, спрятала туда письмо и потом сама застобала.

Она подковырнула подкладку, всунула под нее пальчик, дернула, с треском разорвала шов и вытащила маленький конверт с миловым кантиком по краям. На нем было написано одно слово — Л и з е, — но это слово разом объяснило все: письмо было от Кирилла.

— Ты подожди... или нет, ступай, ступай! — задыхаясь, проговорила Лиза и толкнула ногой дверь. — Ты потом приходи, после!

— Когда-нибудь или когда? — огорчившись, но без обиды спросила Аночка.

— Когда хочешь, или все равно, погоди, — ничего не сообщая, сказала Лиза, подвигаясь к окну и ногтями кое-как обшпиливая край конверта.

Листок бумаги был исписан крутом не очень мелко, — читать было нетрудно. Лизе казалось, она не ухватывает всех слов, а только читает начало и конец фраз, но она не пропустила ни одной буквы и понимала гораздо больше, чем было выражено буквами, и жадно спешила угадать мысль, которая скрывалась за бумагой и должна была быть самой главной...

Кирилл писал, что вот, наконец, он может послать письмо матери и ей и что он так давно ждал этого и столько раз в голове написал ей это письмо, что теперь ему мешают припоминания — о чем он хотел написать, и, может быть, он не напишет, о чем больше всего надо. С тех пор как он видел ее последний раз, так неожиданно много переменялось в нем самом, что он не совсем разбирает, от чего имени пишет — от того ли Кирилла, каким она его знала, или от нового, каким он себя сейчас чувствует.

Тут Лиза перехватила дыхание и застала себя читать медленнее.

«Я теперь совсем в другой жизни, непохожей на прежнюю ни капельки. Училица моего и не существовало будто шаяву, а только во сне. Я — в деревне, каких на Волге не найдешь, всего в одиннадцать дворов. До ближнего села семь часов ходьбы лесом. Народу мало, меньше, чем у нас в классе, но он необыкновенный. Начал теперь видеть, как живут, и знаешь, Лиза, я был раньше ребенком. Ты меня может быть сейчас не узнала бы.

Живу у старухи с внучатами, которая по вечерам поет «Уж я золото хороноу, хороноу». Я спросил ее, оказалось, она в жиз-

ни не видела золота. Здесь даже серебряные обручальные кольца в редкость, у всех медные. Здесь уже снег, как выпал, так сразу лег. Началась великая русская зима. У вас, наверно, еще не холодно? Сказки моя старуха рассказывает такие, каких у нас не слышали. Без сказок наверно нельзя бы прожить.

Я пишу то, что совсем неважно, но я думаю, так ты лучше представишь, где я буду теперь очень долго. Нам с тобой все это бесконечное время надо будет не видаться, и хотя мне очень тяжело, я решил и знаю, что могу перенести. Но вот о чем я еще решил тебе сразу написать. Дорогая Лиза! Все это так будет тянуться, что тебе может стать невыносимо. Тогда ты знай, что я пойму, если ты не захочешь ждать, когда кончится мой срок, то есть три года. Это я тебе говорю честно, потому что достаточно обдумал. Я не буду считать это обидой, даю слово. Для меня дороже твоя свобода и независимость.

И еще прошу тебя, напиши мне и пожалуйста не сердись на меня, если я ошибаюсь. Верно я заметил твою склонность к Цветухину? Если да, то я не могу ничего иметь против, а если нет, то я буду только больше счастлив, чем прежде, и буду надеяться, что мы все-таки будем вместе. Это я все очень передумал.

Это пока все о тебе. Ты сама должна написать мне о себе больше. Я хочу все знать. Я о себе написал очень много маме и просил, если ты захочешь, чтобы она тебе прочитала.

Да, вот еще, между прочим. Когда меня везли сюда, на одной станции мне купили, вместо табаку, потому что я не курю, сушеных яблок. Они были в клочке газеты. Так я узнал, что умер Толстой. Напиши, как ты перенесла эту смерть и как вообще перенесла. Я много думал и пришел к выводу, что он находится все-таки в числе моих Великих людей. Помню наш разговор и вообще помню всю, всю тебя! Маме я послал список, какие мне нужны книги. Пиши. Кирилл».

Лиза огустила руку с письмом. Лицо ее было все залито краской, потемневшие мокрые глаза горели, она смотрела, не мигая.

— Мне что же — итти? — боязливо спросила Аночка.

Лиза молчала. Вся жизнь сосредоточилась для нее на такой глубине души, которой она прежде у себя не подозревала, и ей казалось, что теперь ей ничего не надо, кроме этой бурной, потрясавшей ее жизни души.

Но когда в кухню заглянула перетревоженная старуха, Лиза в страхе спрятала письмо на прудь и шопотом спросила:

— Что, проснулась?

— Не знаю, матушка, стихи что-то Виктор Семеныч, — тоже шопотом ответила из-за двери старуха.



Тогда Лиза словно впервые заметила Аночку и замахала на нее обеими руками:

— Ты что же стоишь? Ступай, придешь другой раз!

— А Вере Никандровне сказать чего или вы сами? — спросила Аночка, вобрав голову в плечи и съезжаясь, изо всей силы показывая, что отлично понимает, в какую она посвящена тайну.

— Я сама! Я все сама! — опять взмахнула руками Лиза и побежала в комнаты.

Она подкралась к спальню и прислушалась. Витенька храпел, но потише. Лиза приоткрыла одну створку двери. В спальне было полутемно. Муж лежал, раскинувшись, лицом вверх. На кресле, в стороне, белела брошенная кружевная сорочка: точно мертвая Пиковая дама — вспомнила Лиза свой сон и, вспомнив, уже не могла не повторить памятью все впечатления, с какими ночью засыпала, и опять увидела смуглое лицо Цветухина, его смоляной взгляд, и захотела перечитать то место письма, где Кирилл о нем пишет.

Она тихонько села у окна и незаметно, урывками, вновь пересмотрела все письмо, стараясь разобраться в нем все еще не успокоившимся умом. Она силилась как можно стройнее ответить себе — виновата ли она и должна ли она себя осудить, но долго не могла сложить какой-нибудь ответ и толком не понимала — о чем она себя спрашивает. Она смотрела за окно на снег, и перепуганные фразы беспорядочно возвращались к ней, выражая лучше всех ее вопросов ту самую жизнь души, которая поглотила ее после первого чтения письма: началась великая русская зима — «проснувшись рано, в окно увидела Татьяна» — мы все-таки будем вместе — он все-таки находится в числе Великих людей — все-таки из вас никогда не выйдет купчихи — все-таки, все-таки Пиковая дама!

— Боже мой, чем же я виновата! — прошептала Лиза и беспомощно, по-детски, легла щекой на подоконник.

Понемногу она стала овладевать своими мыслями и с мучительной горечью понимать, что подчиняясь своему долгу сначала перед отцом, потом перед мужем, боясь нарушить этот внушенный ей с детства, непроступаемый общеизвестный долг, она пошла против того долга перед самой собою, который никому не был известен, но был несравнимо больше и важнее всего. И хотя теперь Кирилл освобождал ее от этого долга — великодушно и как только мог мужественно — она чувствовала себя нарушительницей любви, потому что любовь ее не переставала в ней жить сейчас, как прежде.

Ей жгуче хотелось смягчить этот приговор над собою, и она знала, что он смягчается или, может быть, даже рушится ис-

ред лицом нового, небывалого в ее жизни и высочайшего долга — перед тем, что она ожидала ребенка, — но ей не становилось легче, а только всеми ощущениями, словно обнаженными мукой, она чувствовала, что уже никакой силой ничто переменить нельзя.

У ней лились слезы, неиссякаемые и страстные, она не вытирала их и продолжала беззащитно лежать лицом на мокром подоконнике, не двигаясь, прижимая к груди смятое письмо.

## 38.

С первыми санями Александр Владимирович Пастухов покидал родной город. Вещи были отправлены в Петербург раньше, и он ехал налегке — с одним чемоданом и портпледом.

Извозчик вез лихо, слышно было уханье лошадиной селезенки да стук еще не крепких снежных комьев по передку. Пастухов раскраснелся, ветер, точно просеянным песком, поцарапывал его полные щеки. В высокой бобровой шапке, но с расстегнутым воротником, он смотрел вокруг с облегчением — приобретенное чувство свободы воздушняло его живостью и новизной. Всю длинную улицу, которая натянутой белой лентой вела к вокзалу, он успевал оглядывать обе стороны домов, почти сплошь знакомых ему, и прощался с ними последней немного залубеннейшей от ветра счастливой улыбкой. Бог с ним, с отчим домом, — думал он, — прощай навсегда или может быть — до лучших времен. Но неволью он нахдился в прошлом что-то неуловимо-приятное и, радуясь отъезду, чуть-чуть жалея, что пережитое уже не возвратится.

Проезжая тюрьму, он отвернулся и глядел на другую сторону все время, пока мимо проползал бесконечный остроконный забор. Он сам иногда дивился этому свойству своей природы — оберегать себя от неприятного: глаза его не любили смотреть на то, что омрачало.

Университет наполювину был в строительных лесах, покрытых длинными полотнами снега. У казарм солдаты без мундиров, в одних рубахах и бескозырках, звонко чистили скребками тротуары. Перед вокзалом извозчики беззвучно отъезжали от подъезда и выстраивали поодаль в ряд своих лошадей, масти которых на чистом снегу стали резко разниться друг от друга.

Пастухов не взял носильщика и медленно прошел с багажом в зал первого класса. Здесь было не очень много народа, — офицеры пили крепкий чай за длинным столом с пальмами, купец, обжигаясь, ел щи, дамы в ретондах взволнованно разговаривали с носильщиками, большая семья расселась в кружок перед раскрытой кор-

зинкой, и нянька, ломая на куски тульский пряник, наделала им детей. Все были в зимнем, и теплота, пропитанная запахом обеда и папирос, еще больше давала ощущать наступившую зиму.

Цветухин и Мефодий шли навстречу Пастухову, покачивая головами, как будто говоря без слов, что вот ты и покидаешь нас, изменщик, а мы должны оставаться и завидовать твоему счастью. Они взяли у него из рук чемодан и портплед и все трое уселось за небольшим столом недалеко от огромной, разукрашенной фикусами стойки буфета. Они глядели друг на друга, улыбаясь, каждый сразу думая о себе и о том, что мог думать о нем другой. Потом Пастухов утер холодное от морозца лицо и сказал довольно:

— Хороша погода. Что же? Расстанную?

Цветухин поднял голову к часам над буфетом:

— Минут сорок еще осталось.

Они велели подать нежинской рябиновой с пирожками и закурили.

Прошел мимо жандарм в шинели до пола, звеня шпорами и волоча за собою струю сукобно-керосинового запаха. Пастухов пофыркал носом, озорно перекрестил себя чуть повыше живота.

— Пронеси господи!

Все трое засмеялись и разобрали налитые официантом рюмки.

— В таких случаях, — заговорил Пастухов, выпив, — принято оглядываться назад и, что называется, изыскать уроки. Какие вы чудесные мужики! Жалко прощаться. Знаете, ведь я прожила с вами время, достаточное, чтобы родиться человеку. Вместе прошли по самому краешку пропасти и не свалялись. Можно сказать — убедились, что чудеса бывают. Но понимаем ли мы себя больше, чем понимали до этого чуда?

— Понимать — мало, — сказал Мефодий.

— Умница, — одобрил Пастухов. — Понимать — мало, но понимать надо. Иногда, в эти месяцы, я слышал дуновение черных крыл за своим запятком. Я спрашивал себя: за что же меня хотят столкнуть в яму? И мог ответить только одним словом: случайность. Потом беда миновала. Спину мою, как в детстве, свесает крылами бабушкин ангел-хранитель. Я спрашиваю себя — за что такая милость? И опять отвечаю: случайность. И вот я смотрю на нас троих и думаю: внутри у нас бродят какие-то непонятные нам реактивы. Соединились одни — и получились у тебя, скажем, Егор, твои летающие бумажки или твоя скрипка. Соединились бы другие — и ты стал бы раздавать на берегу прокламации. Случайность.

— Выходит, я и актер по случайности? — спросил Егор Павлович довольно мрачно.

— В самом деле! — уязвленно поддержал Мефодий.

— Не в том дело, что ты — актер, я — драматург, а вот он — певчий.

— Почему вдруг певчий? — обиделся Мефодий.

— Ну не певчий, а семинарист. Это не важно. Важно — ради чего мы поем на все лады нашими козлетонами?

— Ну? — строптиво подогнал Мефодий.

— То-то, что — ну! Довольно разыгрывать оскорбленного. Налей лучше.

Они выпили и, прожевывая пирожки, опять молча полюбовались друг другом, понимая, что в эту минуту их не может разъединить никакая разномовка.

— У всех у нас, — продолжал Пастухов, — выпадают дни, когда с утра до вечера ищешь — что бы такое подедать? И то за стихи возьмешься, то к приятелю сходишь, то с какой-нибудь барынькой поваляндаешься. Глядишь — пора на боковую. Иногда я боюсь, что так и состаришься. А где-нибудь неподалеку от нас кто-нибудь делает наше будущее. Сквозь дикие дебри, весь изодравшись, идет к цели.

Он приостановился, глянул в окно, добавил:

— Какой-нибудь испорченный мальчик.

— Совесть — коттистый зверь! — улыбнулся Цветухин.

Он тоже повернул лицо к окну.

Начался легкий снегопад, из тех, какие бывают в тихий день, когда редкие снежинки будто раздумывают — упасть или не упасть, и почти останавливаются в прозрачном воздухе, вися, словно потеряв на секунду вес, а затем неуверенно опускаются на землю, уступая место таким же прихотливым, таким же нежным.

— Я об этом думал, — неторопливо сказал Цветухин. — Мне казалось, что мы перенесли это наше глупое дело по обвинению и прочее так тяжело, знаешь, почему? Если бы нас привлекали не по ошибке, а по делу, за настоящее участие в деле, может нам было бы легче, а?

— Как верно! — изумился Мефодий.

— Ошибка-то была, может, в том, что мы не занимались тем, в чем нас обвиняли?

Пастухов посмотрел на Егора Павловича испытующе, потом внезапно захохотал.

— Ну, это ты вошел в роль, актер! Перестраивай! И вообще, знаешь? — ты мне не нравишься. Это про тебя Толстой сказал, что у человека, побывавшего под судом, особенно благородное выражение лица!

Смеясь, они еще налили, и Пастухов поднял рюмку выше, чем прежде.

— Мы слишком много, друзья, участвуем в жизни сознанием. Я хочу выпить за то, чтобы поменьше участвовать в ней сознательно и побольше физически!

Мефодий первый опрокинул за это пожелание, но, крикнув после выпитого, спросил глубокомыслебно:

— Это в каком же, однако, смысле?

— Это в том, семинарист, смысле, что

все мы — байбаки, понял? Байбаки! Насколько было бы все благороднее, если бы эти месяцы мы находились в кругу хороших женщин. Ведь вот я по лицу твоему постигну, Егор, вижу, как тебе недостает возвышающего, прекрасного созданья!

— Почему же ты полагаешь — недостаток? — что-то слишком всерьез спросил Цветухин.

— Именно, — сказал Мефодий, — зачем же так опрометчиво полагать?

Пастухов оставил невыпитую рюмку. Взгляд Цветухина оказался ему растерянным, даже напуганным до какой-то суеверности.

— Что-нибудь случилось?

— Именно, случилось, — подтвердил Мефодий со вздохом.

— Вернулась Агния Львовна, — быстро сказал Цветухин и неловко, будто извиняясь, улыбнулся.

— Что же ты молчишь? — привскочил и тотчас грузно сел Пастухов. — Как это возможно?

— Не хотелось портить настроения, — без охоты проговорил Цветухин, снова отворачиваясь к окну.

— И почему же невозможно? — продолжал ему в тон Мефодий. — Надо знать характерную актрису Перевошикову. Являлась с чемоданами, коробками из-под шляп, с копченым рыбцом, с медом, с увядшими цветами. Свалила все в кучу, поплакала, поцеловала и уже развесила на стенке старые афиши, и уже пробует свое контрабльто, и уже требует, чтобы Егор устроил ее в театре, и уже выгоняет меня из номера. Все, как в первом акте комедии.

— К чорту! — негромко оборвал Цветухин и занес руку, чтобы стукнуть по столу, но остановился, с проникновением взяв бутылку и поглядел на Пастухова подобранными глазами. — Это разговор длинный, не вокзальный. Скажи, Александр, последний хороший тост и — конец. Второй звонок.

— Да, второй звонок, — произнес Пастухов так медленно, будто старался и не мог понять, что означают эти слова. — Я предлагаю тост под второй звонок: выпьем за ту женщину, которую ищем мы, а не за ту, которая ищет нас!

— Жестокый тост, — отозвался Мефодий. — Эту женщину, за которую ты пьешь, ты лишаешь великого удовольствия: искать нас!

Они наспех рассчитались с официантом и в суете, вдруг охватившей вокзал, вышли на платформу. Внеся вещи в купе и посмотрев, удобно ли будет ехать, они все втроем оставили вагон.

Под навесом перрона летали, как заблудившиеся, снежинки, испещряя своими недолговечными метками озабоченные лица. Бегом провезли последнюю вагонетку почты с обычными выкриками — па-

азволь! Вышли и потянулись в оба конца жандармы.

— Мало мы посидели, — сказал Мефодий.

— Даже не выпили за искусство, — грустно прибивал Егор Павлович.

— Что ж искусство? — сказал Пастухов. — В искусстве никогда всего не решишь, как в любви никогда всего не скажешь. Искусство без недоразумения — это все равно, что пир без пьяных.

— Запиши, запиши себе в красную книжечку! — воскликнул Мефодий.

— Мне часто кажется, что моя книжечка — бесцельные знания. Я сейчас верю, что самое главное — это цель.

— А я сейчас ни во что не верю, — опять словно извиняясь, сказал Цветухин. — Кажется, не верю, что земля вертится вокруг солнца.

— Да, Агния Львовна нас ушибла, — с сочувствием мотнул головой Мефодий. — Но, милый Егор, в конце концов и не важно — верит человек, что земля вертится, или нет: на состоянии земли это не отражается, на человеке тоже.

Пастухов в восторге поцеловал Мефодия:

— Сократ! — дохнул он прямо в его перебитый нос.

— Глупый человек чаще говорит умное, чем умный — глупое, — ответил Мефодий очень польщено. — Потому умные скучнее глупых. Однообразнее.

Пастухов обнял Цветухина.

— Видишь, Егор, не будь гораздо умней! Не скучай!

Он успел еще раз поцеловать обоих друзей и — счастливым — вскочил на подножку. Все сняли шапки.

— Берегите друг друга, мужики! — крикнул Пастухов из тамбура.

— Мы — нераздельные! — проголосил в ответ Мефодий. — Мы в один день именинники — Егорий да Мефодий!

— Не забывай! — поднял обе руки Цветухин.

— Не забывайте и вы, мужики, — взмахнул своей тяжелой шапкой Пастухов.

Мефодий утерся платком и накрыл голову. Паровоз уже упрятывал в мохнатую белую шубу вагон за вагоном. Пастухов исчез в ней. Мефодий вынул из рук Егора Павловича шапку, надел ее на его черную, в снежинках, шевелюру, легонько повернул его и повел.

Они сторговались с извозчиком — до театра. Мефодий прижал к себе Егора Павловича, заботливо схватив его спину. По дороге он беспокойно покашлялся, надеясь вычитать во взгляде друга хотя бы маленькую перемену самочувствия. Но Цветухин думал об одном.

— Интересно сказал Пастухов про искусство, — решил заговорить Мефодий.

Егор Павлович не отвечал.

Они ехали сторонними, захудалыми

улицами, поднимая с дорог стайки галок и воробьев. Собачонки, выскакивая из калиток, привязывались за санками и, облаяв их, без ярости, по чувству приятного долга, весело убежали назад. Тесовые домишки загоревшихся на снегу разноцветных красок быстро накапывались спереди и пролетали мимо, точно увертываясь в испуге от свистящего бега рысака.

— Что ты сказал? — неожиданно спросил Цветухин.

— Я.. это.. — не нашелся сразу Мефодий. — насчет Пастухова. Здорово он об искусстве.

Цветухин опять замолчал, уткнув рот в воротник, и только уже на виду Театральной площади, встряхнувшись, вдруг сказал, будто продолжая разговор:

— Это у Александра старая мысль. Он как-то мне толковал про колокольню Ивана Великого и спичечный коробок. Конечно, говорит, без спичечного коробка не обойтись, а от Ивана Великого никакого проку — печку им не растопишь и от него не прикуришь. Но вот посмотрит любой человек в мире на Ивана Великого и сразу скажет — это Москва, это Россия. А коробок потрясет — не шебуршат ли в нем спички? — и если нет — выкинет.

Он отстегнул меховую полость, вылез из саней и, входя в подъезд театра, решительно договорил:

— Будем строить нашу колокольню.

Но тут же вздохнул:

— Жалко, Александр уехал как раз теперь. Он был бы мне большой подмогой.

— А я? — почти кинулся к нему Мефодий. — А мы с тобой? Неужто вдвоем мы не осилим твою беду?

Цветухин сжал ему локоть.

— Спасибо тебе, бурсак!

Они прошли за кулисы, обнявшись.

На сцене шла репетиция — вводили новую актрису в «Анну Каренину». Режиссер, тоже новый человек, нервный, пылкий, решивший взять быка за рога, недовольно покрикивал. Занавес был поднят, зал чернел остуженной за первые морозы, сторожкой и немного загадочной своей пустотой. Что-то не клеилось, актеры повторяли и еще хуже портили выходы.

Вдруг режиссер обернулся к залу и крикнул:

— Кто это там?

Все прислушались, всматриваясь в темноту.

— Я сказал, чтобы в зале никого не было! — опять закричал режиссер и опять послужал.

— Да вам почудилось, — лениво сказал трагик.

— Вы думаете, я — пьяный? Я слышала в зале кашель!

Опять все затихли, и тотчас из рядов донесся слабенький, видно изо всех сил придушенный кашель.

— Я не позволю с собой шутить во вре-

мя работы! — взвопил режиссер и бросился вон со сцены.

Сразу с обеих сторон в зале появилось несколько актеров из тех, что помоложе или поживее, и все они двинулись между кресел навстречу друг другу:

— Вон, вон! — разнесся гулкий голос.

— Да никого нет, чепуха!

— Вон прячется!

— Да, да, да, смотрите — в четвертом ряду!

— В пятом, в пятом! Под креслом, видите?

— Дайте свет! Свет в зал!

Все уже разглядели белое пятно в самой середине ряда и — обрадованные неожиданным развлечением — с возгласами и шумом, стали сходить в кольцо.

— Ага-а! — прогудел кто-то утробным басом.

— Ага-а! — ответили ему на разные голоса.

— Ага-а! По-па-лась! — прогремели все ужасающим хором.

Потом громкий хохот взмыл в отзывчивую высоту зала, и толпа повлекла к выходу пойманную жертву.

— По-па-лась! — кричала и вопила, забавляясь, веселая орава, не размыкая плотного кольца, а так и втискиваясь в узенькую дверь, которая вела из зала на сцену.

— Не вижу ничего смешного, господи! — ершился режиссер, пытаясь раздвинуть кольцо и заглянуть — что оно скрывает.

— Что там такое? Что?

Тогда актеры разом стихли, расступились, и перед ним возникла девочка, крепко зажавшая ладошками лицо, с белесой косичкой, в платянце по колено, с свалившимся на одну ногу красным шерстяным чулком.

— Кто это? — воззвал оскандаленный режиссер.

— Да ведь это Аночка! — растроганно сказала старая актриса.

— Это наша Аночка! — заговорили и восклицали актеры. — Аночка, наша побегушка! Курьер-добриволец!

— Все равно, кто бы ты ни была, — произнес нетерпимо режиссер, — тебе не дано право нарушать порядок. Театр это не игрушка. Запомни.

Он хлопнул в ладоши и отвернулся:

— Начали, господа, начали!

— Вот теперь у нас тонус! — одобрительно протянул трагик, отправляясь с другими актерами на сцену.

Цветухин подошел к Аночке. Она все еще не в силах была оторвать от лица руки и стояла недвижимо. Плечики ее изредка вздергивались.

— Да ты никак плачешь? — спросил Егор Павлович, нагибаясь и обнимая эти ее остренькие, дергавшиеся плечики. — Ну что же ты, озорная, ведь это на тебя не похоже. О чем ты, а?

Он отвел ее в сторону и, присев на чугунную ступень лестницы, поставил у себя между колен.

— Что ты, а?

Взяв ее руки, он тихо развел их. Лицо ее не отличалось от белобрых волос, даже губы побелели, точно она окунулась в студеную воду.

— Ну, что с тобой?

— Испугалась, — безголосо пролепетала она.

Он улыбнулся, глядя в ее тяжелые, большие глаза, промытые плачем до глубокой, сверкающей синевы. Он погладил и похлопал ее по спине.

— Ах, ты, сирена!

— Я не сирена, — отозвалась она сразу.

— Разве помнишь?

— Помню.

— То-то, что помнишь, — усмехаясь, качнул он головой и, немного подумав, добавил: — я тоже помню.

Он посмотрел прочь словно недовольным, выскателным, осуждающим взором.

— Послушай, — спросил он, сильнее сжимая Аночку коленями, — скажи-ка мне одну вещь. Зачем ты вертишься тут у нас?

Она не ответила.

— Ну, что же ты, словно воды в рот набрала, говори.

Она уткнула подбородок в грудь.

— Тебе учиться надо, а не лазить тут, как мышонку. Ну, что молчишь?

— Я может у Веры Никандровны жить буду, она меня учить будет, — буркнула себе в грудь Аночка.

— И сюда бегать перестанешь, да? Ну, что опять замолчала? Может, мне за тебя сказать, а? Сказать? Ну ладно, я скажу. Уж не актрисой ли ты хочешь быть, а? Угадал?

Он подsunул палец под ее подбородок и с силой приподнял упиравшуюся голову.

Все лицо Аночки покрывал темный румянец, она смотрела на Егора Павловича в отчаянном испуге. Вдруг, наклонившись

к нему, точно падая, она почти прикоснулась к его щеке, но отпрянула, вырвалась из его колен и, перескакивая через раскиданную вокруг бутафорию, без оглядки побежала.

Она схватила на бегу свою одежду, кое-как набросила ее на плечи и выскочила на улицу. Обезав весь театр, она оглянулась, словно надо было увериться, что ее никто не догоняет. Она оделась, обвязала голову платком, подтянула свалившийся чулок. Успокоившись, еще раз осмотрелась и тут как будто впервые увидела этот огромный, голубовато-серый дом, в который она бегала, сама не зная — ради чего.

Дом высился один посередине белой нетронутно-чистой площади, со своими большими глухо-закрытыми дверями, висевшими подряд, как ни в каком другом доме. Широкий балкон прикрывал эти необыкновенные двери, поддерживаемый чугунными столбами, и на каждый столб были надеты, точно согнутые в локтях руки, парные фонари. Высоко над балконом начинались крыши — узенькая, над ней пошире, потом еще шире — много разных крыш, — одни похожие на козырьки, другие вроде поясков, а самая верхняя — как громадный зонт. Все они были ровно засыпаны снегом, и от этого весь дом казался ясным-ясным, как нарисованный на глянцевой бумаге. Это был, наверно, самый большой дом из всех, которые видела Аночка.

Она пошла прямо через площадь, по снежному полю, высоко поднимая колени, оставляя следы больших — с маминой ноги — башмаков, и, дойдя до середины поля, оглянулась еще раз и посмотрела на дом издали и решила окончательно, что это самый большой дом. Потом она еще немножко подумала и еще решила, что этот дом самый красивый.

Больше она не оглядывалась, а, перейдя площадь, пошла таким шагом, каким идут взрослые люди, знающие, что их ожидают неотложные дела и обязанности.

1943—45 гг.

(Конец первого романа трилогии.)

# СТИХИ

## ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

★

1

О них когда-то горевал поэт:  
Они друг друга долго ожидали,  
А, встретившись, друг друга не узнали,  
На небесах, где горя больше нет.  
Но не в раю, на том земном просторе,  
Где шаг ступи — и горе, горе, горе,  
Я ждал ее, как можно ждать любя.  
Я знал ее, как можно знать себя,  
Я звал ее в крови, в грязи, в печали.  
И день настал, закончилась война.  
Я шел домой, навстречу шла она,  
И мы друг друга не узнали.

2

Когда она пришла в наш город,  
Мы растерялись: столько ждать,  
Ловить душою каждый шорох  
И этих запов не узнать.  
И было столько боли прежней,  
Больших страстей такой клубок,  
Что даже крохотный подснежник  
В то утро расцвести не смог.  
И только — видел я — ребенок  
В ладоши хлопал и кричал,  
Как будто он, невинный, понял,  
Какую гостью увидал.

3

Она была в динялой гимнастерке,  
И ноги были до крови натерты.  
Она пришла и постучала в дом.  
Открыла мать. Был стол накрыт к обеду.  
«Твой сын служил со мной в полку одном.  
И я пришла. Меня зовут Победа».  
Был черный хлеб белее белых дней,  
И слезы были соли солоней.  
Все сто столиц кричали вдалеке,  
В ладоши хлопали и танцевали.  
И только, в тихом русском городке  
Две женщины торжественно молчали.

4

Светлое поле. Вечер был светел.  
В поле лежали мертвые дети.  
Ветер мегался, сердца бездомней.  
Ветер улегся, ветер не помнит.  
Камни забыли, как их дробили,

Камни не знают, кто здесь в могиле.  
Нет, не бессмертье, не мрамор, не камень,  
Дай мне другое — трудную память,  
Чтоб, умирая, снова увидеть  
Светлое поле в смертной обиде.

5

Ты говоришь, что я замолк,  
И с ревностью и с укоризной.  
Париж не лес, и я не волк,  
Но жизнь не вычеркнуть из жизни.  
А жил я там, где сер и сед,  
Подобный каменному бору,  
И голубой и в пепле лет  
Шумит, поет великий город.  
Там даже счастье нипочем,  
От слова там легко и больно,  
И там с шарманкой под окном  
И плачет и смеется вольность.  
Прости, что жил я в том лесу,  
Что пережил я все и выжил,  
Что до могилы донесу  
Большие сумерки Парижа.

6

Я смутно жил и неуверенно,  
И говорил я о другом,  
Но помню я большое дерево,  
Чернильное на голубом.  
И помню я большую женщину.  
Не знаю, кто кого любил,  
Но суеверно и застенчиво  
Я руку взял и отпустил.  
И все давным-давно потеряно,  
И даже нет следа обид,  
И только где-то то же дерево  
Еще попрежнему стоит.

7

Слов мы боимся, и все же прощай.  
Если судьба нас сведет невзначай,  
Может не сразу узнаю я кто  
Серый прохожий в дорожном пальто.  
Сердце подскажет, что ты это тот —  
Сорок второй и единственный год.  
Ржев догорал. Мы стояли с тобой.  
Смерть примеряли. И начался бой.  
Странно устроен любой человек,

Страстно клянется, что любит навек,  
И забывает когда и кому...  
Но не изменит и он одному:  
В час, когда Ржев догорал вдалеке,  
Слову скупому и теплой руке.

## 8

Мне было многое знакомо  
И стало сердцу дорогим,  
Но не было на свете дома,  
Который я назвал моим.  
И только в час, глухой и злобный,  
Когда горела вся земля,  
Я дверь одну ревниво обнял,  
Как будто эта дверь — моя.  
И дым глаза мне злобно выел,  
Но я не опустил руки,  
Чтоб дети, не мои — чужие,  
Играли утром у реки.

## 9

Когда я была молод, была уж война,  
Я жизнь мою прожил, и снова война.  
Я все же запомнил из жизни той громкой  
Не зорю горниста, не прохот, не бомбы,  
А где-то в рыбацком селенье глухом  
К скале прилепившийся маленький дом.  
В том доме матрос расставался с хозяйкой,  
И грустные руки метались, как чайки.

И годы и годы мерещатся мне  
Все те же две тени на белой стене.

## 10

Есть в Ленинграде, кроме неба и Невы,  
Простора площадей, разросшейся листвы  
И кроме статуй, и мостов, и снов державы,  
И кроме незакрывшейся, как рана, славы,  
Которая проходит ночью по проспектам,  
Почти незримая из серебра и пепла, —  
Есть в Ленинграде жесткие глаза и та,  
Для пришлого загадочная, немота,  
Тот сжатый горько рот, те облучи на сердце,  
Что, может быть, одни спасли его от смерти.  
И если ты — гранит, унись у глаз горячих,  
Они сухи, сухи, когда и камни плачут.

## 11

За что он погиб? Он тебе не ответит.  
А если услышишь, подумаешь — ветер.  
За то, что здесь ярче густая трава,  
За то, что ты плачешь и, значит, жива,  
За то, что есть дерева грустного шелест,  
За то, что есть смутная русская прелесть,  
За то, что четыре угла у земли,  
И сколько ни шли бы, куда бы ни шли,  
Есть, может быть, лучше, красивей, богаче.  
Но нет вот такой, на которой ты плачешь.

1945.

# СМЕХ И СЛЕЗЫ

*(Веселое сновидение в трех действиях, семи картинах, пяти интермедиях, с прологом)*

**СЕРГЕЙ МИХАЛКОВ**

★

**ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:**

в прологе:

Андрюша Попов — обыкновенный советский мальчик	Клава — обыкновенная подруга
Люба — обыкновенная советская девочка	Дедушка — обыкновенный старичок
	Доктор — обыкновенный доктор

в карточном королевстве:

Сильвио — карточный король червовой масти.	Шут
Тарталья — его сын, валет червовой масти	Шестерка
Панталоне — министр с портфелем,	Семерка
валет бубновой масти	Двойка
Бригелла — министр без портфеля, валет пиковой масти	Начальник королевской стражи
Клариче — дама трефовой масти	Радость
Моргана — колдунья, дама пиковой масти	Печаль
Универ — маг и волшебник	Пес
	Живые ворота
	Финал
	Фокусник, карты всех мастей, шахматы и домино.

## ПРОЛОГ

Обыкновенная комната. Андрюша лежит больной в кровати. На тумбочке лекарства. У постели больного — доктор, дедушка и Люба. На кровати, на тумбочке, на стуле разбросаны игры: карты, шахматы, домино. В углу стол. На столе счеты, бумага. Над андрюшиной кроватью на стене висит горн.

Андрюша (расстроено). А завтра? Я могу встать, доктор, завтра?

Доктор. Нет, молодой человек, вам придется полежать.

Андрюша. Но ведь я же совершенно здоров!

Доктор. Разрешите мне, молодой человек, знать, здоровы вы или нет! У вас температура 37 и 8.

Андрюша. Доктор...

Дедушка. Раз доктор сказал «нельзя» — значит нельзя!

Андрюша. Залечили вы меня совсем. Вот возьму и выброшу в окошко все эти склянки и банки!

Дедушка. Я тебе выброшу! (Доктору) Горе мне с ним!

Доктор. Тогда мы вас положим в больницу, молодой человек! (Дедушке) Делайте все, как я сказал. Страшного ничего нет. Завтра я к вам загляну к концу дня. До свидания.

Дедушка. Я вас провожу, а то у нас темно на лестнице.

Люба. До свидания.

Андрюша (мрачно). Прощайте.

(Доктор и дедушка уходят.)

Андрюша (вздыхнув). Наконец-то выкатился... «37 и 8»... Опять я завтра в театр не попаду...

Люба. Твой папа тебе в любой момент может устроить билет в театр. Он ведь в театре работает.



Андрюша. Что значит «в любой момент»? Завтра у них идет премьера — «Любовь к трем апельсинам». Сказка Гоцци! Ты знаешь, какая это сказка? Я был на репетиции. А потом мы с папой пошли на сцену и смотрели настоящие декорации. Знаешь, как это было интересно. (Грустно) А теперь я должен лежать в кровати...

Люба. Ты ведь болен.

Андрюша. Это ты наколдовала, чтобы я заболел. Все на меня нагсваривала: «заболеешь, заболеешь, если будешь снег есть». Вот я и свалился.

Люба. Не нужно было снег есть.

Андрюша. Я же его с сахаром ел. Получалось мороженое. А разве мороженое нельзя есть?

(Входит Клава.)

Клава (грустно). Здравствуй, Люба. Здравствуй, Андрюша.

Люба. Здравствуй, Клава.

Андрюша. Здравствуй. Чего тебе?

Люба. Опять нос повесила?

Клава. У меня сегодня с утра ужасно грустное настроение.

Андрюша. Двойку схватила?

Клава (грустно). Нет, это я вчера. А сегодня я видела очень печальный сон.

Люба. Опять печальный.

Андрюша. Ну что же тебе во сне показывали?

Клава (грустно). Мышей. Много-много мышей...

Люба. Ну и что?

Клава. Бабушка сказала, что это дурной сон.

Андрюша. А ты разве снам веришь?

Клава. Конечно нет. Но все-таки я так нервничала, так нервничала, закричала и упала с кровати.

Андрюша. Так тебе и надо. Нечего всякие гадости во сне смотреть.

Клава (грустно). У меня такое предчувствие, что что-то должно случиться.

Андрюша. Уже случилось. Я завтра не пойду в театр.

Клава. Как это ужасно. Мне тебя очень жаль.

Люба (резко). Клава, перестань...

Клава. Как ты себя чувствуешь? Помоему, тебе стало хуже. Ты такой красивый.

Люба. Клава, перестань.

Клава (не слушая Любу). У тебя, наверное, воспаление легких. Или... корь. Или... свинка.

Андрюша (мрачно). Холера.

Люба (Клаве). Здесь без тебя докторов хватает. Вечно ты на всех тоску наводишь.

Клава (обиженно). Я могу уйти. (Уходит.)

(Входит доктор.)

Андрюша (изумленно). Вы же сказали, что придете завтра к концу дня!

Доктор. Опять свой портфель забыл. Второй раз сегодня забываю. А без него я как без рук.

Люба (подавая портфель). А что у вас в портфеле, доктор?

Доктор. О! У меня в портфеле очень важные вещи!

Андрюша. Какие?

Доктор. Это врачебная тайна.

Люба. Мы никому не скажем.

Доктор (таинственно). В нем (похлопывает по портфелю) лежит волшебная книга Недугов и Исцелений. Стоит мне только заглянуть в эту книгу, и я уже знаю, какое чудесное лекарство нужно дать больному для того, чтобы он поправился.

Андрюша. Покажите нам эту книгу, доктор.

Доктор. Нет, нет, это невозможно. Только не сегодня. Может быть завтра к концу дня. Сегодня я очень спешу. Меня ждут больные. Еще раз до свиданья! (Уходит.)

Андрюша. Все наврал про книгу...

Люба. Ты думаешь?

Андрюша. Уверен. (После паузы.) Он думает, что имеет дело с дошколятами. (Берет горн, трубит.)

Люба (отнимая горн). Тебе вредно, у тебя от горна еще больше поднимется температура.

Андрюша (недовольно). Я сам знаю, что мне вредно и что не вредно...

(Входит бабушка с чашкой в руке и направляется к Андрюше.)

Дедушка. Опять бунтуешь. Вот выпей-ка, герой! А я тебе поднесу.

Андрюша. Что это?

Дедушка. Твое дело телячье — пей да помалкивай. Не бойся, не отравлю.

Андрюша. Я ведь опять потеть буду.

Дедушка. Вся хворь потом-то и выйдет.

(Андрюша с отвращением пьет, потом ложится. Люба поправляет на нем одеяло. С одеяла на пол сыплются игральные карты. Люба собирает их.)

Дедушка. Опять картами баловались?

Андрюша (зевает). Мы не баловались. Мы картонные домики строили.

Дедушка. Попадет вам от бабки. (Любе.) Давай-ка их сюда, от греха подальше. Одну колоду уже разорили.

Андрюша. Мы ее не разорjali.

Дедушка. А куда же четыре карты делись? Святым духом исчезли? Села бабка гадать, а карт нехватает, короля червей, дамы трэф, да двух валецов не досчиталась: пик да бубен.

Андрюша. Это их, наверное, Тузик куда-нибудь затащил.

Дедушка. Вы все рады на Тузика свалить.

Андрюша (зевает). Мы ту колоду не трогали.

(Дедушка подходит к столу, садится за счеты.)

Дедушка (сбрасывая со счетов). Ну, вот, теперь опять считай все сначала. Трогаи — не трогали... (Начинает считать.) Пятнадцать тысяч двести семнадцать и сто сорок три... (Кладет на счетах.) Люба, накрой ты его одеялом!

Андрюша. Мне жарко.

Дедушка. Пар костей не ломит. Оно и надо, чтобы жарко было. (Считает.) Одна тысяча двести восемьдесят семь... и... триста двадцать...

Андрюша. Замучили вы меня совсем. Уложили здорового человека в постель, назвали докторов, напоили какой-то гадостью и теперь даже подышать не дают... (Люба накрывает Андрюшу.)

Дедушка (не оборачиваясь). Был у нас один такой здоровый. Тоже лекарей не признавал. Однажды в проруби зимой выкупался, тут его и скрючило. А доктор у нас был земский, как сейчас помню, Степа Петрович Малина. Хороший такой человек. Лекарств не жалел. Всегда вдоволь прописывал. Так он этого доктора к себе на версту не допускал. «Что вы, говорит, меня мучаете. Я и без него помру!»

Люба. Ну и что же?

Дедушка. Ну и помер. (Считает.) Тринадцать тысяч сто семь... двести пятнадцать... сорок восемь и пять десятых...

(Андрюша тем временем засыпает.)

Люба (рассмеялась). Андрюша, слышал... Андрюш.. (Дедушке) Заснул.

Дедушка. Пускай спит. Сон милее отца и матери. Сном все пройдет.

Люба. Жаль все-таки, что он заболел. Ему так хотелось пойти в театр.

Дедушка. У него без театра в голове бог знает что творится. Все стихи как-то сочиняет. Пойдем-ка, друг, отсюда, а я свет погашу.

(Встает. Гасит свет и уходит с Любой. Пауза. Тишина. Затем начинается звучать тихая, минорная музыка. В углу сцены освещенные лучом прожектора появляются четыре карты: король червей — Сильвио, валет бубен — Панталоне, дама треф — Клариче и валет пик — Бригелла.)

Клариче.

Мы здесь одни.

Панталоне.

Колода на запоре.

Бригелла.

Тут все свои.

Панталоне.

Здесь посторонних нет.

Сильвио.

Друзья мои! В отчаянье и горе

Я пригласил сюда вас на совет.

Мой бедный сын Тарталья тяжко

болен,

Он столько лет с постели не встает...

(Плачет.)

Андрюша (садится в кровати). Бабушкины карты! Вот вы где. (Вскакивает, идет к картам. Карты окружают и захлопывают Андрюшу. Темнота.)

## ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

### КАРТИНА ПЕРВАЯ

Карточное королевство. Один из покоев дворца. Звучит грустная музыка. Сцена пуста. На диване лежит портфель. Голос за сценой. Где мой портфель? Где мой портфель? — Появляются Панталоне и две служанки: Шестерка и Семерка.

Панталоне (взволнованно). Где мой портфель? (Жалобно.) Где мой миленький старенький портфельчик? Где же я его оставил?

Шестерка. Вот он, ваша бубновая светлость. На диване.

Панталоне. Давайте его скорей сюда! (Хватает портфель, вынимает из него толстую книгу и нервно листает страницы.) Заболел... Заболел... Вот: околел... околел... окривел... ел... сел... бел... мел. Вот эта, кажется, подходящая! (Убегает с книгой и портфелем.)

Семерка. У короля опять застряла рифма в горле. С тех пор, как принц Тарталья заболел, это с ним случается все чаще и чаще.

Шестерка. Когда же, наконец, вылетит принца?

Семерка. Лучше спроси, когда его вконец залечат. Королевская гостиница

забита приезжими лекарями. Мимо дворца невозможно пройти, так противно пахнет всякими лекарствами. Воздух отравлен запахом микстур и мазей.

Шестерка. А слух — этой противной грустной музыкой.

Семерка. И когда только все это кончится! (Задумалась.) Помнишь, какими прекрасными духами душились раньше наши дамы. А теперь от них пахнет нашатырным спиртом и нафталином.

Шестерка. Столько лет не смеет смеяться и шутить, плясать и веселиться. Мне кажется, я сойду с ума с тоски. А ведь я была такой веселой Шестеркой!

Семерка. Как было светло и весело во дворце. Во всех вазах стояли живые цветы. А теперь стоят только бумажные.

Шестерка. С утра до вечера гремели духовые оркестры. Помнишь, как красиво

били барабаны. А теперь разрешено играть только флейтам и скрипкам.

Семерка. Это ужасно.

Шестерка. Мне так хочется потанцевать.

Семерка. Ты с ума сошла!

Шестерка. Мне так хочется потанцевать. (Неуверенно делает несколько па, напевая про себя какой-то веселый мотив.)

Семерка. Ты знаешь, что тебе будет за это?

Шестерка (танцует и напевает).

Мне все равно, мне все равно...

Семерка. Прекрати сейчас же! Ты губишь себя! Перестань танцевать! Я умоляю тебя! Умоляю!

(В дверях появляется Бригелла.)

Шестерка (продолжая).

Мне все равно, мне все равно,

Не танцевала я давно!

(Замечает Бригеллу и в ужасе застывает. Бригелла медленно подходит к ней.)

Бригелла. Чудесно. Превосходно. В то время, когда король плачет от горя, а наследный принц борется со своим недугом, когда все кругом повергнуто в печаль, в королевских покоях слуги осмеливаются петь и танцевать. Ты низкая Шестерка! Как посмеда ты танцевать, несчастная Пятерка! (Срывает с одежды Шестерки один знак масти.) Как ты посмеда напевать, негодная Четверка! (Срывает еще один знак масти.)

Шестерка (став Четверкой). Не губите меня! Оставьте меня хоть Четверкой! (Становится на колени.)

Бригелла. Ты будешь Тройкой! Прочь с глаз моих!

(Служанки убегают. Появляется Клариче.)

Клариче (тихо). Как здоровье принца?

Бригелла. Пока без изменений.

Клариче. Я устала ждать. Когда же это кончится?

Бригелла. Принцесса! Я делаю все возможное. Принц Тарталья тает на глазах.

Клариче (раздраженно). Десять лет, десять долгих лет я жду пока вы уморите наследника!

Бригелла. Вы ждали десять лет, подождите еще немного.

Клариче. Сколько? Сколько времени прикажете еще ждать? Неделя? Месяц? Год? Два? Три? Четыре? Пять? Шесть? Семь? Сколько?

Бригелла. Профессор черной магии, которого я вызвал к принцу из крапленой колоды, прописал ему сегодня такие лекарства и такой режим, что он вряд ли протянет более месяца.

Клариче. Я обещала вам портфель первого министра при моем дворе! Вы не стоите этого!

Бригелла. Немного терпения, и ваша заветная мечта сбудется. Я сам жду не

дождусь того момента, когда смогу, наконец, сбросить со своего плеча этот ненавистный мне герб червовой масти и назвать вас своей королевой. Сколько лет я вынужден скрываться под ним. Сколько лет не иметь возможности носить герб родной черной масти пик.

Клариче. Молчите! Вас могут услышать! Сегодня ночью я опять плохо спала. Меня мучили дурные сновидения.

Бригелла. Не волнуйтесь, прекрасная Клариче! В самом недалеком будущем вы будете спать спокойным сном королевы.

Клариче. Не следует, однако, забывать, что мой дядя, король Сильвио, всема еще бодрый старик.

Бригелла. Король не переживет безвременной кончины любимого сына и быстро последует за ним.

Клариче. Тс-с-с... Сюда идут... Мы с вами не встречались... (Убегает.)

(За сценой слышны рыдания и всхлипывания.)

Панталоне (за сценой).

Зачем рыдать. Зачем стонать.

Слезами принца не поднять!..

(Появляются Сильвио и Панталоне.)

Сильвио (в отчаянии).

Что делать нам? Как нам его спасти?

Как вылечить? Как облегчить

страдания?

Он похудел, он перестал расти.

О слабое, несчастное создание!

Мой милый сын! О, как ты тяжело болен!

Ты десять лет с постели не встаешь. Грустишь, тоскуешь, жизнью

недоволен,

Так дурно спишь, так мало ешь и пьешь,

Тебе не помогают процедуры,

Настойки из целебных корешков.

Напрасно выпил ты сто два ведра

микстуры

И проглотил сто тысяч порошков!

(Плачет.)

(Появляется Клариче. Она манерно раскланивается с Бригеллой и Панталоне.

Король делает глубокий поклон.)

Клариче.

Бедняжка принц! Он тает с каждым днем.

Сильвио (Бригелле).

Я слышал, был консилиум вчера.

Что нового сказали доктора?

Бригелла.

Всезнающий профессор медик Блеф..

Панталоне.

Какой он масти?

Бригелла.

Медик? Масти трэф.

Сильвио.

Вы можете, Бригелла, продолжать!..

Бригелла (продолжает).

Сказал, что принцу следует лежать.  
Лежать в тепле от грелок и свечей,  
Но только не от солнечных лучей!  
Должны висеть портьеры на окне,  
Он должен слушать только о войне,  
Рассказы о несчастьях, о беде,  
Об ужасах, о Синей Бороде —  
Он должен плакать. Плакать день и  
ночь.

Клариче.

Такой режим не может не помочь!

Панталоне.

Да он и так почти все время плачет,  
И я хотел бы знать, что это значит?

Бригелла.

Чем больше слез, тем больше  
облегченья.  
В слезах и заключается лечение.  
Принц должен выплакать наружу  
все бактерии,  
И лишь тогда к нему вернуться силы.

Панталоне.

Как плачет принц, мы видим десять  
лет,

А облегченья что-то нет и нет!

Сильвио.

Любезный Панталоне, ваше мнение?  
Не следует ли изменить лечение?  
Вы что-то собирались предложить!  
Вы что-то нам хотели...

(Беспомощно глотает воздух и не может  
кончить фразы).

Панталоне (быстро вынимает из  
портфеля книгу и начинает искать риф-  
му).

Предложить...

Предложить... Вот: окружить...  
положить...

Освежить...

(Сильвио отрицательно качает головой).

Жить... дружить... пить... быть...

не быть...

Дорожить... доложить...

Сильвио (облегченно подхватывает).

Доложить.

Вы что-то собирались доложить!

Панталоне.

Мне кажется, среди лечений всех  
Отсутствует одно — здоровый смех!  
Когда-то принц был весел и здоров.  
Он мог, как все, шутить и

веселиться.

И нам не нужно было докторов  
Выписывать к нему из-за границы.  
Я видел, как смеялся принц во сне,  
Проснувшись утром, он заплакал  
снова.

И весь в слезах, он сам признался  
мне;

Он мне сказал: «Как хочется  
смешного!»

Я утверждаю: принцу нужен смех!  
И мой рецепт испробовать не грех.

Сильвио.

Я так устал, что я на все согласен!

Клариче (переглянувшись с Бригел-  
лой).

Не будет ли для принца смех  
опасен?

Бригелла.

Он вызовет икоту, и тогда  
Возможна всякая беда!

Панталоне.

С тех пор, как существует свет,  
От смеха не случилось бед!

Сильвио.

О чем вы спорите? Довольно  
пререканий!

Вы мне верны, и цель у нас одна:  
Здоровый сын — венец моих

желаний!

Я слаб и стар — замена мне нужна!  
Кому доверю я вступить в права

наследства?

Сейчас готов я на любое средство!

Пусть будет совесть у меня чиста.

Где Шут гороховый? Позвать сюда  
Шута!

(Панталоне звонит в колокольчик, входит  
Семерка.)

Панталоне. Позвать сюда Шута!

(Семерка выходит).

Клариче.

Смех все же вреден. Надобно при-  
зняться,

Мне больно даже улыбаться...

(Входит грустный Шут.)

Сильвио.

Встань, старый Шут, передо мною!  
Как раньше, честно послужи

И выкинь что-нибудь смешное —  
Свое искусство покажи!

(Грустный Шут мучительно соображает,  
гримаса перекашивает его лицо, и он по-  
казывает королю, а затем всем окружаю-  
щим указательный палец. Никто не  
смеется.)

Панталоне. Нет, это не смешно. Ни  
капельки не смешно. Даже улыбаться не  
смешно. Даже улыбаться не хочется. А ну  
покажи еще раз.

(Шут повторяет свою грустную шутку.)

Сильвио.

А чем еще ты мог бы удивить?

Шут.

За десять лет я все успел забыть!

(Вдруг поет на мотив «Шаланды»)

Жил-был валет червовой масти,  
Веселый карточный валет,

И вдруг случилось с ним несчастье —  
Он заболел на много лет.

Давно бы кончились мученья,

И встал бы на ноги больной,

Но кто-то портил все лечение

И кто-то был всему виной!..

Я вам не скажу за всю колоду,

Вся колода очень велика-а-а-а...

(Заплакал.)

(Король и Панталоне, всхлипывая, достают платки. За спиной шум, голоса, взрыв смеха.)

Сильвио (плачет).

Что там за шум? Что там могло случиться?

Кто нам мешает веселиться?

Панталоне,

Я слышал смех! Я слышал громкий смех!

(Бригелла яростно звонит в колокольчик. Входит Семерка.)

Бригелла,

Что там за шум? Узнайте, что за хохот.

(Семерка уходит.)

Шут.

Мне кажется, я тоже слышал смех.

Сильвио (Шуту).

Но, к сожалению, не от твоих потех!

Шут.

Я все успел забыть за десять грустных лет.

У старого Шута давно работы нет.

(Входит начальник королевской стражи.)

Бригелла,

Ответьте королю тотчас.

Что там произошло у вас?

Начальник стражи.

Какая-то фигура странной масти,

Не признавая королевской власти,

Смешит толпу, и я боюсь,

Что сам я тоже рассмеюсь!

Прилипчив смех. Три карточных квартала

Хохочут так, как некогда бывало!

(Слышен новый взрыв смеха.)

Сильвио.

Час от часу не легче. Вот беда!

Схватить ее и привести сюда!

(Начальник стражи уходит.)

Бригелла. (Шуту, тихо). Ступай отсюда. Жди меня в приемной.

(Шут уходит.)

Клариче (Панталоне). Как могла посторонняя фигура проникнуть к нам, если вы заперли колоду на замок? (С намеком). Странно. Очень странно!

(Стража вводит Андриюшу.)

Сильвио.

Кто ты такой? Как ты сюда проник?

Как смог ты рассмешить три карточных квартала?

Андриюша. Я самый обыкновенный советский мальчик — ученик четвертого класса «Б» 117-й мужской школы. А вас я знаю. Вы карточный король червей, из новой атласной колоды. Моя бабушка искала вас. Куда вы пропали?

Сильвио (раздраженно).

Кто ты такой? Как ты сюда проник?

Как смел ты рассмешить три карточных квартала?

Андриюша (Панталоне). Я уже сказал, кто я такой. Неужели не понятно?

Панталоне. Его червое величество

король Сильвио VII вас не понимает. Как вы попали сюда? Как вас зовут?

Андриюша. Зовут меня Андриюша Попов. Мой папа работает в театре. Я был болен. Я немножко простудился. Потом у меня был доктор. Потом дедушка дал мне что-то выпить, а потом я заснул и увидел вас. Вы стояли вчетвером (показывает). Вы.. Вы.. и вы тоже. Наверное, это был сон. А потом я сразу попал в какое-то скучное место, где все ходили, как сонные мухи. Никто даже не улыбался на улице. Мне стало скучно, и тогда я рассказал им одну смешную историю. Все стали смеяться, а меня вдруг почему-то схватили и шприцали сюда. Вот и все. Наверное, я еще сплю и вижу все это во сне. Понятно?

Панталоне. Вполне. Одну минуточку, сейчас я постараюсь перевести вашу речь королю.

Сильвио (в нетерпении).

Кто он такой? Как он сюда проник?

Панталоне.

Он — человек. Он — мальчик, ученик.

Андриюша (подсказывает). 117-й мужской школы. Андриюша Попов.

Панталоне (отмахиваясь от Андриюши).

Знаю, знаю... Был болен он.

Заснув, увидел сон.

Во сне попал к нам в королевство он.

Печальные увидев всюду лица,

Он захотел повеселиться.

И, рассказав какой-то анекдот,

Он рассмешил наш карточный народ.

Мне кажется, что знает он едва ли

О нашей горе и печали...

Сильвио.

Раз чужеземец рассмешил народ,

Быть может он и сына мне спасет.

Панталоне.

Нам принца возвратит, а вам  
родного сына!

Бригелла.

Я знаю, будет против медицина!

Клариче.

Как можно допускать к больному  
шарлатана

По меньшей мере, это странно.

Принц нездоров, серьезно нездоров.

Бригелла.

Консилиум придворных докторов...

Сильвио.

И слышать не хочу о медиках  
придворных,

Их знания не стоят ничего!

Я болен сам от их советов вздорных!

Вот кто спасет Тарталью моего!

(Показывает на Андриюшу.)

Я буду у себя в опочивальне!

С известием пришлите мне гонца.

О, тяжкий рок! Нет ничего печальней  
Седого одинокого отца!

(Плача, уходит.)

Бригелла (Панталоне). Зачем вы тер-

заете короля? Зачем вы сбиваете его своими глупыми советами? Кого вы хотите вести к принцу? Кого? Вы его знаете? Вы его проверили?

Клариче (возмущаясь). Хватают на улице первого встречного-поперечного и поручают ему лечить наследника!

Андрюша. Тихо, тихо! Что значит первый встречный-поперечный? Я честный советский гражданин! А лечить я все равно никого не буду! Я не доктор!

Панталоне (Андрюше). Тебя просил король! Идем со мной!

Андрюша. Я королям не подчиняюсь! Бригелла (кричит на Андрюшу). Вон отсюда!

Андрюша. Куда вы меня тянете? Куда вы меня гоните?

Панталоне. Идем, идем за мной!

Андрюша (вырывая руку). Никуда я за вами не пойду! Что за начальство! Что за нахальство!

Бригелла (кричит). Сейчас же выкиньте его за ворота!

Клариче (кричит). Что за мерзкое существо!.. Уберите его отсюда!

Андрюша. Попробуйте только! Ишь, какие!

Бригелла. (Панталоне). Я приказываю вам...

Панталоне. Не смейте мне приказывать. Не забывайте, что вы пока еще только министр без портфеля! (Роняет портфель.)

(Андрюша быстро поднимает его.)

Андрюша. Вы уронили портфель!

Панталоне (быстро). Спасибо! (Бригелле.) Вы этого портфеля не увидите, как своих ушей! (Трясет портфелем.)

Бригелла. Вы не зря за него так держитесь! Вы уронили его — это плохая примета.

Панталоне. Я не суеверный!

Бригелла. Вы слишком глупы, чтобы во что-нибудь верить!

*Занавес*

### Интермедия первая

Перед занавесом появляется Шут. У него в руке лист бумаги. Он читает про себя то, что на нем написано. Вздрагивает, оглядывается.

Шут. Я больше не могу. Бригелла сочиняет для принца такие страшные рассказы, что даже у меня на голове волосы дыбом становятся. (Снимает колап и вытирает платком лысину.) Одна рассказка страшней другой. И я должен их рассказывать. Какое мученье. (Читает про себя.) Ой, как страшно! Ой, опять про удавленника. Опять про убийство... Подумать только, я прочел их принцу уже сто де-

Панталоне. А вы... а вы... а вы... Андрюша (подсказывает). Моченая сеledка!

Панталоне. Верно подмечено! Ха-ха-ха! Моченая сеledка!

Андрюша. Вобла! Таранка!

Панталоне. Правильно. Баранка. С дырочкой! Бублик проклятый! (Уходя, тянет Андрюшу за собой.)

Андрюша (в дверях). Не на таких напали! Наша возьмет! Наша, а не ваша!

Панталоне. Правильно! Даша, а не Маша!

(Уходит.)

Клариче. Вы Двойка, а не Валет! Неужели вы не могли сдержать себя? Ну, что же вы теперь молчите? Чего вы ждете? Этот подкидной дурачок смешает как теперь все карты. Принц начнет смеяться, нас всех поднимут насмех, и все наши планы рухнут. Принц поправится и сядет на трон. А я на что сяду? Я вас спрашиваю, на что я, сяду?

Бригелла. Еще не все потеряно.

Клариче. Думайте. Изобретайте.

Бригелла. Думаю. Изобретаю.

Клариче. Находите выход из положения!

Бригелла. Нашел! Придумал.

Клариче. Что? Что вы там придумали?

Бригелла. У меня есть родная двоюродная тетка. Настоящая вельма. На днях ей исполнилось двести целых и пять десятых лет. Ее мать была известная колдунья, бабка тоже. Вообще все в роду у них были колдуны, лешие и домовые. Она нам поможет. Ее зовут Моргана.

Клариче. Моргана? Дама Пик?

Бригелла. Да, это она.

Клариче. Вызывайте ее. Скорее. Срочно!

Бригелла. Сегодня в полночь я свяжусь с ней по золотому проводу. Не волнуйтесь, принцесса. И вообще, еще неизвестно, что возьмет верх — смех или слезы.

сять штук! Да, это сто одиннадцатая... Я скоро сойду с ума. Как мне найти работу по специальности? Я ведь был когда-то хорошим веселым шутом. От моих шуток все каталось по полу со смеху. А теперь, что со мной стало? Я сам стал таким нервным, таким неостроумным, таким грустным. Я сам себя не узнаю. (Читает про себя. Нервно подергивается.) Это кошмар какой-то, а не сочинение для больного ребенка! (Уходит.)

(Появляются Панталоне и Андрюша.)

Андрюша. Ваша фамилия Панталоне?

Панталоне. Да, Панталоне.

Андрюша. Некрасивая фамилия. Панталоны какие-то.

Панталоне. Я сам испытываю большие неудобства со своей фамилией. Король Сильвио, который меня очень уважает, часто кричит: «Где мой Панталоне, где мой Панталоне», а слуги вместо того, чтобы позвать меня, бросаются искать королевские штаны.

Андрюша. А почему у вас во дворце разговаривают стихами?

Панталоне. Его червовое величество король Сильвио VII не понимает грубой прозы. Сам он говорит только стихами и обращаться к нему можно только в стихах. Таково королевское воспитание. А между собой мы разговариваем нормально.

Андрюша. Это же страшно неудобно, говорить все время в рифму.

Панталоне. Ничего не поделаешь. Положение обязывает.

Андрюша. А если у короля вдруг рифму заест?

Панталоне. О, это может кончиться очень печально.

Андрюша. Уже были такие случаи?

Панталоне. Много лет тому назад король Пик-надцатый решил уничтожить все масти в колоде и оставить одну — масть пик. Этот номер у него не прошел, так как в самый решительный момент, когда он обращался с воззванием к войскам, у него застряла в горле рифма на слово «железо». И никто не мог ее подсказать ему. Он задохнулся и умер. С этих пор, во избежание повторения подобных случаев, специальным королевским указом введен «Справочник всех возможных и невозможных королевских рифм». И министр с портфелем должен всегда иметь его при себе в портфеле. Где мой портфель? Он был у меня подмышкой!

Андрюша. Вы его где-нибудь забыли.

Панталоне (вспоминает). Когда мы выходили из тронного зала, он был у меня в левой руке. Мы поднялись по атласной лестнице, я держал его в правой руке. Куда мы еще ходили?..

Андрюша. Мы заходили... .

Панталоне. Вспомни! Бубновый валет заходил в туалет!.. Там я его и оставил висеть на гвоздике! (Убегает. Андрюша остается один. Занавес медленно поднимается, открывая покой принца Тартальи.)

## КАРТИНА ВТОРАЯ

Полумрак. Грустная музыка за сценой. Под балдахином кровать принца Тартальи. Освещенный двумя большими синими лампами, полулежит в подушках Тарталья. Рядом столик с лекарствами. Окно занавешано тяжелыми шторами. На полу возле кровати сидит Шут и читает принцу сто одиннадцатую рассказку Бригеллы. Принц плачет. Все это видит Андрюша, оставаясь незамеченным ими.

Шут (читает).

Чудовища вида ужасного  
Схватили ребенка несчастного  
И стали безжалостно бить его,  
И стали душить и топить его,  
В болото толкать комариное,  
На кучу сажать муравьиною,  
Травить его злыми собаками...

Андрюша (подсказывает из темноты).  
Кормить его тухлыми раками...

(Шут вздрагивает, прерывает чтение, прислушивается.)

Шут (в сторону). Кажется уже начинает мерещиться! (Придвигается ближе к кровати. Продолжает читать.)

Тут ночь опустилась холодная,  
Завыли шакалы голодные,  
И крыльями совы захлопали,  
И водки ногами затопали,  
И жабы в болоте заквакали...

Андрюша (подсказывает из темноты).  
И глупые дети заплакали...

(Шут опять вздрагивает, прислушивается. Тарталья поднимает голову и, перестав

плакать, тоже прислушивается.)

Шут (про себя). Я ясно слышал чей-то голос. (Робко.) Эй, кто там? (Тишина.) Попробуем почитать дальше.

(Читает.)

Взмолился тут мальчик задуманный,  
Собаками злыми укушенный,  
Залуганный страшными масками...

Андрюша (подсказывает из темноты).  
И страшными детскими сказками...

(Тарталья вопросительно смотрит на Шута. Шут пожимает плечами. Прислушивается. Тишина.)

Шут (продолжает читать).

Помилуй меня, о Чудовище!  
(Прислушивается. Тишина.)

Скажу я тебе, где сокровище!  
(Прислушивается. Тишина.)

Зарыто наследство старушкино  
Под камнем...

Андрюша (подсказывает из темноты).  
На площади Пушкина!

(Шут встает и осторожно оглядывает комнату. Останаэливается.)

Шут (робко).

Кто кричит из темноты?

Андрюша (тихо).

Ты!

Шут.

Кто тут слушает меня?

Андрюша (так же).

Я!

Шут. Это эхо. Теперь мне все понятно. (Возвращается на свое место. Андрюша выходит из темноты и подходит к постели принца. Шут замирает от страха с листом бумаги в руках.)

Андрюша. Ловко я вас разыграл! Не бойтесь! Я ведь не кусаюсь. Здравствуйте. Что у вас тут — затемнение?

Шут. А что?

Андрюша. Почему синий свет горит?

Шут. А-а-а!

Андрюша (протягивает руку принцу). Андрюша Попов. (Хочет пожать ему руку.)

Тарталья (не поднимая руки).

Я слаб. Руки мне не поднять.

Как вы не можете понять...

Андрюша. Ну, не хотите — не надо. А что с вами? Чем вы больны?

Тарталья (слабым голосом).

Я десять лет лежу больной,

Врачи хлопочут надо мной

Никто не может мне помочь

Несчастный я Ваlet.

Я пью лекарства день и ночь,

Ложусь под синий свет.

В себя я всыпал семь мешков

Невкусных, горьких порошков:

Хинин, салоо, и аспирин,

И сульфазол, и сульфидин,

Касторка, кальцекс, даже иод —

Попали в бедный мой живот.

Андрюша. Да-а-а!

Шут. А что?

Тарталья (продолжает).

Я встать боюсь, шагнуть боюсь,

Я в темноте сижу,

Я не играю, не смеюсь,

Гулять не выхожу.

Мне есть дают одно драже,

Безе, суфле и бланманже.

Я стал уже похож на тень

И плачу, плачу целый день...

Андрюша. Да-да-а... Удивительно, как вы до сих пор ноги не протянули. Так у нас даже лошадей не лечат. Хорошо, что я во-время пришел. Давайте я вас посмотрю. (Садится на край кровати.) Что у вас болит? Голова болит? (Принц отрицательно качает головой.) Живот болит? (Показывает принцу на живот. Принц отрицательно качает головой.) Покажите язык! Вот так! (Показывает свой язык. Принц делает то же.) Хорошо. Язык не обложен. Теперь скажите «А-а».

Тарталья. А-а.

Андрюша. Горло в порядке. Температура у вас есть? (Трогает лоб принца.)

Все ясно. Вы — симулянт. Вы совершенно здоровы! А здоровому организму лечиться вредно! Вам нужно немедленно встать с постели. Почему вы сидите в такой темной, душной комнате? Вас никогда не проветривают. Вот я сейчас открою окно! (Подходит к окну и отодвигает шторы. Яркий солнечный свет врывается в комнату. Принц закрывает лицо руками.)

Тарталья.

Не открывайте! Я боюсь.

Нельзя, сквозняк! Я простужусь.

Андрюша. Ничего! (Распахивает окно. Свежий ветер колышет кружевную занавеску.)

Тарталья.

Апчи! Мне вреден белый свет!

Ой, колет бок! Ой, пульса нет!

Спасите! Я умру сейчас!

Лекарство! Умоляю вас!

Скорей, чтоб не было беды:

Сто капель на стакан воды,

Быстрее из того горшка

Пять чайных ложек порошка!

(Шут бросается исполнять приказание принца. В дверях появляется Панталоне. Он в изумлении останаэливается и не может произнести ни слова. Андрюша хватается с тумбочки большую склянку.)

Андрюша. Нет, уж никаких лекарств!

Тарталья (тянется к склянке).

Здоровье бедное мое!

О, драгоценное питье!

Андрюша. Нет уж, будет по-моему! (Выбрасывает склянку за окно.)

Панталоне (всплеснув руками). Может быть, я еще поймаю ее, пока она не долетела до земли! (Выбегает.)

Шут (в ужасе начинает причитать).

Схватили тут мальчика бедного,

От страха и ужаса бледного,

От страшных мучений дрожащего,

Три дня бездыханно лежащего,

В стоячей, болотной воде...

Андрюша. Что это?

Шут. А что?

Андрюша. Вот я и спрашиваю: что?

Шут. А что «что»?

Андрюша (Шуту). Что вы тут читаете?

Шут (протягивает Андрюше лист бумаги). Сто одиннадцатую рассказку. Я не виноват. Меня заставляют, я и читаю. Я сам боюсь.

Андрюша. Кто вас заставляет? Кто вы такой?

Шут (чуть не плача). Я бывший королевский шут. А теперь я сам не знаю, кто я такой... Меня переназначили. Каждый день я читаю принцу Тарталье вот такие истории.

Андрюша. Разве можно читать вслух такую гадость? Разве эти стихи для детей? Кто их сочинил?

Шут. Брр... Брр...

Андрюша. Вот видите, вам тоже не



правится. Кто сочинил эту страшную чепуху?

Шут. Бригелла! Это он их сочиняет. Каждый день новую. Одна страшнее другой.

Андрюша. Зачем он их сочиняет? Он что, детский писатель?

Шут. Он министр без портфеля. Он сочиняет для принца такие истории, чтобы принц больше плакал. Врачи прописали принцу слезы. Чем больше он выплачет слез, тем скорее он поправится.

Андрюша. Принц здоров! Здоровому человеку нужен смех, а не слезы! Тарталья, вы слышали? Они над вами издеваются. Они заставляют вас плакать! Вот! Вот! Вот! (Рвет рассказку на четыре части.)

Шут (стонет). Что вы сделали! Что вы сделали! Это же единственный экземпляр. Теперь мне попадет!

Андрюша. Я с этим Бригеллой сам поговорю! (Принцу.) Вы еще не встали? Вставайте, вставайте! Если хотите быть здоровым, слушайте меня. Вы умеете делать зарядку?

Тарталья.

Зарядка? Как это понять?

Что зарядать? Куда стрелять?

Андрюша. Стреляют на войне и на охоте. А зарядка это совсем другое. Я вам сейчас покажу. Только давайте условимся не говорить стихами.

Тарталья.

Я не умею, не привык.

К стихам приучен мой язык...

Андрюша. А вы попробуйте. Не обязательно все время говорить в рифму.

Тарталья.

А как же нужно говорить?

Ведь я...

Андрюша (быстро). Нет, нет! Вторую строчку не нужно. А то сейчас скажете «благодарить» или «подарить», и опять стихи получатся!

Тарталья (неуверенно).

Я по-ста-раюсь... Я го-тов...

Я только очень нездо... (спохватившись) болен!

Андрюша. Хорошо. Замечательно. Я вас научу говорить нормально. Вы, кажется, еще не совсем испорчены и понимаете прозу. Не так, как ваш папа — король!

(Принц в длинной рубашке вылезает из кровати и стоит, пошатываясь.)

Андрюша. А теперь смотрите, что я буду делать. (Приготовился к зарядке.) Эх, жалко музыки нет! Зарядку нужно делать под музыку! (Шуту.) Вы умеете на чем-нибудь играть?

Шут. А что?

Андрюша. Вы умеете играть?

Шут. Во что? В футбол?

Андрюша. Я спрашиваю не во что, а на чем?

Шут. На стадионе?

Андрюша. Да нет! На каком-нибудь музыкальном инструменте?

Шут. А-а! Я умел когда-то играть на барабане. Но теперь барабаны у нас запрещены.

Андрюша. Вот гребень.

Шут. Мне не надо, я лысый.

Андрюша. Вот бумага. (Поднимает с пола разорванную рассказку, дает Шуту.) Попробуйте поиграть нам на гребешке. Вот так! (Показывает. Передает гребень Шуту. Шут пробует играть.) Веселее, веселее... Играйте марш!

(Шут сначала неуверенно, затем все лучше и лучше играет марш. Постепенно входит во вкус.)

Андрюша (Тарталье). Начинаем! Вдох. Выдох. Раз. Два. Вдох носом, выдох через рот. Ноги не сгибать в коленях. Кончиками пальцев касаться земли. Не так. Вот так. (Показывает.) Не качайтесь. Где выдох? Не задерживайте воздух! Руки на бедра! Где у вас бедра? Это не бедра! Это — подмышки! Отставить! Эх, вы, принц!..

(Принц задыхается, но с видимым интересом повторяет движения Андрюши. Шут играет на гребешке.)

Андрюша (поет песенку).

Жил-был на свете паренек,

Очень славный паренек,

Был этот славный паренек

И весел и удал.

Его видали там и тут.

И здесь и там, и там и тут,

Но как парнишечку зовут

Никто вокруг не знал!

Он — Володя или Миша,

Или Саша или Гриша,

Или Николай.

Может Коля, Может Витя.

То ли Толя, то ли Митя,

То ли Ермолай!

Он на «Митю» — откикался

И на «Толю» — улыбался,

Крикнешь: Степа, где девался? —

Он уж тут, как тут.

И никто, как ни старался —

Не узнал, не догадался,

Как его фамилия, и как его зовут.

На сегодня хватит. Если каждый день будете так заниматься по десять минут, а потом обтираться мокрым полотенцем, через два месяца вас никто не узнает в вашем королевстве. Устали?

Тарталья.

Я ваш совет согласен слушать.

Но я хочу ужасно ку... ку... ку...

(Спыхватывается) есть!

Андрюша. Вот, видите. Сразу аппетит появился!

(В дверях появляется Панталоне. В руках у него склянка, которую Андрюша выбросил в окно.)

Панталоне. Все-таки я поймал ее! Почти у самой земли! Еще бы одно мгновение и склянка разлетелась бы вдребезги! Вот она! (Протягивает принцу склянку.)

(Принц хватает ее, и выбрасывает в окно. Слышен звон разбившегося стекла. Тарталья хохочет.)

Панталоне. На этот раз долетела!

Тарталья (топает ногой).

Чаю! Кофе! Молока!

Хлеба! Сыра! Пиро... пиро...

(Взглянув на Андриюшу.) Бутербродов!

Панталоне (восклицает).

Что скажет королевский врач,

Колодный доктор Кукарач!

Наш принц здоров! Здоров! Здоров!

Какой удар для докторов!

(Шуту.)

Беги скорее к королю! Будь счастливым вестником!

(Шут убегает.)

Панталоне (Андриюше). Поздравляю! Поздравляю! Его величество по заслугам оценит вас. Вы наверняка получите высокое звание королевского лейб-медика по внутренним делам. Вам подарят карточный домик с садом и огородом!

Андриюша. Что вы! Что вы! Мне ничего не надо! У нас есть в деревне дача и огород! И потом, какой я медик! Я еще школу не кончил!

(Тарталья взбирается на подоконник и с любопытством наблюдает за тем, что происходит на улице. За сценой слышны голоса, шум. В комнату врывается Бригелла, за ним слуги, доктора.)

Бригелла (кричит).

Кто разрешил открыть окно?

Кто дал больному встать с постели?

Андриюша.

Я разрешил.

Бригелла.

Да как вы смели?

Андриюша. Ваш принц совершенно здоров! Зачем же ему лежать в кровати? Десять лет провалялся — довольно!

Бригелла (тянет с окна Тарталью).

Извольте лечь в постель!

Смертельно вы больны!

Вы губите себя!

Вы как мертвец, бледны.

Тарталья (упирается).

В кровать не лягу! Я здоров!

Я ненавижу док... док..

Лекарей! (Показывает на докторов. В дверях появляется Сильвио, за ним Клариче и Шут.)

Сильвио.

Сын мой здоров. Не верю! Это сон!

(Бросается на шею сыну.)

Кто вылечил тебя? Скажи скорее!..

Тарталья (показывает на Андриюшу). Он!

Сильвио.

Чтоб вас благодарить, поверьте, мало слов!

Прошу вас извинить, забыла я ваше имя!

Панталоне (подсказывает). Андриюша, Андриюша (жмет руку Сильвио). Очень рад.

Сильвио (с трудом выговаривая).

Андриюша!

Андриюша. Да, Попов.

Сильвио.

Отныне вы равны с Валетами моими!

Андриюша (растерянно). Зачем? Я же ничего не сделал! Что вы, что вы...

Сильвио (всем).

Зовите слуг! Накройте пышный стол!

Пошлите за вином! Гонцов ко всем соседям!

Всем объявить: я счастье вновь обрел!

Панталоне.

Какой момент! Мне кажется, мы бредим!

(Умиленно смотрит на принца.)

Сильвио.

Чтоб грустной музыки я больше не слышал!

Печалиться сегодня нет причины!

В честь своего единственного сына Я назначаю — карнавал!

*Занавес*

## ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

### Интермедия вторая

Панталоне сидит за столиком. Справа от него окошечко. Рядом афиша: «Сегодня и ежедневно королевские торжества. Карнавал. На столике лежит портфель. Поминутно звонит телефон.

Панталоне. У телефона Панталоне! Что? Да. Спектакль «Любовь к трем апельсинам» отменяется. Сегодня — королевские торжества. Нет, к сожалению, ничем помочь не могу. (Кладет трубку).

(Звонит телефон).

Панталоне слушает! Что? Да. Вход только в масках. Не в касках, а в масках. (Кладет трубку). Замучился я с этим карнавалом. Все — на мне. Маски — я. Тур-

нир — я. Танцы — я. Все — я! Панталоне — туда. Панталоне — сюда. Фигаро — тут. Фигаро — там. Фигаро — тут. Фигаро — там. Фигаро, Фигаро, Фигаро, Фигаро-о-о!

(Звонит телефон.)

Панталоне слушает. Кого? Нет, его здесь нет. (Кладет трубку.) Подумаешь, Бригеллу спрашиваю! А что Бригелла? Только ходит и восхищается. Ах, как прелестно! Ах, как замечательно! Ах, Панталоне, будьте любезны! Он даже переменял ко мне отношение с тех пор, как Тартаалья поправился. По-моему, он меня даже стал немного побаиваться.

(Звонит телефон.)

Слушаю. Кто? А-а-а! Узнал, узнал. Вы придете? Хорошо. Сколько? Десять мест? Хорошо. В кассе на ваше имя. Будет оставлено. Нет, нет, не беспокойтесь. Между прочим, завтра я хочу к вам подослать за тем, помните, что вы обещали. Ну, что мы у вас всегда берем. Хорошо? Спасибо. До свидания! (Кладет трубку.) Все хотят попасть на карнавал! Все!

(Стук в окошечко. Панталоне открывает его. Шум голосов. Слышны возгласы: «У кого есть лишний билетик?» «Не лезьте без очереди!» «Пропустите! — Пропустите!» «Я сама хочу попасть!» «Администрация!»)

Панталоне (просовывает голову в окошечко). В чем дело? В чем дело? Гражданка Девятка! Встаньте за Десяткой! Без очереди никого не пропускают!

(В окошечке появляется лицо.)

Лицо. Почему меня не пропускают?

Панталоне. Гражданка Двойка пик, Вас пропускать не приказано.

Лицо. Это несправедливо! Я через месяц буду Тройкой!

Панталоне. Не в Тройке дело. Сегодня пикам вход запрещен. (Хочет закрыть окошечко.)

Лицо. Это нехорошо! Это некрасиво! Чем мы хуже?

Панталоне. Ничем не могу помочь! Такова воля короля! (Закрывает окошечко.) Уф! Устал. Да, чуть было не забыл! Алло! Станция! Дайте мне «двадцать одно»! Алло! Откуда говорят? Что? Ошибка! Неправильно соединили. Перебор! Станция! Я просил «двадцать одно»! Спасибо. Это Панталоне. Как у вас там? Все готово? Что? Хорошо, я сейчас зайду. (Кладет трубку.) Надо добавить барабанов!

(Появляется Бригелла.)

Бригелла. Любезнейший Панталоне! На вас лица нет!

Панталоне (рассеянно). Чего нет? (Осматривает себя.) Нет, все в порядке. А-а! Да-да. Я очень устал. Вы не знаете, где достать еще барабанов?

Бригелла. Зачем? Я был в оркестрах, барабанов достаточно. Я ходил по парку и удивлялся. Неужели это вы все придумали?

Панталоне (гордо). А кто же!

Бригелла. Принцесса Клариче просила меня передать вам свое восхищение. Вы не были на дворцовой площади?

Панталоне. А что там произошло?

Бригелла. Толпы народа стремятся попасть на карнавал.

Панталоне (озабоченно). Надо еще раз предупредить стражу, чтобы усилили надзор за пиками.

Бригелла. Что могут сделать несчастные пики? В конечном счете их так мало в нашей колоде!

Панталоне (уклончиво). Не знаю, не знаю. Король строжайше запретил этой масти участие в торжествах.

Бригелла. Почему?

Панталоне. Мы с вами одной масти, и я могу быть с вами более или менее откровенным. Король получил анонимное письмо, в котором его предупреждают о том, что недалеко от дворца видели старую Даму пик. Как бы нам эта вельма не испортила весь праздник!

Бригелла (деланно смеется). Ха-ха! Ерунда! Откуда ей взялась! Дама пик! Ха-ха!

Панталоне. Вот вам и «ха-ха»! А потом с меня спросят!

(Звонит телефон.)

Опять.

Бригелла. Чем я могу помочь вам, любезный Панталоне?

Панталоне. Подойдите к телефону! Кстати, вас тут кто-то спрашивал. А я побегу. Где мой портфель? (Хватает портфель. Чуть-чуть не забыл!) (Убегает.)

Бригелла (ему вслед, зло). Скоро ты о нем совсем забудешь! (Снимает трубку.) Слушаю. Нет, Бригелла. Кто? Моя принцесса? Да, это я. Панталоне вышел по своим дурацким делам. Не теряйте ни одной минуты. Я пропущу вас через служебный ход. Не беспокойтесь, в этом костюме ее никто не узнает! Спешите! Я встречу вас. (Кладет трубку.) Так. Хорошо! Тетка здесь. Кто ее мог видеть возле королевского дворца? Какая чепуха. Не может этого быть!

(За занавесом играет веселая музыка. Появляется Клариче и неизвестная фигура в костюме молодой девушки в маске с юным девичьим лицом. Бригелла встречает их. Все трое молча проходят за занавес.)

## КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Внутренний двор королевского дворца. Играет бравурная музыка. Горят разноцветные фонари. По стенам гирлянды цветов. В королевской ложе: Сильвио, Тарталья, Андриуша. В ложе напротив — гости всех мастей, кроме масти пик. Гости в масках и карнавальных костюмах.

Сильвио (поднимается).

Я счастлив объявить: рассеялась  
печаль!  
Мой сын здоров. Он снова вместе с  
нами,

Мы открываем праздник-фестиваль  
И во дворце и за его стенами!  
Вот это чудодей, по имени Андрей,  
Тарталья моему вернул былую силу.  
(Андриуша неловко кланяется.)

Я, по примеру многих королей,  
Могу теперь спокойно лечь в  
могилу!

(Крики: «Ура», музыка играет туш.)

Шут (выходя на середину дворца).

Его величества приказа в исполненье  
Мы начинаем наше представленье!  
И первым номером идет у нас балет!

Сильвио (наклоняясь к Андриуше).

Поистине другого лучше нет,  
Хоть я его не видел десять лет!

(Начинается балет — танец мастей. Танец прерывается аплодисментами зрителей. Все в восторге. Раздаются возгласы: «Браво!» «Бис!» Кончается танец. Зрители рукоплещут. В королевской ложе появляются Бригелла и Клариче. В ложе напротив появляется Моргана и занимает место в первом ряду.)

Андриуша (Тарталье). Когда я был у папы в театре на репетиции, там на сцене тоже так танцовали. Было даже немножко красивее, чем у вас. Я должен был пойти на самый спектакль, но поел снегу с сахаром и заболел.

Тарталья. Снегу с сахаром? Что это такое?

Андриуша. Это — снег и сахар. Простой снег и простой сахарный песок. Все перемешивается и кладется в рот. Получается как будто мороженое. Только говорят, это очень вредно для здоровья.

Тарталья (Сильвио).

Я снега с сахаром хочу!  
Отец! Отец! Я не шу... шу... чу!

Сильвио.

Желанье сына для меня закон!  
Дать снега с сахаром! Пусть  
прохладится он!

(Служанка кланяется и исчезает.)

Сильвио (рассматривая в бинокль гостей в ложе напротив, Бригелле).

Приятно мне, что старые друзья  
Меня за десять лет не позабыли!

И все меня вниманием почтили.  
А эта дама кто? Ее не знаю я!

(Показывает на Моргану.)

Бригелла (наклоняясь к королю)

Она желала тайну сохранить  
И не хотела, чтоб ее узнали...

Клариче (мило улыбаясь).  
И мы ее не можем в том винить,  
Поскольку все мы здесь на

карнавале.  
Сильвио (утвердительно кивает головой).

Изящен и красив ее наряд —  
Подобраны со вкусом эти краски...

Клариче (с иронией).  
Обманчивы подчас бывают маски,  
И не всегда нам правду говорят...

(Служанка принсит Тарталье большое блюдо со снегом. Тарталья жадно набрасывается на него. Предлагает Андриуше, Андриуша отказывается и даже отодвигается. Тарталья уже чихает и кашляет. Андриуша отнимает у него снег и передает его служанке. Та уносит блюдо. Подходит Шут.)

Шут.

Мы продолжаем наше представленье!  
Искусный номер всем на удивленье!  
Мы все себя увидим вдруг  
В чужих руках! Вот ловкость рук!

(Появляется фокусник. Он показывает зрителям фокусы с картами. Номер сопровождается музыкой и вызывает бурю восторга. Особенно шумно реагирует Андриуша. В ложе напротив среди гостей разносят фрукты. Моргана берет из вазы три апельсина и кладет их перед собой.)

Сильвио (Бригелле).

Прекрасный фокусник. Но нет  
нужды, признаться,  
Так с королями обращаться.

Когда он королей засунул в свой  
карман,  
Он на меня взглянул, болван!

(Тарталья подзывает служанку и, показывая ей на противоположную ложу, что-то говорит. Служанка кланяется и уходит. Подходит Шут.)

Шут.

Вниманью зрительей предложим мы  
сраженье!  
Двух всадников отвагу и умение!

Тарталья. Турнир! Турнир!  
Андриуша (Тарталье). У нас в школе  
тоже был турнир. Гроссмейстер Смыслов  
играл на тридцати досках. Понимаешь —  
на тридцати сразу. Я сделал ничью! Пони-  
маешь!

(Служанка с большой вазой апельсинов подходит к Тарталье. Андриуша выбирает себе апельсин и ест его. Тарталья апельсины не нравятся. Он капризно роется в

них, а потом показывает на апельсины, лежащие перед Морганой. Служанка смущена.)

Тарталья (Сильвио).

Отец! Отец! Скажи, отец,  
Чтоб дали апельсинов, наконец!  
Я эти не хочу! Они плохие!

(Показывает на апельсины Морганы.)

Хочу другие! Вот такие!

Сильвио.

Желанье сына для меня закон!  
Ни в чем отказу не узнает он!

(Говорит что-то служанке, показывая на Моргану. Служанка убегает. Выезжают два всадника на двух шахматных конях. Всадники делают круг, раскланиваясь со зрителями. Им аплодируют.)

Тарталья (позабыв уже про апельсины).

Отец!.. Отец! Скажи, чтоб для меня  
Сейчас же вывели коня!

(Взглянув на Андришу, поправляется.)  
Лошадь!

Сильвио (Бригелле).

Желанье сына для меня закон!  
Подать коня! Пускай сразится он!

(Бригелла показывает что-то слугам. Те подходят к одному из всадников. Всадник слезает со своего коня. Коня приводят к ложе. Тарталья садится на коня и нападает на второго всадника. Начинается поединок. Тарталья старается из всех сил. Всадник шадит наследника. Толпа шумно реагирует. Раздаются крики: «Правей! Левей! Бей его! Мимо!» Громче всех кричит Андриша. Король то и дело вскакивает со своего места. В ложе гостей появляется служанка, посланная королем. Она наклоняется к Моргане и что-то говорит ей, показывая то на апельсины, то на Сильвио. Морганна кивает головой.)

Сильвио.

Вот это мужество! Кровь предков  
узнаю!

Принц выйдет победителем в бою!

(Начальник королевской стражи подходит к Панталоне и что-то шепчет ему на ухо.)

Панталоне. Чорт возьми вас вместе со всеми вашими патрулями и заставами! Я ведь приказал, чтобы следили зорче! Как же она прошла!

Начальник стражи. Я... я... я не знаю. Я следил лично сам, но ничего не заметил. Я пиков не пускал. Ей-богу... А как ее узнаешь. Они же все в этих... в как их?

Панталоне. В чем «в этих»? В чем «в как их»?.. Опять от вас вином разит!..

Начальник стражи. Чутьочку... Так вот я и говорю: гости же все в этих... в как их?... в масках! Не могу же я всем дамам под маски заглядывать. Это же неприлично!

Панталоне.

Схватить во что бы то ни стало!  
Поймать! Связать! Пытать! ать... ать...  
Ступай, куда не досталось!

(Начальник стражи уходит. Морганна бросает под ноги коню, на котором сидит Тарталья, один за другим три апельсина. Тарталья тянется к ним. Падает с коня. Все замирают. Всадник отъезжает в сторону. Темнеет. Вдали премит гром. Апельсины исчезают.)

Морганна (встает в ложе, закидывает).  
Жадность твоя овладела тобой,  
Ты потеряешь навеки покой!  
К трем апельсинам ты будешь  
стремиться,

думать о них, и мечтать, и томиться:  
Ты апельсины захочешь найти,  
Много опасностей встретишь в пути!  
Мукам твоим не найдешь ты конца!  
Чем доведешь до могилы отца!  
Три апельсина — спасенье твое!  
Три апельсина — проклятье мое!

(Снимает с себя маску. Перед зрителями безобразное лицо колдуньи.)

(Гремит гром.)

Бригелла.

Морганна! Вельма! Кто ее впустил?

Сильвио (вопит).

О, небо и земля! Придите мне на  
помощь!

Проклятье слышал я! О, горе, горе  
мне!

Эй, все сюда! Рифму!.. Рифму!..

(Задыхается, падает в обморок.)

(Панталоне бросается к нему. Тарталья стоит посередине двора и механически повторяет проклятье. Морганна уже исчезла.)

Тарталья.

Три апельсина — проклятье твое!  
Три апельсина — спасенье мое!  
Три апельсина... Три апельсина...  
(Шатаясь, идет к воротам.)

Андриша (прыгает из ложи. Бежит к Тарталье). Стой! Ты куда!

Тарталья (плохо соображая).

Пусти меня! Я должен их найти!

Пусти меня! Я должен их сорвать!..

Андриша. Ты что, с ума сошел?  
Стой! Куда ты!

Сильвио (придя в себя, кричит)

О, где я? Что со мной?

О, горе! О, напасти!

Тарталья (кричит как бесумный).

Где шпана? Где рюкзак?

Не трогайте меня!

(Убегает.)

Андриша. Тарталья, ты куда?

Панталоне. Вот горе! Вот несчастье!  
Андриша. А ну, продуктов выдать нам в дорогу на три дня!

(Бежит вслед за Тартальей.)

## Интермедия третья

Перед занавесом, на котором изображены заросли леса карточного королевства, Андрюша тащит обессиленного Тарталья.

Андрюша. Вот тут давай передохнем. Замучился я с тобой. Куда это мы забрели?

Тарталья (бормочет). Три апельсина... Три апельсина я должен найти...

Андрюша. Перестань бормотать! Задалил про свои апельсины: «Три апельсина... три апельсина...» Разве так, сломя голову, бросаются в такую дорогу. Надо было взять с собой карту, компас, вещевые мешки с продовольствием. Потом вообще надо знать, куда итти. Эх, ты, Валет!

Тарталья. Я голоден.

Андрюша. Я сам, брат, голоден.

Тарталья. Я пить хочу.

Андрюша. Я тоже, брат, хочу.. Только ни есть, ни пить нечего.

Тарталья (бормочет). Три апельсина...

Андрюша. И апельсинов, брат, нету. Ничего у нас с тобой нету. (Оглядывается.) Какой-то лес кругом... Хорошо, что я на деревьях пометки делал, можно хоть назад дорогу найти. Ты только, пожалуйста, не думай, что я испугался! Я могу и вперед итти, вот ты-то едва ли. Сюда кое-как дотащился. Если бы не я, завяз бы в болоте или разбился бы ты в какой-нибудь пропасти. Тоже мне — альпинист! Десять лет в кровати лежал, едва на ноги встал и вдруг в горы собрался. Смотрю я на тебя и удивляюсь. Ну на что ты годишься! На что, я тебя спрашиваю? Отвечай, когда с тобой человек разговаривает! А то брошу вот здесь, на этом самом месте, и пойду один.

Тарталья. Не кричи на меня... Три апельсина... Не бросай меня... Мы найдем апельсины... Идем... идем...

Андрюша. Куда? Куда пойдем? На север? На запад? На юг? На восток? Ты же сам не знаешь, куда нам нужно итти. Где растут эти твои апельсины? В саду? В огороде? В лесу? Или просто лежат на прилавке в каком-нибудь магазине? Подумай сначала, куда нам нужно итти, а я пока посижу, отдохну немного. Я же тебя почти всю дорогу тащил на себе.

(Принц сидит, опустив голову. Андрюша ложится. На просцениум выходит Шут. Увидев Тарталья и Андрюшу, он рыдая, бросается к ним в объятия.)

Андрюша. Что с вами? Что случилось? Встаньте!

Шут (рыдая). Я... я... я... думал, что никогда вас больше не увижу... Я... я... я так бежал, так бежал за вами... (Плачет).

Андрюша. Что с вами? Как вы нас нашли?

Шут. По... по..., по... за... зарубкам на деревьях.

Андрюша (Тарталье). Слышал! Вот что значит зарубки! (Шуту). Ну рассказывайте, что вы хотели сказать. Зачем вы нас искали?

Шут (выпаливает залпом). Его величество король Сильвио слег в постель от горя и тоски. Бригелла не отходит от кровати больного и сам рассказывает ему день и ночь свои страшные рассказы. Бедный король плачет, плачет, плачет и день и ночь. Слуги не успевают выносить тазы со слезами. С Панталоне король не хочет даже разговаривать и теперь ходит без Панталоне. Он в гневе на него за то, что Панталоне пропустил на карнавал эту проклятую ведьму Моргану. (Плачет). Бедный Панталоне опять потерял свой портфель, а Бригелла нашел его и прячет, не отдает. Клариче всеми командует. Во дворе запустение и печаль. Панталоне сказал мне, что одна надежда на вас. Если вы не найдете то, что ищете, и не вернетесь домой благополучно, то все пропало!

Андрюша. Проклятый Бригелла! Мы обязательно найдем то, что мы ищем. (Токает Тарталья.) Тарталья! Ты слышал, что сказал Шут? Да очнись ты, несчастный!

Тарталья. Я есть хочу.

Андрюша (Шуту). Горе мне с ним.

Шут. Да! Вы же продукты взяли с собой забыли! Я вам захватил. Вот масло, а вот бутерброды с икрой! (Передает.) (Тарталья набрасывается на еду, жадно ест.)

Андрюша (Тарталье). Смотри, все не съешь. Это вот моя часть!

Тарталья (Бормочет).

Три апельсина должны мы найти...

Три апельсина должны мы найти...

Андрюша (Шуту). Опять забормотал свое. Три апельсина! А где они находятся, — никто не знает.

Шут (вспоминая что-то, восклицает). Знает! Знает! Чуть было не забыл. Панталоне приказал мне передать вам вот это... (начинает что-то искать по карманам...) вот это...

Андрюша. Что? Что велел передать нам Панталоне?

Шут (ищет, не может найти). Вот это... Нет, не то! Вот это... опять не то... Куда я его засунул?... Здесь нету... Здесь тоже нету... Неужели в портфеле остался? Тогда всё пропало!..

Андрюша (помогает ему искать). Что «вот это»? Что?

(Из кармана Шута летят какие-то бумаги, бечевки, всякий хлам. Наконец Андрюша лезет к нему за паузу и вытаскивает большой конверт за пятью печатями.)

Ш у т. Вот это письмо.

А н д р ю ш а (читает адрес на конверте).  
«Горно-лесной бубновый район. Гора  
Флеш. Королевская обсерватория. Стар-  
шему научному сотруднику Универу.  
Срочно. Лично. В собственные руки. От  
Панталоне».

Ш у т. Это родной дядя Панталоне. Он  
один знает, где могут быть апельсины.  
Колдунья Моргана была когда-то в него  
влюблена и доверила ему несколько своих  
тайн.

А н д р ю ш а (оглядывается). Горно-лес-  
ной район. По-моему, мы недалеко от це-  
ли. Тарталья, вставай! Надо торопиться,  
пска еще не стемнело!

Т а р т а л ь я (поднимается).

Три апельсина — спасенье мое!

Три апельсина...

(Андрюша и Тарталья уходят вперед. Шут  
направляется в другую сторону.)

#### КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Внутренность башни замка Универа. Ночь. Универ смотрит  
в большой телескоп на звездное небо.

У н и в е р (считает звезды). Двадцать  
семь миллионов сто пять тысяч восемна-  
дцатая, двадцать семь миллионов сто пять  
тысяч двадцатая, двадцать семь миллио-  
нов сто пять...

(Звонят пять раз.)

Это ко мне. Войдите!

(Входят Андрюша и Тарталья.)

А н д р ю ш а. Можно к вам?

У н и в е р. Раз вы вошли, значит вы  
уже здесь. Кто там?

А н д р ю ш а. Это — мы.

У н и в е р (сердито). Опять меня сбили  
со счета. 37 и 8! Теперь опять придется все  
звезды считать сначала. Заниматься не-  
возможно! Кто вы? Откуда? Что вам от ме-  
ня надо? Я занят научной работой.

А н д р ю ш а. Простите, пожалуйста. У  
нас есть к вам письмо от вашего родного  
племянника Панталоне.

У н и в е р. Письмо?

А н д р ю ш а. Да. Срочное. Личное. В  
собственные руки.

У н и в е р. Странно. Уже сто лет не по-  
лучал писем. Дайте-ка его сюда!

(Андрюша передает письмо.)

У н и в е р (прочитав письмо). Так... так...  
Понятно... (Андрюше, улыбаясь). Ну, как  
он там? Портфель у него еще не отобра-  
ли?

А н д р ю ш а. Он его сам все время те-  
ряет. Потеряет, а потом бегаёт, ищет по  
всему дворцу. А последний раз потерял, а  
Бригелла нашел, спрятал и не отдает.

А н д р ю ш а (поет свою песенку).

Жил-был на свете паренек,  
Очень славный паренек,  
Был этот славный паренек  
И весел и удал.

Его видали там и тут,  
И здесь и там, и там и тут,  
Но как парнишечку зовут  
Никто вокруг не знал!

Он — Володя или Миша,  
Или Саша, или Гриша,  
Или Николай.

Может, Коля. Может, Витя.

То ли Толя, то ли Митя,  
То ли Ермолай!

Он на «Митю» — откликнулся

И на «Толю» — улыбнулся,

Крикнешь: Степа, где девался. —

Он уж тут, как тут.

И никто, как ни старался —

Не узнал, не догадался,

Как его фамилия, как его зовут.

Андрюша (показывая на принца). Слышите. Это с ним уже три дня. Пока мы не достанем апельсинов, у него это не пройдет. Вы знаете, где они растут?

Универ. Предположим, что знаю. Но не скажу.

Андрюша. Почему? Это же не военная тайна!

Универ. Потому что я не хочу, чтобы вы погибли из-за каких-то трех апельсинов.

Андрюша. Мы не погибнем. Вы только скажите. Неужели вам трудно сказать?

Универ. Не трудно, но я не скажу. Я могу вам сказать, где растут яблоки, груши. Но где растут апельсины, я вам не скажу!

Андрюша. Значит, вы не знаете. Это ясно.

Универ. Знаете что, молодой человек, я лучше вас знаю, чего я знаю и чего не знаю, 37 и 8!

Андрюша (быстро). А где растут апельсины?

Универ (защелкнув). Апельсины растут в волшебном саду Морганы, на квадратном острове Преферанс. Остров этот находится за суконным занавесом нашего театра. Вокруг этого острова вырыт квадратный ров, наполненный кипятком. Через него нельзя ни перешагнуть, ни перепрыгнуть. Ой, проговорился, 37 и 8!

Андрюша (перебивает его). И около рва, на этой стороне лежат две одинаковые доски?

Универ (удивленно). Две доски красного дерева. Откуда вы знаете?

Андрюша. Из задачника. Я эту задачу никак не мог решить.

Универ. Вот видите. Надо знать решение этой задачи, чтобы попасть на остров Преферанс.

Андрюша. Задачу я решаю.

Универ. Смело!.. Я — старый ученый, занимаюсь высшей математикой и астрономией, но этой задачи решить не смог. А вы, молодой человек, вдруг взяли и решили. Сколько вам лет?

Андрюша. Двенадцать с половиной, почти тринадцать, скоро будет четырнадцать.

Универ. Маловато.

Андрюша. А вам сколько?

Универ (подумав). Приблизительно пятьсот.

Андрюша. Многовато. А вы можете нарисовать линию без начала и конца?

Универ. Конечно, нет.

Андрюша. А я могу. Дайте мне циркуль и мел!

Универ. Вот циркуль... Смело! Вот мел... Очень смело...

Андрюша (чертит на стене круг). Пожалуйста. Смотрите — вот линия, которая не имеет ни начала, ни конца. Круг!

Универ (растерянно). Пожалуй, вы правы. (Изучает круг на стене). Вы ученый?

Андрюша (гордо). Я — ученик 4-го класса 117-й мужской школы!

Универ. О-о-о!.. Простите, я в вас ошибся. Да. Вы можете попасть на остров. Но это еще не все..

Андрюша. А что еще?

Универ. Сад Морганы окружен стеной, через которую нельзя ни перелезть, ни перепрыгнуть. У входа в единственные ворота сидит алый пес Туз, которого не кормят уже три года и пять месяцев. Но это тоже еще не все! Ворота в стене — живые. Они хватают каждого, кто пытается через них пройти, и стирают его в зубной порошок. При этом они так скрипят, что уши вянут, потому что с тех пор, как они поставлены, их ни разу не смазывали маслом.

Андрюша. Мы ничего не боимся. Но как же нам дойти до этого острова?

Универ (подумав). Хорошо. Раз уж я вам все выболтал, я вам и помогу! (Достает какую-то коробочку.) В этой коробочке лежит у меня звезда «Путиводиус». Где она упадет, там и будет желанное место. Я дарю ее вам.

Андрюша. Большое спасибо! Благодарю! (Осторожно берет в руки блестящую звезду.)

Тарталья (тупо). Я должен сорвать три апельсина.

Андрюша. Да замолчи ты, пожалуйста! Сидит — ноет: «Должен, должен...» Я лучше тебя знаю, что ты должен! Вставай! Пошли! Спасибо! Маг-Универ-маг! Извините, что мы помешали.

(Принц выходит. Универ останавливает Андрюшу.)

Универ. Пойдите, молодой человек! Раз уж вы пускаетесь в такое опасное путешествие, я открою вам последнюю тайну.

Андрюша. Только скорее, пожалуйста, а то как бы он там с горы не свалился.

Универ. Колдунья Моргана зло посмеялась над вами. Апельсины-то, которые растут у нее в саду, не настоящие.

Андрюша. А какие же?

Универ. Тоже заколдованные. Они ничем не пахнут, в них нет сока.

Андрюша. Что же, они пустые?

Универ. Нет. В одном из них заключена Радость, в другом — Печаль. А в третьем...

Андрюша. Что в третьем?

Универ (тайно). А в третьем заключено то, без чего ничто не обходится и без чего ты здесь жить не можешь! (Андрюша в изумлении роняет звезду. Раздается треск. Темнота. Когда зажигается свет, Андрюша и Тарталья оказываются перед островом Преферанс.)



## КАРТИНА ПЯТАЯ

Угол квадратного острова Преферанс. За канавой на острове обнесенный стеной сад Морганы. В саду дерево с тремя апельсинами. У ворот большая собачья конура. На этой стороне канавы лежат две доски. Тарталья тянется к трем апельсинам. Андрюша рассматривает доски. Пробует перебросить их через канаву. Доски сделаны по ширине канавы и перекинуть их с берега на берег нельзя: они проваливаются.

Андрюша. Как же сделать мост? Гвоздей нет. Молотка нет. Сядем и подумаем. (Садятся.) От угла до угла... Так... так... так... (Соображает.) Решил! Кладем доску на угол, а вторую одним концом на остров, а другим на середину первой доски. Попробуем. Тарталья, помоги!

(Принц неловко помогает, глядя на апельсины. Чуть не проваливается в ров. Андрюша едва успевает его схватить за ногу.)

Андрюша. Надо все же соображать! Что ты на апельсины уставился.

Тарталья. Три апельсина спасенье мое...

Андрюша. Залади. Никуда они от нас не уйдут. Вот переберемся на ту сторону, тогда займемся ими. (Снова работает, напевая.)

Жил-был на свете паренек,

Очень славный паренек,

Был этот славный паренек

И весел и удач.

Его выдали там и тут,

И здесь и там, и там и тут,

Но как парнишечку зовут

Никто вокруг не знал.

Он — Володя или Миша,

Или Саша, или Гриша.

Или Николай.

Может Коля. Может Витя.

То ли Толя, то ли Миля,

То ли Ермолай!..

Как же я раньше не додумался? Ну, Тарталья, начинаются приключения. Давай, я пойду первый. (Осторожно шагает по доске.)

(Принц с обнаженной шпагой идет за ним. Только они ступают на остров, как из конуры, рыча и лая, выскакивает пес Туз. Принц в страхе машет шпагой. Пес бросается на него.)

Андрюша (кричит). Не дразни собаку! Не дразни собаку! Достань бутерброд. Достань бутерброд! Дай ему скорее!

(Принц достает; пес садится и облизывается. Андрюша берет у принца бутерброд и смело подходит к собаке.)

Андрюша. Ты не умеешь обращаться с животными! (Гладит собаку.) Не кормит тебя хозяйка, Тузик! Жадная старуха! Подумать только: три года и пять месяцев голодом морит. Сторожи ее после этого. Я бы на твоём месте к Дурову убежал. Все-таки у него лучше собачья жизнь. Песик

ты несчастный, Тузик мой лохматый!

(Пес виляет хвостом.)

Тарталья. Скажи ему, чтобы он нас пропустил к воротам.

Меня зовут, меня манят

Три апельсина в этот сад!

Андрюша (сурово). Что? Опять стихами заговорил!

Тарталья. Я больше не буду. Я забыл. Я очень волнуюсь. Меня манят, меня зовут в этот сад апельсина три!

Андрюша. Ну, куда ты торопишься? Тузик знает кого пропустить, кого не пропустить. Знаешь, Тузик?

Пес (даёт). Знаю! Знаю!

Андрюша. Ты умный пес. Ты нас пропустишь. Мы ведь тебя накормили.

Пес (даёт). Да! Да!

Андрюша. Ну вот и договорились. Дай лапу! Давай познакомимся. Андрюша Попов! А ты — Тузик. Я знаю. (Пожимает псу лапу.) Вот так нужно обращаться с животными. Вежливо, с почтением. А то размахался своей железкой у него перед самым носом!

Пес (даёт). Да! Да! Да!

(Андрюша и Тарталья проходят мимо пса к воротам. Тарталья бросается вперед первый. Ворота хватают его за одежду, за руки, за ноги и со страшным скрипом начинают его трясти.)

Тарталья (вопит). За что меня? Спаси меня! У меня уши вянут!

Андрюша. Не уши, а уши! Вечно ты, грамотей, вперед лезешь. Не кричи. Сейчас я их маслом смажу. Они, бедные, замучились совсем без смазки. Бедные ворота. Такие-сякие, немазаные-сужие. (Смазывает ворота.) Отпустите его! А это масло я вам оставляю. Сами будете мазаться.

(Ворота сами открываются. Андрюша и Тарталья проходят к апельсинам.)

Тарталья.

Мои дорогие апельсины!

Мои золотые апельсины!

Андрюша. Не торопись ты, несчастный! Все дело испортишь! (Лезет на дерево. Тянется к апельсинам.)

(В окне замка появляется Моргана.)

Моргана (кричит).

Грабёж! Разбой и воровство!

Кто там в саду ломает ветки!

Ко мне на помощь, волшебство!  
Ах, это вы, попались, детки!

(Скрывается в окне. Гремит гром.)

Андрюша (трясет дерево). Держись, Тарталья! Как бы чего с нами не вышло! (Трясет дерево. Апельсины не падают. Тарталья уже на противоположной стороне рва.)

Тарталья (кричит). Скорей! Скорей! (Плачет.) Мои апельсины! Мои апельсины! (Андрюша из всех сил трясет дерево. Апельсины падают. Андрюша слезает с дерева. Собирает их и бежит через ворота. За ним по пятам Моргана. Андрюша успевает перебежать по доскам через ров и столкнуть доски.)

Моргана (вопит). Паршивый пес, бездельник!

Пес (лает). Но! Но! Но!  
Моргана. Тебя я утоплю!  
Пес. Не смей! Не смей! Не смей!

Моргана. Негодные ворота, вас в печке растоплю!

Андрюша (кричит). Ворота, не зевайте! Она у вас масло отнимет! Тузик, она тебя бить будет! Она тебя утопит!

Пес (лает). Нет! Нет! Нет!

(Ворота схватывают Моргану и начинают ее трясти. Пес с лаем бросается на Моргану.)

Андрюша. Так ее! Так ее, 37 и 8!

Тарталья (прижимает к себе апельсины). Бежим! Бежим!

Андрюша. Чего ты теперь-то торопишься. Ведь апельсины у нас. Ты смотри, как ворота ее в работу взяли. (Хохочет.)

*Занавес*

## ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

### Интермедия четвертая

(Бригелла и Клариче у телефона.)

Бригелла (дует в трубку). Алло! Алло! Тетя?.. Нас разъединили... Я вас плохо слышу. Да, это я — Бригелла. Ваш племянник. Как ваши дела? Что? Плохо? Я не понимаю, что плохо? Плохо слышно... Что?.. Не понимаю...

Клариче. (в нетерпении). Что плохо? Спросите, что плохо?

Бригелла. Тетя! Принцесса Клариче спрашивает, что плохо? Здоровье? (Клариче.) Она плачет в телефон и ничего невозможно разобрать, что она там говорит. (В трубку.) Тетя, успокойтесь! Я не могу разобрать, что с вами случилось!.. Слышу... Что? Обокрали? (Клариче.) Тетю обокрали! (В трубку.) Что у вас украли? Не слышу. Говорите по буквам! Артем... Петруша... Еремей... Лошадь... Мягкий знак... Что? Апельсины? (Клариче растерянно.) У нее украли три апельсина!

Клариче. Я так и знала! Я так и чувствовала! Ваша старая, выжившая из ума тетка никакая не волшебница, а просто пустое место. Она не умеет колдовать! Надо было вызвать другую ведьму! Я вас предупредила. Я вам говорила. Вы никогда меня не слушаете. Скажите ей, что она никуда не годная ведьма!

Бригелла (в трубку). Никто не ругается. Принцесса Клариче передает вам свое сожаление. Что? Покусала собака. (Клариче.) Тетю покусала ее собака.

Клариче (зло). Так ей и надо, старой карге!

Бригелла (в трубку). Клариче говорит, что нужно сделать прививку. Что? (Клариче.) На нее еще упали ворота и придавили ее. Бедная тетя...

(Из-за занавеса выглядывают Панталоне и Шут. Они подслушивают Бригеллу и Клариче.)

Клариче. Жалко, что она еще выжила...

Бригелла (в трубку). Что же нам теперь делать? Хорошо. Сейчас возьму карандаш. (Клариче.) Записывайте теткин последний совет. Я буду диктовать. Только пишите, пожалуйста, без ошибок, а то мы потом ничего не разберем. (В трубку.) Тетя! Диктуйте! Я слушаю. (Клариче записывает.) Так... «Единственный выход — отнять третий апельсин. В нем вся сила. В нем — Радость. Для этого нужно взять тот апельсин, который будет лежать с краю.» Так. (Клариче.) Записали? (Клариче утверждает, что кивает головой.) Так. Дальше. «И ровно в 12 часов пасмурного дня...» (Клариче.) Записали?

Клариче (раздраженно). Я не могу так быстро... (Пишет.) Какого дня?

Бригелла. «Пасмурного». Записали?

Клариче. Записала.

Бригелла (в трубку). Дальше. «Уничтожить»... Всё? (Клариче.) Всё. (В трубку.) Тетя! У меня к вам два вопроса: во-первых, с какого края взять апельсин? Там же будет два края. Что? Опять не слышно. Алло! Алло! Тетя, говорите по буквам. Скотина. Что? Кто? Какая скотина? Лопух. Какой лопух? Чего вы ругаете?

теть? Ева. Какая Ева? Ничего не понимаю!.. Алло! Алло! Станция, не мешайте. Тетя, где вы? Алло! Треск какой-то. Ничего не слышно.

Клариче. Вечно у вас что-нибудь с телефоном!

Бригелла. Опять испортился. Что же она сказала? Скотина — сы, лопух — лы, Ева, сы-лы-ева. Понял, понял. Слева! Слева! Теперь мы все знаем. Покажите, как вы записали. (Смотрит.) В таком маленьком диктанте восемнадцать ошибок! Позор! Разве так пишут? Слово «апельсин» пишется с буквы «а», а не с буквы «о»! «Апельсин», а не «опельсин»! Стыдно, принцесса! И потом не «пиль», а «пель» и не «сын», а «син».

Клариче. Принцессе не обязательно писать грамотно. На это есть министры. Например, вы!

Бригелла. Не будем с вами спорить в такой серьезный момент. Нам нужно побыстрее собраться в путь. Принц и этот подлый мальчишка неизвестной масти уже на пути ко дворцу. Мы должны перехватить их по дороге.

(Панталоне и Шут скрываются.)

Клариче. Как сложно все-таки жить в таких условиях. Все время нужно делать какие-то гадости, кого-то обманывать, убирать с дороги...

Бригелла. Ничего не поделаешь, моя очаровательная, злая, жадная принцесса! Мы принадлежим с вами к такому высокому обществу, где это принято и является необходимостью. Идемте. Надо торопиться.

Клариче. Я вся горю! Дайте мне снегу с сахаром.

## КАРТИНА ШЕСТАЯ

В горах, Тарталя и Андрюша сидят на камнях под деревом. Перед ними на земле лежат три апельсина.

Андрюша. В одном апельсине — Радость, в другом — Печаль, а в третьем то, без чего ничто не обходится, без чего я здесь жить не могу!.. Что же это такое? (Соображает.) Ну, без папы и без мамы... даже без дедушки — я здесь жить не могу. Но они же не могут быть в апельсине. (Смеется.) Ну, без кино. Но ведь кино тоже здесь не поместится! Без мороженого... (Серьезно.) Без товарищей, без школы, без Москвы... (Задумался.) Что-то сейчас Люба ~~делает~~?.. Что же все-таки в апельсине? И какой из них третий? Тарталя, как ты думаешь?

Тарталя. Я не знаю.

Андрюша. Не знаю, не знаю... А что вообще ты знаешь? Чему тебя здесь учили? Что ты умеешь делать? Что ты из себя представляешь? Ты же совершенно не приспособленное к жизни существо! Валет несчастный! Кому ты нужен! На что ты нужен! На что ты только годишься, подкидной дурачок! Если бы я к вам не явился, тебя бы здесь уморили, как мужу. Надоело мне тут с вами возиться! Вот возьму проснусь и уйду я от вас!

Тарталя. А как же я?

Андрюша. Что ты?

Тарталя. А как же я без тебя жить буду?

Андрюша. Надо самому как-нибудь устроиваться. Быть самостоятельным. Не могу же я здесь жить без конца. Я бы хоть сейчас ушел, но мне просто очень интересно, чем все это кончится. (Помолчал.) Что же все-таки в апельсине?.. Тарталя! (Принц молчит.) Вздремнем и мы полчасика. А там видно будет... (Зевает. Потя-

гивается. Не получив ответа, оглядывается и видит, что принц заснул.) Эге, да ты уж, братец, готов. (Ложится и тоже засыпает. С разных сторон появляются Бригелла и Клариче. Между ними лежат три апельсина.)

Клариче (шопотом). Тс-с-с. Они спят. Где апельсины?

Бригелла (так же). Тс-с-с. Они спят. А вот и апельсины.

Клариче. Где? Где? Я не вижу!

Бригелла. Да вот же, прямо...

Клариче. Берите их скорее.

Бригелла. Какой же из них крайний?

Клариче. Да ведь вы сами сказали, что левый — крайний.

Бригелла. Значит, этот?

Клариче. Нет, нет, не этот. Это — правый крайний. Вот моя правая рука.

Бригелла. А вот моя левая рука. Вы встаньте так, как я, и вы сразу увидите, что это — крайний слева.

Клариче. Не спорьте со мной. Подойдите ко мне и посмотрите с моей стороны.

Бригелла. Я знаю свою тетку-левицу, она бы подошла к апельсинам с моей стороны. И потом этот апельсин, кажется, немножко больше других.

(Андрюша ворочается во сне. Бригелла и Клариче замирают. Затем Бригелла быстро хватается один из апельсинов и скрывается с Клариче. Короткая пауза. Входят Панталоне и Шут.)

Панталоне (запыхавшись). Кажется во-время. Они еще спят. Воображаю, как разозлился Бригелла, увидев меня здесь.

Шут. И меня тоже.

Панталоне. Он думает: Панталоне глух, Панталоне глух, Панталоне легко снять с работы.

Шут. И меня тоже.

Панталоне. Все-таки я хороший министр. Я еще докажу бедному королю свою преданность и разоблачу все козни Бригеллы.

Шут. И я тоже.

Панталоне. Да. А где же эти апельсины? (Осматривается.)

Шут. Вот они. Раз, два...

Панталоне. А где же третий? Их должно быть — три!

Шут. Я не брал.

Панталоне. Бригелла и Клариче не могли успеть раньше нас. Мы бежали сюда по самой королюй тропинке. Что это? Лилия?.. Клариче была здесь! Она уронила свою ядовитую лилию! (Бросается будить спящих.) Караул! Проснитесь! Вас обчистили, как маленьких! У вас украли третий апельсин!

(Шут начинает всхлипывать.)

Андрюша (не может проснуться). Отстаньте. Я хочу спать...

Панталоне (отходит в сторону). Что же теперь делать? Еще подумают, что я его съел.

Шут. Или я.

Панталоне. Куда заявить?.. Кому?! (В растерянности садится на один из апельсинов. Апельсин с треском лопается. Из-за спины Панталоне появляется девушка в сером воздушном одеянии.)

Панталоне (в отчаянии). Я раздавил апельсин!

Печаль (нежным печальным голосом).

Ты раздавил мою темницу,

Тебя, мой друг, мне очень жаль.

Я не обычная девица...

Панталоне (печально).

А кто же ты?

Печаль.

Твоя Печаль...

(Поёт грустную песенку.)

Я смеха не терплю,

Я — вечная Печаль

И кто не знает слез,

Того мне очень жаль!

Я счастлива тогда,

Когда вокруг грустят,

Когда вокруг меня

Смеяться не хотят.

Я к людям прихожу,  
Вселяюсь в их сердца,  
Сгоняю в тот же миг  
Улыбки с их лица,  
Я им туманю взор,  
Маню куда-то вдаль,  
Я в сумерках живу,  
Я — вечная Печаль!

(Панталоне всхлипывает. Шут плачет в три ручья. Печаль кончает петь. Спящие проснулись.)

Андрюша (удивленно). Панталоне! Почему вы плачете?

Панталоне. Мне страшно грустно. Печаль. Ему не может быть весело, раз я с ним.

Андрюша. Я вас не знаю. Кто вы?

Печаль. Я — Печаль.

Панталоне. Она говорит правду. Она была в том апельсине, на который я случайно сел. (Плачет.) Я пришел слишком поздно. Я опоздал. Я так хотел притти раньше Бригеллы, чтобы помешать ему украсть апельсин.

Шут. Я тоже. (Плачет.)

Андрюша. Кто посмел украсть у нас апельсин?

Тарталья. Что же это такое? Один — украли, другой — раздавили. У нас осталась только одна штука. (Плачет.)

Панталоне. Как мне печально, как мне печально...

Печаль. Бедные мальчики, бедные мальчики...

Андрюша. Не смотрите на меня так, а то мне тоже как-то нехорошо делается. Какие-то грустные мысли лезут в голову.

Печаль. Очень хорошо, что вы загрустили, очень хорошо. Пока я с вами, вам не может быть весело. (Поет.)

Я смеха не терплю.

Я — вечная Печаль

И кто не знает слез,

Того мне очень жаль!

Я счастлива тогда,

Когда вокруг грустят,

Когда вокруг меня

Смеяться не хотят.

(Все, плача и всхлипывая, присоединяются к ней и уходят. Последним идет Шут, неся апельсины.)

*Занавес*

### Интермедия пятая

Перед занавесом Бригелла и Клариче. В руках у Бригеллы портфель.

Бригелла. Королю сегодня хуже. Гораздо хуже, чем вчера. Он уже выплакал

почти все слезы. Осталось на самом донышке. Единственное, что могло бы вер-



на шею. Отойти! (Становится рядом с принцем. Вытирает глаза платком.)

Печаль. Как вы не понимаете, Я здесь на своем месте. Без меня не обходятся ни разлука, ни похороны, ни одно печальное событие. Я вам необходима.

Бригелла (тихо Клариче). Который час?

Клариче (нервно). Осталось пять минут. Мы прозеваем всё. Где ваш портфель?

Бригелла (показывает на кровать короля). Он там, в ногах у короля остался.

Тарталья (у постели короля).

Как страшно мне остаться одному.

Влечет меня назад к недугу моему...

(Слабеет.)

Печаль. Как хорошо все это... Как все здесь замечательно опечалено...

(Все объята печалью. Звучит грустная музыка. В комнату вбегает Шут с апельсином в руках и замирает на пороге, пораженный происходящим. Машинально прижимает к своей груди апельсин, который со страшным треском ломается у него в руках. Все вздрагивают и оборачиваются, за исключением Тартальи. Из-за спины Шута выходит красивая девушка в ярком одеянии. Печаль хватается за Панталоне.)

Печаль (Панталоне). Скорей, скорей, скорей уйдем отсюда.

Панталоне. Что с тобой? Кто это?

Печаль. Это — Радость. Мы не выносим друг друга.

Панталоне. Очень хорошо. Наконец-то я от тебя избавлюсь. Не держись за меня!

(Печаль отходит в сторону и незаметно становится сзади Бригеллы и Клариче)

Радость (звонким голосом поет веселую, жизнерадостную песню).

Если солнечный луч  
Посмотрел из-за туч,  
Если встретились где-то друзья,  
Если птицы поют,  
Если травы цветут,  
Это — я, это — я, это — я!

Если я прихожу,  
Я с собой привожу  
И удачу, и шутки, и смех,  
Те, кто день ото дня  
Знают только меня,  
Те, конечно, счастливее всех!

Я — здоровье и свет,  
Завершение побед,  
Мне доступны любые края,  
Если люди равны,  
Если нету войны,  
Это — я, это — я, это — я!

(Андрюша подбегает к окну и распакивает его. В комнату врывается яркий солнечный свет. Сильвио приходит в себя. Садится. Замечает Тарталью.)

Сильвио. Кто эта девушка?  
Радость. Я — Радость!

Бригелла (Клариче). Все пропало!  
Сильвио (радостно обнимая сына).  
Тарталья! Сын! Любимый мой

наследник!

Тарталья. Отец! Ты жив! Отец, я  
вновь с тобой.

Сильвио. Приди ко мне! Приму тебя...  
тебя... в передник! Рифму! Передник... лед-  
ник... медник... бредник...

(Обнимает сына).

Панталоне (Бригелле). Мой портфель! Где он? Где мой портфель?!

Андрюша. Да вот он, на кровати у короля!

(Панталоне и Бригелла одновременно бросаются к портфелю. Между ними завязывается борьба.)

Панталоне. Отдайте!

Бригелла. Не отдам!

Панталоне. Как вы смеете! Это мой портфель! Я ему три раза ручку менял! Отдайте! (Вырывает портфель. Отходит в сторону, открывает его.)

Бригелла (тихо Клариче). Сейчас все откроется! Мы пропали!

Клариче. В портфеле мои плоды! Панталоне, отдайте их сейчас же мне!

Панталоне. Пожалуйста, пожалуйста, я не такой, как некоторые... Мне чужого не нужно... (Достает апельсин.) Вот... Ой! Что это?

Бригелла (тихо с отчаянием). Погибло все!

Андрюша (увидел апельсин). Третий апельсин!..

Панталоне. А-а-а... Я так и знал!

Шут. Я тоже...

Клариче. Это мой апельсин!

Андрюша. Это наш апельсин! Тарталья! Третий апельсин нашелся.

Тарталья (из объятий отца). Где? Где? Давай его сюда!

Клариче. Это самый обыкновенный нормальный апельсин! Он мой!

Андрюша. Нет! Это наш апельсин! Тот самый! Я на нем зарубку сделал.

Сильвио.

Опомнитесь, друзья! Сейчас не время спорам!

Что там за апельсин? Подать его сюда!

Как мог он стать причиной раздора.  
(Берет апельсин и кладет его на тумбочку.)

Обращается к Тарталье.)

Кому обязан я, что минула беда,  
Что вновь ты во дворце здоровый,  
невредимый?

Кто снял с тебя, мой мальчик,  
волшебство,

Кого благодарить за дар  
несценимый?

Тарталья (показывая на Андрюшу).  
Опять, отец, благодари его!



(Андрюша, незаметно подошедший сзади к Бригелле, ловким движением срывает с плаща герб червовой масти, открывая перед всеми герб масти пик. Все отпрянуло. Панталоне хватает его и держит.)

Сильвио.

Бригелла масти пик?! Еще одна змея  
Скрывалась во дворе, свой страшный  
яд тая!

Панталоне.

У нас не вырвешься!  
(Держит Бригеллу.)

Шут.

Мучитель наш!

Андрюша.

Шпион!

Тарталья (Клариче). Вы покушались на червовый трон!

Сильвио (в гневе).

Эй, стражников сюда!

(Звонит в колокольчик.)

Раскрыт коварный план!

Где стража? Где патруль?

Где сам начальник стражи?

Начальник стражи (едва держась на ногах).

Я здесь...

Сильвио (показывая на преступников).

Забрать!

Начальник стражи (заплетающимся языком).

Я не могу... Я пьян...

По правде говоря, я их не вижу  
даже...

Сильвио (в гневе).

Как ты осмелился напиться,

Когда такое тут творится?!

Начальник стражи,

Да я... да мы... да вы... Позвольте  
объясниться.

Действительно хлебнули мы сейчас.

Но все за принца, все как есть за вас!

Ну как тут было не напиться?

Сильвио.

Ты правду говоришь?

Начальник стражи.

Клянусь!..

Сильвио.

Другое дело!..

Клариче (обнимает ноги короля).

Но я ведь выдала Бригеллу!

Сильвио (приказывает).

Обоих взять и заточить в тюрьму!

Как неожиданно мы с них сорвали  
маски!

Ее — разжаловать в Четверки, а

ему —

И день и ночь читать его рассказы!

Кого пригрел я на своей груди!

Кто знает, что б могло случиться  
впереди!

(Стража уводит преступников. За ними уныло бредет Печаль.)

Панталоне.

Желание мое исполнено сполна!

И зло — наказано. В том есть мое  
участье!

Шут.

Я в этом тоже виноват отчасти.

Сильвио.

Была нам паутина сплетена.

Но волею судеб мы счастливы

отныне!

Вернемся же к тому, что нам

пришлось прервать:

(Андрюше.)

Твое желание хотел бы я узнать!

Андрюша.

Хочу я посмотреть, что в третьем  
апельсине!

Сильвио.

Что может этот плод внутри

себя таить.

Достойно ли оно малейшего

вниманья!

Могу тебе его я подарить!

(Берет апельсин и подает Андрюше.)

Ты можешь съесть его, испечь,

сварить —

Все можешь сделать с ним, по  
своему желанию!

Андрюша. Я здесь его хочу при всех  
открыть!

(Хочет открыть апельсин)

Панталоне (умоляюще). Ради бога,  
не открывай его! Я умоляю! Я прошу!

Андрюша. Почему?

Панталоне. Мы уже по опыту знаем,  
что из него что-нибудь вылезет!

Андрюша. Ну и что же?

Панталоне. А вдруг какая-нибудь  
гадость или пакость.

Андрюша. А может быть что-нибудь  
хорошее.

Радость. Я могу обидеться. Какая же  
я гадость? Какая же я пакость?

Панталоне. Извините, пожалуйста.  
Это к вам не относится. Это я про вашу  
подругу сказал, про Печаль.

Радость (Андрюше). Открывайте!

Шут.

Не надо открывать! Не стоит!

Тарталья.

И я бы открывать его не стал.

Сильвио.

По-моему, вскрывать его не след,

Что если он наделает нам бед!

Панталоне. Отдать его Бригелле.  
Пусть он его в тюрьме откроет.

Сильвио.

Пусть будет так —

Пускай его вскрывает враг!

Шут. А вдруг в нем что-нибудь хоро-  
шее. Тогда как?

Сильвио.

Бригелле апельсин не отдавать!

Раз нужно вскрыть его, то здесь его  
вскрывать!

Андрюша. Я так и сделаю. (Решитель-  
но хочет открыть апельсин. Подходит к  
рампе.)



Панталоне (закрывая уши). Ой! Брось! Не открывайте еще минуточку!

Шут (кричит). Еще хотя бы полминуточки!

Андрюша (обращаясь к зрителям). Открыть?

Зрители. Открыты! Открыты!

Андрюша Сейчас. (Возится с апельсином.) Как же его открыть? (Всем на сцене.) У кого есть ножик?

Все (спрашивают друг друга).

— У кого есть ножик?

— У вас есть ножик?

— Дайте, пожалуйста, перочинный ножик!

— Ни у кого нет ножичка?

Шут. А зачем ножик? На него нужно сесть, и он сам лопнет! Пусть сядет Панталоне.

Панталоне. Нет, нет. Я не сяду! Кто угодно, только не я! (Шуту.) Что вы всегда лезете, куда вас не просят. Садитесь сами!

Шут. Простите, я пошутил.

Андрюша (подумав). Ну ладно. Я его тогда возьму с собой и дома открою. До свиданья! (Поочередно жмет всем руки.) До свиданья, я пошел проспать. Всего хорошего. Очень было интересно с вами, До свиданья!

Тарталья. Значит, уходишь. А как же апельсины? Это же наш общий апельсин...

Андрюша. Здравствуйте. Принц проснулся! Он же мне его подарил. (Показывает на Сильвио. Тарталья вопросительно смотрит на Сильвио.)

Сильвио.

Да. Апельсин пришлось мне подарить...

Не следует ли все ж его открыть?

Андрюша. Сейчас приду домой и открою его без вас. (Идет к двери.)

Панталоне. А может все-таки одним глазком посмотрим, что там таится?

Сильвио.

Конечно, было бы не плохо посмотреть.

От любопытства можем мы сгореть...

Тарталья. Андрюша... Открой! Это не по-товарищески...

Андрюша (обращается к зрителям). Вот как они скажут, так и будет. Открыть апельсин?

Зрители. Открой!.. Открой!..

Андрюша. Ну хорошо. Только я не отвечаю за то, что может случиться. (Пытается открыть апельсин, но тот не открывается.)

Панталоне. Ну!

Андрюша. Не открывается что-то. (Возится с апельсином.) Тарталья, иди-ка сюда. Помогите мне.

(Тарталья подходит.)

Нажимай здесь.

(Тарталья помогает.)

Тарталья. Не открывается?

Шут. Давайте, я помогу. Как это не открывается? (Подходит.)

Сильвио.

Ну что же? Нет терпенья!

Что там у вас за промедление?!

Панталоне. Стоит ли? Стоит ли его открывать? Не открывается — и не надо! (Подходит.) Ну что, никак не справитесь? (Помогает.)

Сильвио (встает с кровати).

Как видно, без меня не обойдется!

Мне в этом деле вам помочь придется.

(Подходит.)

Шут. Что такое? Что за апельсин нам попался?

Андрюша. Ну и кожара!

(Все сгрудились вокруг Андрюши и помогают ему открыть апельсин. Вдруг раздается оглушительный треск. Все разбегаются в разные стороны. Тухнет свет. В темноте слышен крик Панталоне.)

Панталоне. Что я говорил!

Шут. А что?

(Зажигается свет. Посередине сцены стоит фигура большого роста с длинной бородой. Минутное молчание.)

Панталоне (тихо, про себя). Так я и знал!..

Шут. И я тоже...

Андрюша (фигуре). Кто вы такой?

Фигура (спокойно). А разве вы меня не ждали?

Андрюша (неуверенно). Нет... То-есть да... Мы ждали... Но мы не... (Замялся.)

Панталоне (тихо). Что я говорил?..

Андрюша (собранный с духом). Скажите, пожалуйста, кто вы такой?

Фигура. Я тот, без которого ничто не обходится.

Андрюша. Кто же вы?

Фигура. Меня зовут — Финал. Я — конец.

Андрюша. Какой конец?

Финал. Конец пьесы.

Андрюша. Мы вас не звали.

Финал. Обычно я сам прихожу, когда что-нибудь кончается.

Андрюша. Почему?

Финал. Потому что всякое дело с концом хорошо. У всякого словца ожидай конца.

Андрюша (вздыхнув). А-а-а... Теперь я понимаю, почему я без вас здесь жить не могу! Не могу же я здесь жить без конца! (Смеется.) А как вы в апельсин попали?

Финал. Я здесь не при чем. Это меня автор — Сергей Михалков — в апельсин запрягал. Если бы вы знали, как я сопротивлялся! Хорошо, что вы меня освободили.

Андрюша. А можно у вас спросить: концы ведь разные бывают: хорошие, плохие, счастливые и несчастливые, благополучные и неблагоприятные. Вы какой конец?

## СМЕХ И СЛЕЗЫ

Финал. Это смотря для кого. Для вас  
я — конец хороший, счастливый и благо-  
получный!

(Обращаясь к зрителям, поет прощальную  
песенку.)

Ничто не продолжается  
На свете без конца,  
Что хорошо кончается,  
То — радует сердца!  
Ты ходишь, ты волнуешься,  
Тебя бросает в дрожь:  
А вдруг не сдашь экзамены,  
А вдруг не перейдешь.  
Но вот прошли экзамены,  
Тревоги за спиной,  
И ты шагаешь весело  
Из «пятого» в «шестой»!  
Ничто не продолжается  
На свете без конца.  
Что хорошо кончается,  
То — радует сердца!  
Ты кашляешь, сморкаешься,  
Чихаешь и хрипишь.

И вот уже с ангиною  
В кровати ты лежишь.  
Приходится противные  
Лекарства принимать.  
Но вот ангина кончилась  
И ты здоров опять!  
Ничто не продолжается  
На свете без конца,  
Что хорошо кончается,  
То — радует сердца!  
Спектакль начинается,  
И занавес дают:  
Рыдает старый Сильвио,  
Печален белый Шут.  
На сцене появляется  
Андрюша-молодец —  
Предатели наказаны,  
Комедии конец.  
Ничто не продолжается  
На свете без конца,  
Что хорошо кончается,  
То — радует сердца!

*Занавес*



# СТИХИ

## АЛЕКСАНДР КИРСАНОВ

★

### БАЛЛАДА О СЕМИ ГЕРОЯХ

1

Это дело было в декабре.  
Лес дремал в холодном серебре,  
Снежный наст сиял голубизной.  
Был отраден сердцу мир лесной.  
На закате ярче сосен медь,  
Русской красоте не умереть.

2

Над лесами плавился закат,  
Золотые пламы облака.  
Им, крылатым, не<sup>7</sup> заказан путь,  
Их никто не может повернуть,  
Как и нашей Родины народ  
С правильной дороги не свернет.

3

Шесть бойцов с сержантом в блиндаже  
Жили на переднем рубеже.  
Шесть с сержантом с первых дней войны  
Жили так, как братья жить должны.  
В каждом было силы за троих,  
Независть объединяла их.

4

Дети вспоминают об отце,  
Мать о сыне воине-бойце.  
Мы читали письма у огня  
И мечтали о хороших днях.  
Вдруг: — Тревога! Хлопцы, по местам,  
Танки возле дальнего куста.

5

Рыхлый снег утюжа животом,  
Танк за танком, как за домом дом.  
И сказал сержант бойцам своим:  
— Устоим, ребята?  
— Устоим!

— Шесть на шесть -- один на одного!  
— Головному в башню!  
— Есть!  
— Огонь!

6

Над поляной прокатился гром,  
Закоптился снег перед стволом.  
Головной уперся лбом в сугроб  
И застыл недвижно, словно гроб.  
Из отверстий пробивался дым —  
Стало меньше смертником одним.

7

Траками разбитыми звеня,  
Два еще трещали от огня,  
Но померк в глазах от взрыва свет,  
И сержант свалился на лафет.  
Он спросил дыханием одним:  
— Устоите, хлопцы?  
— Устоим!

8

Три последних пятились назад,  
Стихла оружейная гроза.  
Пот со лба наводчик стер платком,  
Погрозил на запад кулаком:  
— Нашей крови, сволочь, захотел,  
Только не на робких налетел!

9

Над лесами догорал закат,  
Золотые пламы облака.  
Загорелась первая звезда.  
— Устояли, хлопцы?  
— Как всегда!

Чтобы драться, как они, уметь,  
Надо сердце русское иметь.

★

## ВИТЕБСК

1

Это всё, что осталось, но это  
 было нашим теплом согрето,  
 и, казалось когда-то мне,  
 не горит ни в каком огне.  
 Не развалится с пустяка.  
 раз построено на века.  
 Мы ходили вдвоем с тобой  
 по приглаженной мостовой.  
 На скамейке сидели мы  
 до глубокой незрячей тьмы.  
 Где асфальт и скамейка та —  
 лишь щебенка да пустота,  
 груды камня, песок, зола...  
 И с ресницы слеза сползла.

2

Это всё, что осталось, но это  
 было в песнях моих воспето.  
 Потому, что кругом цвело  
 всем чертям и смертям назло.  
 Пробивалось из-под камней,  
 прижималось к ноге моей.  
 Не сомну, не сорву — цветы.  
 Что так долго не шел — прости.  
 Значит, раньше притти не мог,  
 было много других дорог.  
 Мне мешала итти гроза,  
 пыль слепила мои глаза.  
 Но я видел: земля жила,  
 пела, радовалась и цвела.

3

Это всё, что осталось, но это  
 я увидел на третьем сто.  
 Чем дышал я и чем я жил,  
 что носил в глубине души —  
 было скомкано злой рукой,  
 под германской легло ногой.

Мне бы надо кричать — не мог,  
 словно губы замкнул замок.  
 Очень много я видел зла...  
 и с ресницы слеза сползла.  
 Не горючею каплей, нет,  
 в ней блеснула голубой рассвет.  
 Радость жизни блеснула в ней,  
 словно не было темных дней.

4

Были темные, были, были.  
 Поднимались клубками пыли,  
 автоматом в окно стучали,  
 по-немецки они кричали.  
 Опухали глаза от слез,  
 ветер стоны людские нес.  
 Немцы хлебом моим кормились,  
 над сестрою моею глумились.  
 Время! Силу храни мою,  
 чтобы вылить ее в бою.  
 Чтобы пальцы на горле сжать,  
 отомстить за родную мать.  
 Силу в сердце, земля, вдохни,  
 слабость прочь от себя гони.

5

Где нам липы давали тень,  
 где растили своих детей,  
 где на клумбах цветы цвели —  
 немцы книги сожгли мои.  
 Немцы вырвать хотели все,  
 что нам радость и свет несет.  
 Нехватило у них огня  
 сжечь, как книжный листок, меня.  
 Не дала им той силы мать,  
 чтобы в землю меня втоптать.  
 Им хозяевами не быть,  
 им в земле нашей русской гнить.  
 И не встать, не подняться им  
 над большим торжеством моим.

# ЧЕЛЯБИНСКИЕ КОЛХОЗЫ

МАРНЕТТА ШАГИНЯН

★

## I. ПЕРВЫЕ ОБОБЩЕНИЯ

Здесь места называют общим именем «Южный Урал». Но сами челябинцы делят свою область: «наш север», «наш юг». На карте как будто не увидишь различия, — озёра, озёрки, озёрца, пресные и соленые, — и наверху и внизу то же множество голубых кружочков, словно крапинки на ситце; то же изобилие извилистых черных змеек — рек и речушек с самыми странными названиями — от Зюзелгы и Коелгы — до Сухорыша и Куросана.

Но в действительности тут есть различие, и особенно оно сильно для сельскохозяйственного работника.

На севере и озёра не те, и реки не те, — озера в густых хвойных лесах, между россыпью мшистых камней, в скалах, подобно финским, где-нибудь в Токсове, в Муранове; реки шумят быстро и освежающе, по-горному.

А на юге — озера густосини, брошены одиноком доскутком в голом степном пространстве; реки становятся тихими почти по-шевченковски: «река ставом стала», ползут сонно и разогрето, кое-где в камышах, и вам кажется, что вы — на Украине. Часами едешь холмистыми равнинами с одиноко стоящими там и сям березовыми рощами; даже и не угадать сперва, что береза: ветви до самой земли, белых стволов не видно. И только при въезде в самую «колку» хляснет вас ненароком глянцево-зеленый лист, — тот самый, каким так ароматно пахнет в уральских и сибирских банях, где распаривают в кипятке свежий березовый веник. Очертания этих рощ — купами, кущами, необыкновенно ровными геометрическими фигурами, — словно птицы в полёт летели и сели на отдых, — то возникают среди голых степей, то пропадают. Пустынно вокруг, деревни и города попрятались за холмы, тонут в широте этого простора, и земля отваливается, в разрезе вашей дороги, то ярко-красная, глинистая, «яр», —

на севере; то черная, жирная, чернозём — на юге.

Различию в пейзаже соответствует различие в экономике: наверху, на горном севере, рудные богатства, обилие заводов; внизу, на степном юге, большие зерновые колхозы, обилие хлеба. И хотя земля неистово плодородна, страшным препятствием встает здесь климат: долгая, очень морозная зима, с малым снегом, сильные ветры, сдувающие и этот скудный снег, знойно-засушливое лето, поздняя и дождливая весна, резкие колебания температур, зачастую губящие урожай.

Вот на этом плацдарме со всеми его особенностями, резко отличающимися от других мест нашего Союза, разыгралось великое сражение за «урожай победы». Челябинская область, плохо раньше справлявшаяся с хлебом, недодававшая государству, выступила застрельщицей за досрочную хлебодачу. С чем же она вышла на бой?

Прежде всего, за время войны Челябинская область стала компактнее, уменьшилась в объеме, — от нее отпали чисто зерновые районы, Шадринский и Курганский. Но отход этих районов, хотя и перевёл Челябинку из областей «производящих хлеб» в области «потребляющие», отнюдь не убавил её ответственности и не упростил её сельского хозяйства. В Челябинской области — крупнейшая промышленность, в ней целые города-заводы, такие, как Магнитогорск, и, перестав вывозить хлеб, она оказалась перед задачей — полностью на месте обеспечить питанием самоё себя и свою промышленность. А это значит, что, уменьшившись в объеме, Челябинская область должна была резко увеличить разнообразие производимых ею продуктов. И здесь мы подходим к очень интересному факту: к несомненной общности тех процессов, какие произошли от одних и тех же причин за время войны — и в уральской промышленности, и в уральском сельском хозяйстве.

Казалось бы, трудно сравнить огромный разворот тяжелой промышленности

на Южном Урале за годы войны с стоянием уральского сельского хозяйства. Там дома задувают, целые новые комбинаты воздвигли, дорогу электрифицируют, творят чудеса техники, изобретательства, новых методов труда. Здесь пространство как бы задушило человека, не хватает механизмов, запасных частей, энергии, инструмента, поля засорены, многое просто напорчено, не осилено. И все-таки те же самые могучие силы, которые разворачивали и двигали вперед нашу промышленность, — они неизбежно пробивают себе дорогу и в сельском хозяйстве Южного Урала; те же самые закономерности, какие выявились в тяжелой индустрии, — они проступают и в сельском хозяйстве. Прямая пропорциональная связь, — надо только научиться видеть ее, научиться подмечать ее первые, пусть еще очень слабые, но реальнейшие ростки.

Все знают у нас, как трудные военные условия и предельное напряжение на уральских заводах привели рабочих к рационализаторству, изобретательству, росту технической культуры. Совершенно так же более трудные условия и необходимость предельного напряжения в колхозах резко потянули уральское сельское хозяйство к интенсификации и росту агротехнической культуры. Задача накормить свою область, накормить собственную выросшую армию рабочих, занятых на старых и новых заводах, эвакуированных и построенных за войну, и накормить ее при меньшем числе рабочих рук в колхозах, при сократившемся тягле, при поредевшем, изношенном машинном парке, нехватке людей и материала для ремонта, при невозможности завоза овощей со стороны — эта задача заставила челябинцев, как никогда раньше, задуматься над «профилем» своего района, над созданием своего овощеводства. И экономика области начала резко изменяться. Раньше из 34 челябинских районов только 7 были пригородными, да и то с недавнего, сравнительно, времени, с 1937 года, когда Магнитогорск потребовал своих овощей. Сейчас, с 1944 года, уже 22 района переведены на положение пригородных и только 12 районов осталось в зерновых.

Стать пригородным для слабого сельского района — это значит обух перешибить, трудность победить еще больше трудностью. Для пригородного района, снабжающего промышленный центр, мало быть только хлебным, он должен быть овощным, картофельным, мясным, молочным, садовым.

Когда картофель в дни войны вошел в наш индивидуальный быт, вооружив нас лопатами и тяпками, то для нас это было в своем роде опрощение, приближение к земле. Но когда картофель и овощи вхо-

дят в колхозный быт, то для плохого колхоза это — о с л о ж н е н и е и приближение к культуре. Огородное богатство более трудоемко, нежели полевое, оно неизбежно тянет за собой технику, механизацию, требует собственной поливки, машин, электрической энергии, а значит — заботы о севообороте, о травосеянии, о семенном хозяйстве. Но для колхозов выгоден этот «обух», перешибающий обух. Он открывает перед ними перспективы, выводит их на рынок, поднимает их зажиточность, укрепляет их. И вот почему в труднейших условиях малолюдия, страшного недостатка механизмов мы видим, как южноуральские колхозы, усилив для себя трудности, переходя от более легкого к более сложному, начинают совершенствовать свое хозяйство и идти вверх. Потянувшись в деревню от завода электрический провод; возникли в нескольких районах искусственные поливки; агрономы всерьез «устроили» землю — на полях появились колышки, отмечающие, какой участок идет под яровые, какой под пар, под траву... Сколько лет мы говорим про севообороты — и вот только сейчас, после напряженных четырех лет Отечественной войны, он становится здесь, на Урале, подлинной реальностью!

Пусть всё это еще слабые росточки; пусть их немного на фоне общего нелегкого положения, но именно эти росточки диктуют сейчас, по ним строится работа, они дают меру и оценку вещей, в них проявляется ведущая тенденция нашего сельского хозяйства, его направленность в будущее. И правильно поступило челябинское руководство, когда, готовясь к битве за урожай, сделало ставку именно на эти передовые начала, не убоившись ни внешней их слабости, ни малочисленности.

## II. НА ПЛЕНУМЕ

В большой зале обкома идет расширенный пленум. Плечо к плечу, здесь собраны те, кому предстоит завоевать урожай, убрать и помочь уборке: секретари райкомов, лучшие председатели колхозов, директоры МТС и совхозов, парторгизаводов. Дни считанные, за окном хмуру: несколько недель, не переставая, шел дождь. Дороги он сделал непроезжими, помешал сенокосу, грозит картошке и овощам, задерживает созревание хлебов. Кажется, ни один капитан корабля не прибежал так часто к барометру и к «бюро погоды», как эти люди, собранные здесь в зале. И, все-таки, — стоило кому-то, выступив, неуверенным голосом сослаться на дождь, как в зале зашумели. Выступавший обидчиво огрызнулся:

— А ведь все-таки факт, льёт как из ведра, пойдика покоси!

— И тем более покошу! — отвечает с места чей-то неумолимый бас.

Чувствуется, что люди окрепли на сопротивлении трудностям, привыкли к их преодолению. И, как бы откликаясь на это выросшее в людях самоуважение, на это желанье глядеть в глаза правде, доклад первого секретаря беспощаден. Негромко, сдержанно, около трех часов льется его речь, анализирующая положение таким, как оно есть. Не упущена ни одна слабость, ни один недостаток, — и, несмотря на суровость общей картины, — или, может быть благодаря ей, речь воспринимается вами, утверждается в памяти, как вершина ярчайшего оптимизма. Даже метод критики заражает вас оптимизмом. Вместо удара по наихудшему району, докладчик оставляет его в стороне и неожиданно открывает огонь по среднему району.

Секретарь этого района, сидевший за табличкой своих, средне-благополучных цифр, как в классе сидят за «тройкой», с чувством некоторой личной безопасности, делает от неожиданности невольное движение. И вы видите, как алая краска заливает шею секретаря, как вспотели его виски. Эта критика, направленная не на самое плохое в своей области, а на среднее в своей области, сразу дает как бы ключ к предстоящей работе, она устанавливает высокий критерий. Людям становится видно, что недостатки среднего района — непростительные недостатки, потому что район имеет больше возможностей победить эти недостатки, не иметь их, не мириться с ними. Тяжелые, «плохие» районы, привыкшие, чтобы их всякий раз критиковали, удивлены. Вы ищете глазами работников этих районов, хотите заглянуть им в самую душу, развинтить ее по винтику и, встретившись с чьим-то изумленно беспокойным взглядом, спрашиваете себя: что происходит, когда самый слабый слушает, как критикуют среднего? Не мелькнет ли у него озорная мысль: «А вот возьму да и перекрою битый средний район!» Ведь не даром же позднее, в прениях, секретарь Кизильского райкома Липатников признал, что в его районе «отстававшие колхозы в этом году идут вперед», а Баландин, секретарь Чебаркульского райкома, и еще крепче выразился: «Передовыми колхозами в этом году оказались как раз те, что были самыми отстающими в прошлом»... Плохие, перепрыгнув средние, сразу вышли в лучшие!

Удивительная земля Южный Урал. Она лежит, как летопись, позволяя читать себя по одним названиям. Вот деревни — уральские, искони русские, но какие у них имена! В Челябинской области есть Париж, Лейпциг, Берлин, Тарутино, Балканы, Харьков, Полтава, Бородино, Порт-Артур, Чернигов, Варшава... Есть и не

такие еще чудеса: вот районный центр, средоточие всего большого района, с названием, которое попробуй-ка выговори сразу, разберись в нем: Фершампенауз! Откуда, почему? С какой стати Фершампенауз в Челябинской области, напоминающий, если переводить с французского, и бассейн реки Уазы, и поля, и железо. Но хорошо, что эти чудачковатые названия не переименованы, остались, не стерты с карты и с лица земли, потому что они говорят и напоминают многое о многом. Были войны, русские войска завоевывали бессмертье в подвигах, они брали города, чужие, на чужой земле, но взятые города лепились к знаменам полков, к имени полка. Приходили враги и были с честью отбиты из пределов родины. И были поражения, на которых учился русский народ и которые заставляли его зорче глядеть туда, откуда грозила опасность. И вот бойцам славных былых походов, офицерам, казакам, давали на богатом, глухом Урале, далекой земле, где только облака гуляли в небе да листва в траве — угодья жирной, плодородной земли. Владельцы называли ее именем, отпечатлевшимся в памяти. Так рождались здесь Парижи и Берлины, так возник, — памятью с пораженьем, — Порт-Артур. Сюда шли переселенцы из густых русских провинций, из бедной, трудолюбивой Белоруссии с ее трудной землей, болотами, песками. Шли ссыльные поляки, украинские крестьяне после 1905 года несли с собой вечную любовь к белой мазанке-хате, к душистым травкам на полу, на стенках, к вышитым рушникам в углу под киотом. Так рождались здесь Мински и Черниговы, Варшавы и Харьковы... Но рождались не только имена. Люди тяжелым трудом поднимали целину, и потомки казаков, солдат, переселенцев, революционеров — становились крестьянами, хлеборобами, а потомки потомков их стали советскими людьми. Замечательный сплав получился — уральские люди!

Плоть от плоти и кость от кости этого сплава выступали на пленуме. Один за другим на трибуну всходили командиры районов: чебаркулец Баландин, белокурый, подтянутый, светлоголовый, типичный уралец, Богатырь — косяя сажень в плечах, — но с лицом «красной девушки» и с застенчивыми добрыми голубыми глазами — Раков, белорусс, секретарь Миасского райкома. Комсомолец в каждом движеньем, в задорной шрядке на лбу, в ораторском поджиганье губ после каждого абзаца — драчливый и напористый Нязепетровский секретарь, Александров. Вдумчиво-медленный, с узкими щелчками глаз на круглом и темном лице — Назмутдинов, секретарь трудного района, Полтавки. И Чесма, знаменитая Чесма, — крепкий, бронзовый, в тугой гимнастерке, словно отлитой на его массивных плечах,

Френкель, секретарь Чесменского райкома, вытацивший в прошлом году свой район, один из самых отстающих, на передовое место... Всем им дела суровый смотр докладчик, и все они, с такой же суровостью делают смотр своему хозяйству — горючему, рабочей силе, механизмам.

С горючим обстоит на Урале очень напряженно, а главное — не совсем организованно. Погода здесь капризна, сроки посева и уборки колеблются; в этом году, например, из-за холодов сеять пришлось на две недели позже обычного, а потом шли долгие дожди, отодвинулся сенокос, и к осени сразу нашли друг на друга множество работ. При таких капризах погоды надо всегда иметь про запас горючее, готовить его заблаговременно, а между тем ни Главнефтьснаб, ни директора МТС не подошли к этому по-настоящему серьезно. Область жалуется на Главнефтьснаб: систематически опаздывает, не досылает, заставляет простаивать, ждать. Уполномоченный Главнефтьснаба оторазживается цифровой сводкой: сколько следовало, столько нефти и было отпущено. В ответ несутся возгласы с мест: да, но когда отпущено? По старой поговорке «дорого яичко в пасхальный день», а тут, когда нужно горючее — нет горючего, а когда время потеряно — оно подвозится. Но оказывается, что в слепом выполнении цифры завоза, без точного учета сроков, виноват не один уполномоченный, виновато не одно запоздалое поступление нефти. Облисполком не вел тщательного цифрового учета надобности и потребления нефти по конкретным сезонам и местам потребления. Нет цифр — нет их в обло, неизвестно, почему не удосужился иметь их уполномоченный Госплана. Во-вторых, — сами директора МТС не без вины тут. В конце работ, когда делается подсчет работы горючего, есть у некоторых директоров соблазн: проставить у себя остаток горючего. Думает он: работы кончены, с нового сезона — и учет новый, а за экономии горючего получу благодарности, оно и ладно... И директор «невинно» проставляет несуществующую цифру остатка, хотя на донышке от горючего — только грязная гуша. Но этот расчет на похвалу — воспитывает обманчивый расчет и в снабжающих организациях; там думают: сэкономил, — молодец; значит, при случае, когда выйдет задержка, он перетерпит.

Урок этого года не должен пройти бесследно для области. На войне у каждого солдата есть так называемый «неприкосновенный запас». В борьбе за урожай должен быть незабываемый запас нефти и у каждой южноуральской МТС.

Не лучше как будто и с механизмами. В области, насыщенной металлом и заводами, нехватает у огородников тяпок, нет простейших орудий — окучника, граб-

лей; в области, где создан был кра-савец-завод, Челябинский тракторный, — нет частей для тракторов, и если они есть, то лучше б их не было: «цилиндры ЧТЗ — брак!», — говорит один оратор. «Ступицы звездочек, ведущих к ЧТЗ, делают из чугуна вместо стали, хрупки, рассыпаются при первом же трении», — вторит другой. «У лобогреек изнашилось ходовое колесо, а попробуйте-ка, найдите ходовое колесо, — в результате сотни лобогреек стоят, — восклицает третий. «Сортировки нам дают непрочные, хватает их на полкилометра, не больше», — деловито подтверждает четвертый. В каждом выступлении слышится эта жалоба на нехватку вооружения, на недоброкачественность его, — нет влагомеров на заготовительных пунктах, не знаешь, как определить влажность зерна при его сдаче; невозможно найти такую дефицитную вещь, как коленчатый вал; купишь весной полольник за четыре тысячи рублей, а у него растяжная тяга не работает, болты заржавели; есть в колхозе лошади, нет телеги; и — главное — нет запасных частей для комбайнов, нет полотен хендера, цепей Галля «шаг 25»; вместо деталей — посылают полуфабрикаты, и ты их изволь сам доделывать у себя.

Как раз к пленуму в Челябинске открылась выставка ширпотреба, точнее — всех необходимых для гражданского потребления предметов. Мы прошли ее вдоль и поперек в поисках сельскохозяйственных машин. На четирах этажах школы, в просторных классах собрались заводские цехи и урсы (тут, на Урале, они «урсы»), мелкие артели и крупнейшие комбинаты, отдельные города и номерные заводы, легпромы и спецторги. Меж кадками искусственных пальм, букетами увядших цветов, коврами на круглых столиках, где каждая организация выставила, по мере своих достатков, величественные альбомы в переплетах картонных, кожаных и бархатных для записи впечатлений посетителями, — приютились экспонаты.

Сверкает сталь больших, на упругих сетках, магнитогорских кроватей; висят на стене изысканные злагоустовские нержавеющие ножи и вилки; белым и красным цветом, без блеска, матово глядят витрины завода № 4, где из органического небыщегося стекла, легкого, как щепотка сена, разложены рюмки и чашки, портсигары и ручки, письменные приборы и пепельницы, хранящие какую-то чопорную угловатость своих странно-недвижимых неотбегаемых форм; развернул веером свои добротные нитролаки, — цветные лакированные образцы, — завод № 34; тикают круглые, крупные часы в стальной оправе, — опять Златоуст; черным миром фигурок, исполненных движением, — кони, олени, бойцы, охотники,



вскинутые копыта, склоненный клык кабана, стремительный поворот длинного жерла орудия с танка, — раскинулось каслинское литье, мастерство старинное и уважаемое... и странно видеть, как много движения в тяжелом чугууне, и как много неподвижности в легком, небьющемся стекле. Все это экспонаты свои, уральские, имеющие за собой или долгую традицию, или нелегкую историю освоения за период войны...

Но где же, где здесь самое нужное, где оружие для новых мирных боев на полях — машины, орудия сельского хозяйства? В огромном помещении выставки, на четырех этажах, одиноко потерялись — длинная ручка планетки, зубы топорно сделанных граблей, колесо, лейка. Крупнейший завод, отец уральского трактора, выставил капканы для волков. На этикетках цифры запланированного и изготовленного фактически: неутешительные цифры, изготовленное далеко отстает от плана. А ведь уж осень, началась выборочная косовица, предстоит наступающий великий бой за хлеб.

Искусство тронуло бессмертным жезлом великие минуты перед битвой, когда бойцы чистят, проверяют, осматривают свое оружие. В «Полтаве», в «Бородине», в «Войне и мире», в «Тарасе Бульбе», в «Капитанской дочке» сохранились для нас эти минуты, озаренные ночным костром бивуака, пронизанные ржаньем коня, минуты, когда осматривается «пушечка» на крепостном валу, точится кривая казачья сабля... А сколько написано горького о нехватке вооружения в царской армии, о том, как шел русский солдат брать крепости «голыми руками», с одним патроном на пятерых. И после, когда война заканчивалась, рассеивался пороховой дым на полях, убирались трупы в землю, на миг останавливалось время и начинало, как будто, идти медленнее, словно тоже отдыхая в своем течении после войны — вот здесь, в одном из этих краев, богатых железом и доменами, родилось выражение «переход на мирные рельсы». Крылатый русский язык здесь словно обескрылился. Он не взял ни метафоры, ни образа, а просто четыре обыденных слова, в буквальном их смысле: производил завод боевую сталь, предметы военные, сейчас опять переходит на продукцию мирного времени, на «рельсы»... Так же можно было бы сказать «переход на кровельное железо». Только время, пособник искусства, сдвинуло буквальный смысл этих слов в метафорический смысл, перевело их из заводского отчета в художественный образ.

Когда на пленуме обкома люди выходили и осматривали свою «технику», то мы в зале невольно думали: устарело выражение, нет в нашем обществе «мирных рельс». Одна битва сменяется другой

битвой, один вид вооружения — другим. Правда, переход с военной продукции на мирную тяжел и труден. Снова должно повернуться само основание производства, металлургия, начал отливать товарный металл; за ним — войдет в цеха все сложное многообразие мирных предметов... Но нет, не мирных! Директоры заводов, начальники цехов, члены веческих артелей должны втянуть в себя воздух полей, как дыхание нового фронта, увидеть огни полевых бивуаков, почувствовать, чем живет и за что борется сейчас советский человек на полях, чтобы перенести свою требовательность, свое чувство качества, возросшее за время войны, — на сельскохозяйственную машину. Здесь нужен не только технологический, но и большой психологический поворот. И на пленуме этот упор на качество, это требование психологического поворота были уже ясно ощутимы.

### III. ИЗ МИАССА В ЧЕСМУ

Зеленый маленький «виллис», похожий на кузнечика перед прыжком, срывается с места, чтобы вынести нас из городской пыли и камня на мягкую земляную дорогу. Природа принимает вас neodолимой лаской. Ветер гонит на вас волны одуряющего аромата. На языке у вас — вкус земляники, слобренный горьковатой польнюю. С межнейших белых россыпей медуницы, с мохнатого донника гулко срываются тяжелые пчелы, вонзаясь в воздух тонким штопором своего немолчного жужжанья. Что ни поворот, то новая выдумка природы: встреча с горным хребтом, кудрявым, под мелкой, карликовой вишней; уход в черную глубь леса, где сосна чистая, раскидистая, с ветками до земли; взлет на высоту холма, за которым необъятные долины, до горизонта, а потом вдруг ущелье, и «виллис» храбро пересекает изумрудную речушку, прозрачную, как горный кристалл, или, обогнув золотисто-зеленые заросли, врывается на берег синего озера. Лежит озеро в полном одиночестве. мелкие волны набегают на песчаный бережок, чмокая, — словно стриж в траве, качаются на воде розовые кувшинки, ни души, ни дымка, ни следа ноги на песке, — время остановилось. Такими бывают сны в ранней юности. И кажется, ничего лучше в мире нет, как этот маленький «виллис», открытый с двух сторон ветрам, и воздух, в котором купаетесь вы, и мир, несущийся вам навстречу в его неповторимом разнообразии. Уйти в это движение вперед — и никогда не возвращаться!

Так пересекли мы в течение нескольких дней, делая нескончаемые зигзаги и петли, чтоб заглянуть в каждый район, в каждое колхозное поле, — всю Челябинскую область, с севера на юг, из горного,

лесистого Миасса, где царствует огород, в степные просторы Чесмы, где диктует зерно.

Центр Миасского района — еще недавно город Миасс, а сейчас большое село Кундравы полурыбачьего типа. Вы к нему спускаетесь вдоль выхоленных долин, со всех сторон, как по краям чайного блюда, окруженных холмами. Сперва на горизонте свинцовая полоска, потом открывается большая спокойная водная чаша, и что-то вроде черных крыльев ветряной мельницы над ней. Это стоит гребец на очень узкой лодке. Он держит в руках единственное весло с двумя лопатками на каждом его конце и, делая округлые движения то одним, то другим концом, гребет, как венецианский гондольер. Улица топкая, едем по самому берегу, мимо избушек с рыбацкими сетями на заборах, мимо опрокинутых лодок и ребятишек, спнувших по воде, подвернув высоко штанишки. Пахнет водой и особым речным запахом, — линью, окунем, карасем, мелкой болотной рыбешкой, запахом, так не похожим на мясистый дух крупной рыбы. Подъем наверх, и по немощеной главной улице — здание райкома в два этажа, с красивым кабинетом, воздушными занавесками на окнах, обязательными на Урале предметами каслинского литья на столе и прибором из полированной яшмы, а света нет: на тарелке истекает керосином старая небольшая лампа. В Миасском районе 25 колхозов, 1 зерновой совхоз, золотой прииск, территория знаменитого Ильменского заповедника. — но промышленность отошла вместе с выделенным городом Миассом в ведение миасского горкома. Раньше название «Кундравы» казалось вам чем-то мифическим. Заехав на станцию Миасс, вы могли посетить музейчик, где, между прочими случайными предметами, встречала вас странная деревянная фигура голого Христа в сидячей позе, в человеческий рост, ярко и неприятно раскрашенная. Это — так называемый «кундравинский бог», своеобразное творчество деревенского скульптора из села Кундравы, когда-то предмет спекуляции местного духовенства, якобы открывшего эту «нерукотворную статую» в одном из крестьянских дворов, а сейчас — экспонат музея. Так вам впервые становилось известным село Кундравы, и вы его представляли себе по чему-то лесной глушь, вроде тех кержащих лесов со скитами, какие описал Мельников-Печерский. Но сейчас, с перенесением сюда районного центра, большое, просторное село Кундравы сделалось известней, и ездят сюда чаще, хотя лежит оно далеко от железной дороги.

Высокий, — косая сажень в плечах, — Николай Филиппович Раков, секретарь миасского райкома, тот самый белорусс с лицом красной девушки, о котором я упомянула выше, — подсел к нам в наш ма-

ленький «виллис», вернее — встал на приступку, чтоб показать свой район. Сгибаясь всей своей исполинской фигурой при толчках и поворотах, он главным движением указывал то направо, то налево. Мы — словно в сад — въехали в залитую вечерним солнцем долину, с огромными, позлащенными закатом массивами картошки, грядками капусты и помидоров. Как-то невольно вспомнилась Швейцария, где все поля кажутся пригородами, где даже пшеница как будто в саду растет. Это — один из лучших пригородных уголков области, колхоз им. Десятилетия Октября. Тридцать семь лет назад группа переселенцев-белоруссов переехала в Сибирь. Но Сибирь показалась белоруссам слишком суровой, и они отрядили, уже в советское время, ходока на Южный Урал. Ходок поехал, облюбовал эту долину, и в 1927 году в ней образовался колхоз, а ходок, Исаакий Иванович Синаков, стал его бессменным председателем. — «Если бы все у меня работали, как они, я бы горя не знал», — говорит Раков — сам выходец из этой семьи переселенцев.

«Виллис», фыркнув, остановился возле крепкого «проволочного ограждения». За ним — стеклянные стены низенькой оранжереи. Кряжистый старик выходит к нам навстречу с мелко-кудрявой, осеребрённой, вскинутой вверх бородкой; с крупно-кудрявой головой; с крупным бледноватым лицом в испарине и ветвистыми, — словно дуб пошел на вас, — большими, длинными руками. Зовут его Кирилл Адамович Лапа, он бригадир овощной огородной бригады. Видно, что Кирилл Адамович любит показывать свое царство, тем более — посетители сюда редко заглядывают. Он не просто идет по грядкам, а раздвигает густую ботву, показывает, как у него прополотое, как окучено. Косые ромбы кустиков помидоров, словно на грифельной доске в классе, он обвел перед нами восьмью пересекающимися линиями, чтоб продемонстрировать геометрию такой посадки: восемь раз можно обойти куст планеткой. Пока мы ходили по грядкам, кто-то, неслышно приблизившись бо-сьими ногами, тронул меня за рукав: «Иди, посмотри нашу работу!» Пожилая белорусская крестьянка, только что закончившая прополку, стоит перед нами; за нею на земле, сложив тяпки, сидит бригада старух — восемь женщин. Все они в возрасте первых переселенцев, цвет колхоза, старшее, выдавшее виды поколение, поднимавшее здесь целину, крошившее своими руками, облившее потом каждый густок нетронутой земли. Огромное, чисто прополотое картофельное поле растилось перед нами.

— А ну, назовите сами лучшую работницу в бригаде! — сказал кто-то из нас, обладатель карандаша и блок-нота. Сперва никто не хотел говорить. Потом выступи-

ла одна, помоложе, и, указав пальцем на ту, что была всех старше, сказала нам: «Вот ее запишите, Пелагею Михайловну Беренкову — она самая лучшая». Мы взглянули на Пелагею Михайловну, старушку с крупным, как из глины вылепленным красным лицом, обожженным на солнце, с реденькими седыми волосами на розовой коже, гладко прибранными под платок. Была ли она самая лучшая или ей тяжелее всех пришлось в жизни, но только она разволновалась от удовольствия, отмахнулась, смеючись, и вдруг всё лицо ее, как было, потное, обожженное, осыпалось неожиданными росинками мелких, набежавших сквозь улыбку слез. Никак нельзя было после этого не перечислить и всю бригаду. Вот они: самая молодая, Федора Куприяновна Синицына, и самая старая, Пелагея Михайловна Беренкова, а между ними по возрасту Анастасия Ильинична Дубровина, Татьяна Пахомовна Лапина, Марья Анисимовна Антипова, Софья Трофимовна Лапина, Марфа Кондратьевна Клеменкова, Христина Ахатовна Домаренко, Федора Васильевна Лапа. Видно, преобладает род Лапиных.

Покуда мы знакомились и пробовали маленькие бледнорозовые помидоры из оранжереи, упал вечер, потемнело сразу, по-ураальски, и сразу же стало свежо, как в позднюю осень. Ночь приглушила запахи, обострила и выдвинула звуки. Мы двинулись все вместе, мимо взлаившей собачонки, к ночлегу.

Сколько этих ночлегов было у нас на пути! Мы ночевали в крестьянских квартирах секретарей райкома, где такое же, как в колхозах, домовитое хозяйство, корова, огород за плетнем, красный язычок керосиновой лампы.

Нас водили ночевать в заводскую гостиницу в Чебаркуле, — маленький, чистый домик с опрятными железными кроватями и неизменной геранью на столах, крытых тюлевыми скатертями. А земля — от ночлега к ночлегу — всё бежала по сторонам, неуловимо меняясь, отходили на север горы, редела леса, всё шире, шумнее, колосистее открывалось поле. И под конец путешествия мы очутились на юге, в Чесме.

Большое село, далекое от железной дороги и шоссевого тракта, в безлесной степи, почти без садов; широкая площадка перед зданием клуба, с одиноким столбом «гигантских шагов», вокруг которого с визгом кружатся-летают дети; «гигантские шаги» — словно символ для всего района, так много здесь пространства, такая ширь вокруг, такой поступью нужно шагать, чтоб быть вровень с этим пространством, еще не вполне освоенным человеком. Чесма не добавала государству из года в год. Не так давно секретарем Чесменского райкома — бывший работник политотде-

ла Юлий Маркович Френкель. Он вывез Чесму. Чем? Это нужно увидеть на полях. По всей области находили мы колышки — следы проведенного севооборота. Но в Чесме на полях, кроме этих колышков, есть и другие, с табличками, где аккуратно написано «за это поле ответственно бригадир такая-то». Поля потеряли здесь свою обезличку. Прежде чем познакомиться с людьми, увидеть их в лицо, вы читаете и запоминаете их фамилии и видите за фамилией дело рук человеческих, поле, в различной степени выхоженности, засоренности, чистоты.

«У меня принцип — я никогда не меняю людей в колхозах. Если работник плох, я его поправляю, добьюсь, чтоб он стал хорошим. А хороший работник у меня не теряется, не может не быть замечен, — и это дает большой результат. Во-вторых, машины, — я над тракторным парком стоял, как над собственным ребенком, ежечасно следил и проверял. И в-третьих, в свое время получают колхозники, что им полагается. Никогда не промедлю срока выдачи. Люди чувствуют, что им стало легче, лучше, дорожат этим, не хотят спуститься с достигнутого». Так рассказывает Френкель, пока мы объезжаем бесконечные поля его района.

Здесь, в Чесме, мы встретили «глубинки» — несколько домов на отлете, свежесте побеленные здания складов, — и я впервые узнала весь парадоксальный смысл слова «глубинка». Она представлялась мне чем-то очень глухим, далеким от всех проезжих дорог, задвинутым в глушь. Но оказывается — самое глухое и далекое село, если оно вывозит зерно в район на собственном транспорте, это еще не глубинка. А «открыть глубинку» — значит разрешить колхозу оставлять государственное зерно на хранения в собственных складах, пока за ним не заедет Заготзерно и не вывезет его своими силами.

Выйдет ли Чесма и на этот раз победительницей? Должна выйти, как должны выйти и другие зерновые районы области.

Мы раздвигаем руками пышные хлеба, почти в рост человеческий. Секретарь обкома, он же водитель нашего «виллиса», Иван Васильевич, — сам агроном, и помощник его — тоже агроном; им всё надо оглядеть, перещупать, обменяться негромко словом-другим, размять на ладони зернышко озимой ржи и попробовать его на язык. Хлеб начинает дышать и различаться под их взглядами и словами. Вы, городской человек, следя за ними, понимаете, где хорошо, где плохо. И в пшенице начинаете смыслить, — усатой и безусой, той, что пойдет на хлеб, и «макаронной» — толстой, твердой, уместно бьющей вас по руке. И узнаете, — впервые может быть, — что и перловая крупа это особый сорт пшеницы... Урожай яровых в общем хорош по всей области. Озимую

рожь многие колхозы сеяли по стерне, — воплощая в жизнь новую гениальную идею Лысенко. Кто соблюдал при этом все указанные им правила, тот получил урожай любо-дорого, «даровой хлеб», — негромким своим добрым голосом говорит Иван Васильевич.

#### IV. УРОЖАИ НА СТЕРНЕ

Когда вы спрашиваете в закавказских республиках агронома, как это так вышло, что за время войны, в обстановке более трудной, более сложной, при отсутствии достаточного количества рабочих рук, нехватке машин и горючего, Закавказье сумело превратиться из страны, потребляющей ввозной хлеб, в страну, производящую и вывозящую хлеб, — агроном обычно ответит вам: «тут много помог и озимый клин». Весна в горах капризна. В Армении град, величиной с голубиное яйцо, побивает весенние посевы чуть ли не ежегодно. А озимый клин, который начали вводить и расширять в годы войны, обеспечил и более устойчивый урожай и сыграл немалую роль в поднятии культуры земли, в проведении севооборота.

Но в Закавказье тесно, мало места для хлеба, там, что называется, «хлеб не главная тема». Для степных же равнин Сибири, лесостепных просторов Урала и, особенно, Южного Урала, Северного Казахстана, где хлебу не тесно, где тучная удивительная земля, где сильное солнце — той силы радиации, какую знает лишь короткое континентальное лето в Азии, где воздух сух и прозрачен до боли в глазах, небо — чистоты необычайной, и солнечный луч падает на землю, не ослабленный и не смягченный давлением влажной атмосферы, — словом, в огромных, неохватных просторах нашего Востока, хлеб — одна из «главных тем», большая тема. Мы тут — в восточной житнице всей великой нашей родины. И при здешнем капризном климате, изменчивой весне с неожиданно-резкими похолоданиями и очень засушливом, а иногда и чрезмерно мокрому лету — озимый сев, сев «под снег», мог бы сыграть очень крупную роль в балансе сельского хозяйства.

Между тем, с озимыми в Сибири и на Урале дело обстояло до сих пор очень плохо. Как ни тщательно готовили колхозники пар под озимую пшеницу, она почти всегда погибала. Лишь раз в 10—15 лет озимая пшеница давала тут урожай, да и то не очень завидный. Установилось мнение, что озимая пшеница погибает от вымерзания, не может перенести суровых здешних холодов. Ученые бились над выведением морозостойких сортов пшеницы, агрономы придумывали всевозможные способы обработки паров под озимые. Но пшеница продолжала погибать. Она погибала и в тех случаях, когда самые зи-

мстойкие сорта высевали в самый лучший пар. Дело казалось безнадежным...

Однажды академик Т. Д. Лысенко проходил по такому погибшему полю озимой пшеницы. Вокруг была южноуральская раздольная степь с темными барашками невысоких и густых березовых рощиц, сияло, как чистая бирюза, небо, бледное от слишком большого жара солнца, — а из-под ног, рядом с мертвым полем невыврошенной пшеницы, выбегала и уходила вдаль черная лента обыкновенной дороги, утоптанной людьми, лошаадьми и колесами. И вдруг на этой дороге, рядом с полем мертвой пшеницы, академик Лысенко увидел колос. Крепкий, наливающийся, здоровый и нормальный пшеничный колос кланялся ему по ветру, как живая душа, уцелевшая рядом с полем мертвецов. Зерна, упавшие в рыхлый пар, погибли; а зерно, упавшее на плотную землю проезжей дороги, взошло и колосилось. И эти зерна были родными братьями. Так дан был толчок для одной из плодотворнейших мыслей пытливого советского ученого.

Что это значило? Это значило, что дело вовсе не в вымерзании! Если налицо нормальное развитие зерна в тех же климатических условиях, в каких другие зерна погибли, то холод здесь явно не при чем. Так что же тут «при чем»? Неужели чистый рыхлый пар хуже для озимой пшеницы, чем плотная, убитая, неподготовленная дорога? И, если хуже, то почему хуже?

На все эти вопросы академик Лысенко дал ответы. В Сибири и на Урале в дождливую осень «пар» пропитывается большим количеством влаги, чем обыкновенная земля, и это понятно: он пористый и губчатый. В местах кущения зерна, то есть там, где зернышко дает уже кустик ростков, влага скопится еще больше, стекаясь туда, как в ямку. Когда сразу ударят морозы (чудесная точность русского языка в этом выражении — «ударил мороз»), то большие поры земли, заполненные влагой, застывают в крупные куски льда. И эти кристаллы льда, при весенне-летнем таянии, механически разрывают почву, ломая и разрывая вместе с нею и хрупкое растение. Таким образом всходы озимой пшеницы погибают здесь не от вымерзания, а от механической травмы. Чего не доделает лед, докончат пыльные бури. Ветер здесь огромной силы, он несется по незащищенному, рыхлому полю озимых, сдувая его верхний слой, побивая уцелевшие всходы тучей пыли и земляных частиц. Так, идеальные культурные условия, создаваемые для озимых посевов, неожиданно становятся причиной их гибели.

Но почему уцелело зерно на дороге? Да потому, что в плотной почве не было больших пор для образования крупных кристаллов льда, не произошло и резких

разрывов почвы при таянии. И тут, как логический вывод, у академика Лысенко блеснула практическая идея, смелая, новая, ошеломляющая: если так, то не попробовать ли тут сеять озимые хлеба — не в чистые пары, а прямо по стерне? Можно сказать, что в земледелии не было более смелой и — добавим от себя — более потенциальной мысли, чем эта мысль, приведенная в исполнение в самые напряженные годы Отечественной войны. Пусть только ясно представит себе читатель, о чем идет речь. Пар — это вспаханная, очищенная, подготовленная земля, лежащая круглый год на отдыхе, — под паром, — отдавая теплое дыхание своих взрыхленных и перевернутых недр солнцу и утренней росе. Стерня — это отражавшая земля, с которой осенью только что скосили хлеб. Неприглядна и угрюма стерня, не дышит, лежит, как плохоб обретающая щика, вся в желтых, «недобритых» кончиках острой соломки, в сухих, безжизненных корешках снятого хлебного колоса; ходить по ней больно, то и дело наколешься, а глядеть на нее — неутешно, как и на все, уже исчерпанное, сделавшее свое дело и нуждающееся в большом добавочном труде человеческом, чтобы снова ожить и пригодиться.

На Южном Урале, при годовом плане посева под озимые в сто восемьдесят тысяч — двести тысяч гектаров, эти посевы озимых производились на чистые пары. А так как они большею частью погибали или давали очень незначительные урожаи, то значит мы жертвовали 200000 гектаров лучшей земли, огромными пространствами дышащих, отдохнувших, тучных паров — по сути дела почти ни на что, на заведомо небольшой результат. Между тем мы можем эту лучшую землю отдать под лучший культурный сорт хлеба — под яровую пшеницу, а озимый клин, ни в коем случае не уменьшая его, а местами и увеличивая, сеять прямо по отработанной земле — по стерне.

Застрельщицей этого необычайно смелого дела выступила Челябинская опытная селекционная станция в лице своего ученого агронома В. И. Дидусь и директора Н. С. Фролова. В напряженные дни осени 1942 года они посеяли для сравнения озимую пшеницу на участке в 34 гектара удобренных паров, а рядом, на участке в 23,7 гектара — по стерне. И озимая пшеница взошла, дав на парах средний урожай в 3,3 центнера с га, а на стерне в 14,1 центнера с га, то-есть по стерне в 4 раза больше, чем на парах! Не успокоившись первым опытом, селекционеры повторяли его каждую осень последующих лет. Результат стойкий: урожай пшеницы на стерне или выше, или такой же, в зависимости от того, раньше или позже удалось провести сев.

Хуже обстоит дело с озимой рожью, урожаи ее на стерне ниже, чем на парах, но и тут посев на стерне может дать до 14 центнеров ржи с га. Опыты Челябинской селекционной станции вскрыли все слабые стороны посева на стерне и уточнили условия, при которых слабые стороны могут быть преодолены.

Прежде всего, конечно, надо помнить, что речь идет о Южном Урале, Сибири и части Казахстана и ни о каких других местах нашего Союза; посев по стерне — вещь географически строго обусловленная. Затем, во избежание избытка сорняков, которые растут на стерне вместе с озимыми, надо брать стерню из-под хороших яровых паров, обязательно почистить ее конными граблями, удалить крупные сорняки, особенно — полынь. Не все «предшественники» одинаково благоприятны для посева на стерне, — предстоит еще серьезное изучение микрофлоры, создаваемой каждым предшественником, и в соответствии с этим — их выбор. Главное же — это требование, предъявляемое к уборке яровых: успех посева по стерне во многом зависит от чистоты уборки яровых культур, и здесь новый принцип озимого сева является фактором, подстегивающим общую культуру уборки, то-есть фактором, по существу — прогрессивным.

При соблюдении этих и ряда других условий, например, условий, позволяющих сеять озимые по стерне как можно раньше (уборка яровых в начале восковой спелости, использование стерни из-под раннего сева яровых и ранне-спелых сортов); условий, ускоряющих чистку стерни (требование от комбайнеров, чтобы при уборке яровых прикрепляли к комбайну легкие квети, убирали в них солому и свозили к краю поля); условий метода сева озимых (дисковыми тракторными сеялками) и др., — при неременном и точном соблюдении всех этих условий, Челябинская селекционная станция берет на себя смелость утверждать, что:

1. на Южном Урале озимые можно сеять только по стерне,

2. а пары — оставлять под яровую пшеницу.

Ветер гонит нас чешуйки желто-пепельных волн. Они бегут, блестя на извилах, и вдруг обрушиваются на нас твердыми, тугими толчками, — это волны озимой ржи, поспевающей на стерне. Достает она в вышину до пояса, сидит густо и кажется на первый взгляд чистой, нормальной рожью, посеянной обычным способом. Но взглядишься и видишь между стеблями зеленые поросли сорняков. Они невысоки, сверху их незаметно, более могучий «ржаной коллектив» угнетает сорняки и почти побеждает их. Если скосить рожь вот по этот пояс, густой и чи-

стый, то сорняки останутся на земле не скошенные. Почти без всякого приложения труда, словно первый человек бросил в землю первые полученные им семена злака, взшло и колышется перед нами бесконечное поле культурного растения.

Большая мягкая рука агронома бережно раздвигает колосья — мы хотим поглядеть самое стерню, эту небритую щеку земли, где она, что с нею случилось, где старая солома? Она сгнила, истлела, пошла на удобрение, ее почти уже нет, лишь с усилием можно отыскать и вынуть сухую, обглаженную, легкую, как бумага, палочку старого стебля. Сейчас это уже почти земля, а осенью, когда между соломой по твердой стерне сеяли рожь, — эта солома и эти естественные колышки тоже сыграли свою положительную роль. Они послужили естественными снегозадержалками.

Поглядите зимой: стерня всегда выглядит более заснеженной рядом с чернеющими парами потому, что ветер легче сдувает снег с паров, нежели со стерни. Но, задерживая равномерно снег, более плотная почва стерни в то же время не дала образоваться и тем самым кристаллам льда, которые на открытых колхозных парах (не имеющих защитного лесного пояса) и ведут к разрыву почвы и озимей, высеванных на парах.

Удача в опытном поле — это лишь половина удачи. О ней заранее и говорить не стоило бы, если бы успех Челябинской селекционной станции уже не подтвердился на колхозных полях, и притом — не только одной Челябинской области. Озимые по стерне сеяли в Сибири и в Казахстане. В Омске 1 августа, в присутствии замнаркомзема т. Пензина, произошло агрономическое совещание о результатах посева на стерне. Вот что пишет ТАСС об этом совещании: «Главный агроном Омского облземотдела т. Каргополов на основании материалов обследования колхозов южных районов области показал

хозяйственную целесообразность посевов по стерне. Колхозы области в 1943 году засеяли по стерне 5.000 га, в 1944 году — 92.000 га. Хороший устойчивый урожай ржи получают колхоз «Красный овцевод» Молотовского района, зерносовхозы «Советский», «Коммунист» и другие. Те, кто сеял осторожно и ответственно, с соблюдением нужных условий, ходят именниками. Так сеяли колхозы Чебаркульского, Миасского, Еткульского, Чесменского и других районов. Возимях по стерне они получили добавочный, почти даровой хлеб.

Из Казахстана тоже идут подтверждения. Совхоз НКВД в Караганде уже третий год засеивает по стерне 10.000 га.

Это — лишь первые ростки большой идеи, замечательной не только своим практическим значением для нашего государства. В идее академика Лысенко скрыт огромный диалектический смысл, ярко, как вспышка молнии, освещающий плодотворное взаимодействие двух начал: культурного и природного. Не одичает ли в конце концов пшеница на стерне? Но прививка менее культурного начала к более культурному (органо-терапия) не ведет к «одичанию», а лишь «омолаживает» культурное начало. Надо только найти правильное взаимодействие, — и тогда в руках человека будет ключ к источнику вечно обновляемой молодости мира.

Южный Урал борется сейчас за первый послевоенный урожай, наредкость богатый. Борется всеми средствами, в том числе и наукой,двигающей вперед агротехнику. Мягкие, округлые очертания темных рощ, парящая в небе птица, яркое поле вокруг, где голубеет и осыпается голубым снегом лен, розовым мелким цветом колышется гречиха, где конца-краю нет всем видам злаков, всем оттенкам бегущей под ветром волны хлебов, — как хорошо это, как тянет, как зовет человека поработать, окунуться в благодатное бессмертие мирного труда на земле!

Южный Урал. Июль — август 1945 года.

# ЛИРИКА

ЮЛИАН ТУВИМ

Перевод с польского Ник. АСЕЕВА

★

## МУЗА

Не ищите яркость слова,  
Обложившись словарями.  
В сад густой вернитесь снова,  
В сад, гремящий соловьями.

Там по-старому запойте,  
Загрустив по-молодому...  
Весь — в невесть какой заботе —  
Возвращаюсь я к былому.

Трепет трав, деревья, трели —  
Те слова не увядают.  
Нет, они не устарели —  
Соловьи еще рыдают!

Там нас встретит тень любимой;  
Как ей сладко было клясться  
Той порой невозвратимой,  
Лет — тому назад пятнадцать..

Нежный образ, светлый облик,  
Ты, что в песнь вложила слово.  
Вновь влюбленных, чистых, добрых  
Ты нас здесь встречаешь снова.

Ночь в сирени, звук свирели,  
Звезды плавают в фонтане...  
Так летите ж эти трели  
К милой Музе, к светлой Панне!

★

## СИРЕНЬ

Нарвали сирени, набрали,  
Награбили, наломали,  
Накрали — душистой, росистой,  
Лиловой и белой, лучистой.

Цветов в ней и листьев — без счету,  
Считать — потеряешь охоту.  
Топорщится, жметяся, теснится,  
И в гущу — поющая птица.

Как ветви ломали с размаху —  
Запутали сонную птаху.

В ветвях ее шумных и грузных  
Забился испуганный узник.

Сирень помирает со смеха:  
Куда ты, любезный, заехал?  
Ему ж, оглушенному в зелень,  
Одно щебетанье — утеха.

В душистой темнине сирени  
Он горло дерет в иступленье:  
Еще ее рвите, ломайте!  
Чтоб согнуть в ее аромате!

★

## СТРОФЫ ОБ УХОДЯЩЕМ ЛЕТЕ

1

Смотри, как всюду осень  
Вином в стекле вскипает,  
А это — лишь начало,  
Она чуть наступает.

2

Зазолотели листья, —  
Корзинами их сносят.  
Травы такая гуща —  
Сама покоса просит.

3

В бутылках летний солод  
Кипит, бурлит и бродит,  
Под пробками томится  
И места не находит.

4

А рядом — спелых яблок  
Литой сквозь листья глянец.  
Поры увядшей лета  
Болезненный румянец.

5

Еще на камне греет  
Ящерица спину  
Среди травы и меди,  
Травы, травы змеиной.

6

Медовой волною  
Над лугом сено веет,  
Дождет душистым зноем  
И вновь похолодеет.

7

Пруд полон облаками,  
Как лепестками — чаша;  
Я палкой чуть их трону,  
Чтоб тишь стояла та же.

8

Насквозь проникло солнце  
Сквозь воду, землю, тело,  
Ресницы спутал ветер,  
Дремота одолела.

Над водой тянуло мятой.  
Плыл рассвет над водой, розовея,  
Камышей пустых ароматом  
Свежесть вод вместе с мятой веяла.

Я не думал тогда, что травы  
Превратятся в стихи с годами,  
Что в словах я лишь буду их славить,  
А не жить и дышать меж цветами.

Я не знал, что такая мука —  
Поиск слов для живого мира,  
Я не знал, что цветов наука —  
Учит долу склоняться сирю.

9

С плиты смолой повеет, —  
Там кипятится хвоя:  
Питье, и сам придумал —  
Бор — в золотом настое.

10

И сам стихи придумал;  
Не знаю, в чем помогут,  
Но я писал их тихо,  
С любовью и тревогой.

11

И — пусть их мой читатель  
Неспешно прочитает.  
Ведь песня лета — спета  
И осень наступает.

12

Я выпью осень четвертой,  
Вернусь в аллее пустынность  
И на сырую землю  
Под белый месяц кинусь.

★

## КАМЫШИ

Только знал я, камыш сплетая,  
Что силков — никому не готовлю,  
Ни за кем не пойду на ловаю,  
Что легка моя сеть витая.

Лет беззлобных, великий боже,  
Бог мальчишеского рассвета,  
Неужели ж не будет больше  
Веять мятой и тишь лета?

Неужели ж — всегда и всюду, —  
Лишь в словах ища отраженья,  
Никогда я видеть не буду  
Камышей живого движенья?



# БУДНИ ЛЕТЧИКОВ

Герой Советского Союза С. УШАКОВ

★

## НАЧАЛО СДЕЛАНО

**С**игнал тревоги застал меня на футбольном поле. Это был последний футбольный матч, в котором я принимал участие как игрок команды. Теперь я могу быть только «болеельщиком» одного из любимых мною спортивных обществ...

Через несколько дней группа штурманов ехала в поезде во вновь сформированную часть дальних бомбардировщиков. Тут были и прославленные полярники, и летчики Гражданского Воздушного Флота, так называемые «миллионеры», и «тузы» воздуха — летчики международных воздушных линий. Подъезжали и «тяжеловики» военно-воздушных сил. Одеты были все по-разному, в гражданские костюмы, морские кители, форменные пиджаки ГВФ и, наконец, в защитные военные гимнастерки.

Враг рвался к Москве. Мы с болью в сердце слушали сообщения о продвижении противника. Нас охватывало нетерпение. Вставая утром, каждый считал, что все готово и мы вылетим на фронт...

Вся моя летная практика была связана с тяжелобомбардировочной авиацией. Я умел летать на тяжелых машинах, но такого самолета, как тот, на котором нам предстояло летать, я еще никогда не видел. Эта громадина имела в размахе около сорока метров. Для того чтобы влезть в штурманскую кабину, надо было подняться по стремянке длиной не менее 4-х метров. С несколькими тоннами бомб машина делала полеты продолжительностью более тринадцати часов. Трудно поверить, чтобы такой стальной корабль, весом в 36 тонн, мог оторваться от земли.

Еще не летая, мы гордились новым нашим самолетом. Ведь все в нем от костыля до мотора было сделано на советских предприятиях, советскими людьми, сделано с большой любовью. С замиранием сердца ждали мы того момента, когда начнем громить врага.

Но вот наконец, все опробовано. Каждый человек экипажа хорошо изучил свое дело.

Мы улетаем на фронт, на один из центральных аэродромов. Наступила торжественная минута. Самолеты выстроены в одну линию.

На нашем участке фронта шли дожди. Используя нелетное время, наш экипаж приступил к сооружению землянок, на что ушло три дня. Землянки удались наславу: в них было светло, просторно, а самое главное, сухо.

Вошел дежурный по стоянке самолетов и доложил, что получен приказ на вылет.

— Беседу продолжим в следующий раз. Не забудьте, товарищи, кто о чем думал перед своим первым боевым вылетом, — быстро одеваясь, сказал парторг.

Через несколько минут мы были в самолете и, опробовав моторы, медленно рулили на старт. Летчик включал попеременно то правую, то левую фару, чтобы не наскокить в темноте на препятствие. Дождь перестал.

— На взлет! — громко раздался голос Додонова. Моторы заревели, и самолет потащился в направлении световых точек.

— Держи газы!

— Есть держать, — отвечал Арсен. Это входило в его обязанность второго пилота, Додонов был занят только пилотированием самолета. Я следил за нарастанием скорости. 90—110—120 километров скорости, а самолет все еще бежал и бежал по земле, не отрываясь. Но вот стрелка указателя скорости подошла к 140, и самолет оттолкнулся от дорожки. Но Додонов не хотел отрывать корабль на малой скорости и прижал его снова к земле. Когда поднялись, раздалась команда:

— Убрать шасси!

— Есть убрать, — отвечал бортмеханик Прокофич.

Мы были в воздухе. Начало сделано. Теперь все будет повторяться: и взлет, и полет по маршруту, и посадка. Но отныне ни один полет не повторится во всех своих элементах, ибо мы на войне.

## ВСТРЕЧА СО СТИХИЕЙ

Светит июльское солнце. Парит. Быть грозе.

В середине дня более половины неба покрылось кучевыми облаками. Они не опасны для полета, но создают сильную «болтанку». Вечером, как это часто бывает в июле и августе, они могут сгуститься и разразиться грозой.

Это хорошо понимали летчики. Гроза не может помешать выполнению боевой задачи, так как обычно грозы захватывают небольшие районы, всего несколько десятков квадратных километров. Подготовка к очередному боевому вылету шла обычным порядком.

Отдохнув в тени сосновых деревьев, мы с Арсеном пошли на командный пункт. Там нам сказали, что Додонов заболел и вместо него летит Владимир Пономарев. Я знал Владимира как отличного летчика. Он успел налетать не одну тысячу часов и несколько сот тысяч километров. Владимир был человеком скромным и немногословным. О разного рода происшествиях в воздухе он говорил только в тех случаях, когда надо было доказать, что всегда можно выйти из того или иного тяжелого положения в полете. За летное мастерство и скромность Пономарева любил.

Недавно он вернулся с дальней цели на двух средних моторах. Два крайних были выведены из строя зенитной артиллерией противника. Опытные летчики понимали, чего стоил такой полет. А Владимир не находил ничего необыкновенного. При подходе к аэродрому он ничего не требовал и производил посадку в общей очереди круга. Посадка была произведена блестяще.

— Вы знаете, я лечу с вами, — обратился он ко мне.

— Ну и что же? — спросил я.

— Ведь мы вместе еще не летали!

— Не могу допустить, чтобы у вас было какое-нибудь сомнение насчет нашего экипажа, — заявил я.

— Да что вы? Я просто рад лететь с вами.

— Ну довольно, Володя! Существует предел и скромности. Все знают, что ты за летчик, и мы рады будем воевать под твоим командованием.

Метеоролог доложил метеобстановку.

— Над целью будет малооблачно, но на маршруте вы встретите грозовые облака. Обходить их нельзя: они заполняют слишком большой район. Придется вам или проходить выше облаков, но тогда придется подняться до 8000 метров, или же искать пути между отдельными грозовыми «наковальнями». Во всяком случае, полет в облаках невозможен.

Взлетели засветло. Солнце только что скрылось. Пошли с набором высоты.

Следовало обойти запретную зону курсом на юг.

Через 20 минут полета достигли исходного пункта маршрута. Прибор показывал высоту 2000 метров.

— Высока что-то облачность впереди, — сказал Арсен. Я это видел, но молчал. Видел это и Владимир, но также молчал.

До облаков было еще километров 300. Заря освещала их тыловую часть, поэтому они и были видны так далеко.

— Успеем или нет набрать до них нужную высоту — не так важно, — заявил Владимир, — проскользнем как-нибудь. А вот как вырваться обратно, об этом надо подумать.

Я понимал, что эти разговоры велись только из-за того, чтобы не скучать, так как сейчас невозможно было принять какое-либо решение об обратном маршруте. Ведь мы даже не знали высоты верхней кромки...

Темнело. Земля постепенно пропадала из виду. Под нами были облака. Приходилось лавировать между отдельными шапками. Надоедала сильная «болтанка».

— Командир, обходи облачность прямыми курсами, не делай виражей, — сказал я, — иначе мне невозможно вести счисленные пути. Если видишь, что не перелететь облако, заранее измени курс.

— Так и будет, — сухо отвечал Владимир.

Впереди сверкнула молния.

— Гроза. Красиво! — восхищался Прокофич.

— Красиво, когда смотришь издалека, а вот если коснешься ее, тогда узнаешь, что это за красота, — посмеиваясь, сказал Арсен.

Машина уклонялась на юг. Время от времени облачная стена освещалась электрическими разрядами. После вспышки становилось еще темнее и грознее. Вся эта грозовая масса двигалась на юго-восток, как бы спеша отрезать нам обратный путь домой. Прошло 25 минут, и туча осталась позади. Теперь стало легче. Хотя мы и находились за облаками, все же можно было лететь по прямой. Я взял за секстант и по двум небесным светилам — Веге и Полярной — определил расчетное место. Оказалось, что от заданной линии маршрута отклонились на 100 километров. Попытался подтвердить расчеты по радио, но на любой частоте слышался только сухой треск.

Облачность постепенно редела. Мы начали снижаться.

Нашей целью был аэродром противника; нам было известно, что на него перелетело из Центральной Германии не менее 80 бомбардировщиков дальнего действия. Немцы готовились к массивному налету на какой-нибудь наш промышленный или политический центр. Эту подготовку

во что бы то ни стало следовало сорвать. До цели оставалось 15 минут полета.

На нашей машине было подвешено несколько десятков фугасных бомб по 100 килограммов каждая и три осветительных бомбы.

Мы вышли под облака. До цели лететь 5—6 минут. Я прильнул к стеклу и стал внимательно наблюдать за местностью. Снизались до 1000 метров.

Расчетное время истекло, а аэродрома все нет. Да и обнаружить его трудно: травяное поле, без характерных ориентиров. Не меняя курса, следуя дальше в надежде выйти на шоссе, идущее с севера на юг, и там окончательно определить.

Знаю, что это шоссе в 15 километрах от аэродрома. Рассуждаю: если расчеты правильные, шоссе покажется через четыре минуты.

И это время прошло, а шоссе нет. Курс, однако, не меняю. Проходит еще две, три, четыре мучительных минуты. Вдруг вижу сероватую ленту и какой-то прямоугольник. Вроде аэродром с дорожками, выложенными четырехугольником.

Даю команду—вираж!—а сам, схватив карту крупного масштаба, пробегаю взглядом вправо и влево от шоссе.

Вот оно что! Мы проскочили аэродром немного левее. Ну что ж, теперь легче. Все хорошо, что хорошо кончается.

Даю курс и рассчитываю время прибытия на цель. Набираем высоту до 2100 метров.

— Время вышло, Володя! Давай вираж!

— Почему?

— Да цель должна быть под нами.

— А что же они не стреляют?

— Не знаю. Держи так. Бросаю светящуюся бомбу.

Через 10 секунд бомба разорвалась в воздухе и стала изливаться свет в два с половиной миллиона свечей. Она медленно снижалась на парашюте. Под нами растянулось ровное, скучное поле.

Заговорила автоматическая мелкокалиберная артиллерия.

— Цель здесь, но я ничего не вижу. Давай разворот на 180 градусов!

Владимир молча выполняет мою команду. Проходит три минуты, и я снова бросаю светящуюся бомбу. Теперь отчетливо вижу приангарные постройки. Аэродром! Быстро переключаю сбрасыватель и с интервалом в полсекунды сбрасываю первую десятку бомб.

С земли летят на нас ленты огненных шариков. На высоте четырех километров шарики разрываются. Удивительно, что прожекторов нет.

Самолет качается то вправо, то влево, избегая встречи с огненными шариками. Одна из моих бомб прямым попаданием зажигает какую-то посуду с горючим.

Пожар! Снова разворот, и тридцать бомб рвутся в двадцати метрах одна от другой.

Четыре пожара! Горят самолеты. Доволь-

ные бомбометанием, мы берем курс домой. Самолет, освободившись от бомб и половины горючего, резко набирает высоту.

Впереди темно. Решаем пройти грозовые облака верхом.

Высотомер показывает 5600 метров.

Вдруг машина начала судорожно вздрагивать, и не успел Пономарев отвернуть в сторону, как затрясло еще сильнее, звезды исчезли, и мы оказались в облаках.

— Давай обратно, Володя!

— Даю, даю.—Резкий крен влево, трясака.. Но моторы выручили, и мы вне облаков.

Идем на север. Высота 6900 метров. Справа по борту мечутся и блистают огненные ленты и стрелы самых разнообразных форм. Нас преследуют грозовые разряды.

— Под нами — ад, — торжественно произносит Арсен.

— Почему под нами, а справа, по-твоему, нет? — возражает Владимир.

Прошло еще несколько минут.

— По-моему, мы уже выше облаков, — говорит Арсен, — высота 7800 метров.

— Ну что ж, давайте на восток, но только обязательно с набором.

Взяв заданный мною курс и продолжая полет, мы на высоте 8100 метров оказались в облаках. Самолет трясло не сильно. Видна стала вершина, в которой зарядов электрических было немного.

— Кажется, сейчас перелезем, — как бы оправдываясь, сказал Арсен.

— Товарищ командир, у меня кислород весь! — раздался вдруг голос стрелка. Каждый из нас знал, что на такой высоте без кислорода человек мог умереть.

Прокофич быстро надел на себя переносный баллон с кислородом, захватил другой для стрелка и ползком отправился к стрелку на помощь.

Но тут случилось непредвиденное: сделав три-четыре шага и нагнувшись, чтобы пролезть в плоскость, Прокофич зацепил шлангом за рычаг и сдернул маску с лица. Он сделал попытку отцепить шланг, но потерял силы и тяжело опустился на пол. Его помощник устремился к нему, надеясь помочь Прокофичу вторым баллоном, который тот нес для стрелка. Но рука Прокофича мертвой хваткой сжала шланг второго баллона. Правой же рукой Прокофич зажал свой шланг. Оставшись без кислорода, помощник сильно потянул ртом разряженный воздух и бессильно опустился на тело своего начальника.

Что делать? Видно было, как радист вытянулся весь, чтобы достать до шланга, но ему нехватало каких-нибудь десяти сантиметров.

Я фарой осветил лица несчастных. Лицо Прокофича почернело, на губах выступила белая пена.

Положение было тяжелое. Внизу бушевала гроза, способная разрушить на части

нашу стальную птицу, а в самолете уми-  
рали два товарища, судьба третьего была  
тоже неизвестна.

— Командир, что же будем делать?

— Ложись на стелла и отворачивай ме-  
ня в стороны от молний. Я начну сни-  
жаться — другого выхода нет.

Машина резко пошла вниз. Приходилось  
часто плотать слюну, чтобы освободить  
уши от давления.

Самолет бросало из стороны в сторону,  
он то проваливался вертикально на 200  
метров, а то вдруг выбрасывало его вверх  
на 50—100 метров.

Разговаривать было невозможно. В на-  
ушиках не прекращался сухой треск.

И вдруг новое препятствие. Из-за резко-  
го снижения произошла раскрутка винтов,  
губительная для моторов. Они сейчас  
представляли большие вертушки, напо-  
добие тех, что делают мальчики из бумаги.

Винты вращались с такой скоростью, ка-  
кой никогда еще не знали моторы.

— Ну, будь, что будет! Может быть дело  
обойдется...

Молнии продолжали сверкать внизу,  
чуть сзади самолета.

На высоте 5600 метров радист снял ма-  
ску и направился к техникам, ле-  
жавшим без движения. Но в это время ма-  
шину так бросило вверх, что он не смог  
удержаться и упал, ударившись головой  
об обшивку самолета. Самолет готов был  
войти в штопор. Хотя рули действовали  
плохо, Владимир все же уловил момент и  
предотвратил опасность.

Теперь можно было заняться техника-  
ми. Все наши попытки вырвать у Проко-  
фича шланги не увенчались успехом. Ли-  
ца обоих были синие. Рты покрыты пеной.  
Из носа Прокофича стружкой бежала  
кровь, и руки были попрежнему судорож-  
но сжаты.

Ползком техников подтащили к стацио-  
нарным кислородным установкам. В это  
время прибор показывал высоту 5000 ме-  
тров. Мы попытались вложить шланг в  
рот Прокофича. Раскрыть рот удалось  
только с большим усилием.

Уже через несколько секунд появились  
признаки дыхания. Прокофич глубоко  
вдохнул и открыл глаза, они не выража-  
ли ни испуга, ни удивления. Он о чем-то  
хотел нас спросить, но молча закрыл гла-  
за. Дыхание его выравнивалось. Быстро  
соединив маску со шлангом и убавив до-  
зу кислорода, мы надели ее на лицо Про-  
кофича. Дыхание его окончательно вы-  
ровнялось, он, видимо, спал.

Его помощник быстрее пришел в себя,  
открыв глаза, он приподнялся и спросил:

— Чего вы от меня хотите? — Когда ему  
объяснили, что он был без сознания, и на-  
помнили, как все произошло, он спросил,  
показывая на лежащего Прокофича:  
— Умер?

— Нет! Спит! — объяснял ему радист.

Прибор показывал 3500 метров. Самолет  
уже не бросало, была обыкновенная «бол-  
танка».

Гроза осталась позади. Через несколько  
минут мы были под облаками. Теперь на-  
до было заняться самолетовождением.  
Сняв курсовой угол приводной радиостан-  
ции и прослушав выпадающую букву ра-  
диомаяка, я определил район местона-  
хождения. Оказалось, мы отклонились на  
95 километров от линии. Произведя необ-  
ходимые записи и развернув на нужный  
курс, я настроился на приводную радиостан-  
цию «Пчела», которая в это время пе-  
редавала приятные мелодии вальса.

В корабле было тихо. Прокофич продол-  
жал спать.

Через час пошли на посадку.

## ОДИН НАД ЦЕЛЬЮ

Зимой меня перевели в другой экипаж,  
к Михаилу Родному, для выполнения спе-  
циального задания. Предстоял перелет на  
тяжелом боевом самолете в Англию. Надо  
было хорошо подготовиться, произвести  
облет новых моторов, сделать их «обкач-  
ку». Только налетав не меньше двадцати  
часов, инженеры могли быть спокойными  
за нас, за моторы.

Скучно и «нерентабельно» было летать.  
После первой же посадки мы с Михаилом  
Родным пошли к командиру дивизии с  
просьбой долетать положенные часы с  
бомбами на ближние цели.

Полковник согласился, и вечером мы с  
Михаилом уже готовились к вылету. Вот  
из чего состояла наша боевая задача.

— Наши войска подошли к Курску. По  
данным воздушной разведки и донесениям  
партизан, сегодня днем отмечено больше-  
е скопление эшелонов противника на  
перегонах западнее и севернее города  
Льгов. Противник не хочет отлавать Кур-  
ска и подтягивает резервы и боеприпасы.  
Мы должны не дать подкреплению врага  
пройти через узел Льгов, и тем самым  
облегчить взятие Курска нашими назем-  
ными частями.

Поставив задачу, командир дивизии до-  
бавил:

— Метеусловия неблагоприятные. С за-  
пада подходит теплый фронт. Сейчас труд-  
но сказать, где его граница. Боюсь, что он  
помешает вам и поможет противнику. На  
случай закрытия цели запасная цель —  
аэродром «Б».

На аэродроме техник по вооружению до-  
ложил мне о состоянии бомбовой аппара-  
туры и варианте подвески. Я уже собрался  
влезть в кабину, как ко мне подбежал  
молодой парень невысокого роста с свет-  
лыми глазами.

— Товарищ штурман, походатайствуйте,  
пожалуйста, перед командиром, чтобы ме-  
ня взяли сегодня в полет. Он давно мне  
обещает...

— А вы кто такой?

— Механик по вооружению Николай Селезнев.

— Ну, механик не стрелок, — сказал я. — Кем же думаете лететь?

— В качестве стрелка я уже все зачеты по стрельбе сдал. Спросите техника. Ведь я оружейник, материальную часть пулемета знаю хорошо и стреляю неплохо.

— Ну что же, хорошо, похлопочу.

Парень мне нравился. Решено было взять его в полет. Крикнув что-то стрелку, которого должен был заменить, он сбегал в землянку, притаила заранее приготовленное легкое обмундирование и стал проворно одеваться. Глядя на него, я почему-то вспомнил стадион. Вот так же бывало задержавшийся футболист торопливо одевался для выхода на поле, ожидая с секунды на секунду свистка судьи.

Моторы наконец заработали. Винты плавно крутились, нагоняя моторам необходимую температуру. Перед самым выруживанием на старт появился заместитель командира дивизии.

— Полечу с тобой, Ушаков. Цель важная, хочу посмотреть, как будете ее обрабатывать.

— Товарищ подполковник, — сказал я, — вы летите в качестве контролера?

— Да, сегодня я вроде живого фотоаппарата, — шутовливо ответил подполковник. — В вашу работу вмешиваться не буду.

В районе аэродрома не было ни одного облака, но уже через 15—20 минут полета появились высокие перистые облака — барашки. По мере приближения к линии фронта облачность снижалась к западу, можно было провести прямую линию на несколько сот километров под углом 15—20 градусов к точке, где облачность смыкалась с землей. Вот эта точка меня и интересовала. Хорошо было бы, — думал я, — чтобы она была километров двести западнее Львова, тогда мы заставим немецкие резервы переждать денька два на перегонах.

Показалась линия фронта. По вспышкам артиллерии и пожарам найти ее было не трудно. Шел ночной бой. Курск горел. Мы летели на высоте 1200 метров, задевая крыльями облака.

Прошло полчаса. Высота 800 метров. Мы вышли на железную дорогу Курск — Львов. Было совершенно темно. Навстречу внизу двигались две световые точки. Периодически они выбрасывали довольно сильные снопы света. Слева по шоссе, которое прилегает в этом месте вплотную к железной дороге, шло семь машин с включенными фарами, потом они погасли: вероятно немцы услышали шум моторов.

— Что это такое? — спросил Родной.

— По железной дороге идет состав с двумя паровозами, в этом я не сомневаюсь, — ответил я. — А вот что дви-

жется по шоссе, сказать трудно. Это или охрана поезда, или просто автоколонна.

Цель была заманчивая. Руки чесались, чтобы бросить бомбы, но бомбить по случайным целям было нельзя. Мы это хорошо знали и продолжали путь на запад.

Через несколько минут радист доложил:

— Товарищ командир, цель закрыта, получено разрешение бомбить запасную.

— Ну как, штурман? — спросил Михаил.

— Как? — переспросил я. Мысль о том, что под прикрытием низкой облачности вражеский железнодорожный узел мог продолжать работу, меня сильно взволновала. — Пойдем лучше посмотрим. Может быть удастся сбросить хотя бы пятисотки, — предложил я.

— Я летчик, за землю не зацеплю, а в остальном дело твое, — ответил Михаил.

И мы продолжали полет на запад.

Из-за облаков продолжаем идти со снижением. Прибор показывает всего 400 метров. Пора бы было прекратить полет, ведь пятисоткилограммовые бомбы можно сбрасывать с высоты не ниже пятисот метров, иначе взрывная волна и осколки повредят самолет. Но это я считал правильным, находясь на земле, а сейчас меня мучила мысль: неужели не удастся выполнить задание?

Дорогу я уже потерял после того, как она сделала крутой поворот к югу. Видимость стала еще хуже. Летчик все чаще и чаще заходил в облака.

Заместитель командира дивизии молча посматривал за мною. Я еще раз произвел перерасчет времени прихода на цель, включил огонь в кабине и по карте просмотрел ориентиры в районе цели. Сделано все. Каждую секунду могла появиться цель. Почти ложусь на стекла, напрягаю до предела зрение и ничего не вижу. Темно. Открыла окно, сырой воздух ворвался в кабину.

— Почему в облака залез? — кричал я. — Давай вниз, ничего не вижу. Машина послушно пошла на снижение.

Выйдя из облаков, летчик сразу же перевел машину в горизонтальный полет, но горизонтальной видимости не было. Подойдя к мелькающей однообразные темные пятна. Восстановить ориентировку не удавалось.

Вдруг я заметил сероватую ленточку, тянувшуюся почти под 90 градусов к моему курсу. Судя по времени, пролетел шоссе по дороге. Но где? Севернее или южнее цели? Нужно было быстро определить, так как самолет продолжал идти на запад со скоростью четырех с половиной километров в минуту. Напрягаю память. Пересекли шоссе под таким-то углом, следовательно цель осталась правее.

Даю команду — разворот! — и умоляю снизиться еще метров на двадцать пять. На малой высоте полета, да еще при плохой

видимости, каждый метр снижения буквально приходится у летчика выпрашивать.

Еще два раза пересекаю шоссе на дороге. Разворот следует за разворотом. Летчик устал. Очень трудно на небольшой высоте в темную ночь пилотировать по приборам.

Теперь я ухватился за шоссе и иду параллельным ему курсом.

— Ничего не вижу, Михаил! — почти кричал я. — Снизиться можешь немного, хоть капельку?

— Трудно, — густым басом ответил Михаил. — Мокрый весь. Загонял ты меня. Высота-то ведь 350 метров. Уже сорок минут болтаемся.

Действительно, сорок минут прошло, как я начал искать цель.

— Ну вот наконец теперь хорошо. Сейчас будет цель. Обожди.

Передо мной мелькнула развилка шоссе с железной дорогой, отходящих от железнодорожного узла, и белое пятно, расположенное западнее цели.

— Теперь легче, — со вздохом произнес я. — Вот проклятые фрицы, слышат нас, а огни не открывают, думают не найдем. Найдем!

Пока летчик разворачивался, я определил истинную высоту и только тут вспомнил, что от 375 метров нужно отнять семьдесят метров превышения цели...

— Так держать! Хорошо! Будем бомбить!

— Ты какие бомбы будешь бросать? — спокойно спросил Михаил.

Не отрываясь от стекла, я ответил, что сброшу четыре пятисотки.

Не успел я закончить фразу, как услышал чей-то голос:

— Товарищ штурман, не бросайте с этой высоты бомбы: оставшиеся сдетонируют, и мы взорвемся.

Не задумываясь, я густо выругался, а у самого по коже пробежал мороз.

«Может быть, и верно взорвемся?» — подумал я. — Жертвовать самолетом и экипажем?!

— Уже сказано — бомбим, — крикнул я Михаилу. Больше я уже не думал о том, что произойдет, взорвусь ли оставшиеся в самолете бомбы или нет. А про то, что мы можем быть поражены осколками с земли, я забыл совсем.

В корабле стало тихо. Подполковник сидел неподвижно все в той же позе. Михаил опять поджался к кромке облаков. Мне было трудно: более чем на 15 градусов впереди я ничего не видел, а угол прицеливания был более 50 градусов, железнодорожный узел под таким углом визирования оставался невидимым. Вся надежда была на белое пятно, но заметил я его, когда сбрасывать было поздно. Цель проскочила. Еще заход. Еще мучительные семь-восемь минут.

Летчику, видимо, надоела эта карусель, и он без моей просьбы сам снизился на пять-восемь метров.

Вот показалось белое пятно. Командую:

— Чуть вправо! Выбери крен! — и почти сразу же цель пришла на установленный угол прицеливания. Я нажал на кнопку. Машина вздрогнула четыре раза. Тут я вспомнил чей-то голос: «не бросайте — взорвемся», и сразу же принялся закрывать бомболуки, преграждая доступ колеблющего воздуха внутрь самолета. На это потребовалось немного времени. Теперь удобно посмотреть вниз. Я прильнул к стеклу. Сотни огненных шаров со всех сторон неслись с колоссальной быстротой к нашему самолету. Молчать фрицам теперь было незачем. Но и стрелять им долго не пришлось. Мы были уже у кромки облаков.

Когда взорвалась первая бомба, я ничего не увидел, сильная волна подбросила наш самолет вверх в облака, затем еще и еще раз. Раздался треск, как будто рвали коленкор. Машина начала терять управление. Но Михаил вовремя выровнял ее.

— Ну как, попал? — спросил он.

— Пока не видел, давай посмотрим. Теперь, уже не заходя на цель, мы вышли из облаков.

Взглянув в сторону цели, я готов был крикнуть от радости. Несмотря на то, что после разрыва бомб прошло не больше трех минут, на железнодорожных путях, забитых составами, полыхали два огромных пожара. Спустя несколько минут раздался огромный взрыв.

— Значит, боеприпасы!

Заместитель командира дивизии, сидевший все время спокойно, вдруг оживился, стал припадать попеременно то к боковым окнам, то к полу, стараясь сосчитать число горящих эшелонов. Когда мы уходили, он сказал:

— Теперь не пройдут. Благодарю.

Радист передал в штаб:

— Задание выполнили по основной цели. Высота бомбометания 350 метров. Цель обработана отлично.

Земля два раза переспрашивала высоту бомбометания. Там не верили.

Теперь нужно было решить, куда бросать тонновые бомбы. До запасной цели не хватало горючего. Мы более полутора часов потратили на поиски цели.

Принимаем решение догнать попавший нам навстречу железнодорожный состав.

Выходим на железную дорогу и следуем параллельным ей курсом. За это время состав успел пройти не более 40 км и остановился на небольшой станции.

— Не вижу этих двух паровозов, — басом сказал Михаил. — Неужели успели уйти?

— Смотри по левому борту, видишь притаился, думает не увидим!

Состав находился на небольшой станции Лукошино. Паровозы затаили дыхание и только время от времени выпускали небольшие клочки дыма. Тогда появлялось из трубы желтое чуть заметное пятно то из одного, то из другого паровоза. Это меня обрадовало: появилась возможность прицельиться поточнее.

— Будешь бомбить? — спросил Родной.

— Обязательно, — ответил я.

— А попадешь ли? У тебя только две бомбы, а цель узкая.

Действительно, большой уверенности в том, что я попаду в такую узкую цель, как железнодорожный состав, у меня не было.

Передаю Родному: будем делать три захода, — один из них холостой, для проверки и уточнения данных. Все заходы с одного направления.

— Горючего мало остается, — неопределенно сказал Родной. Резко накренив влево самолет, он начал выводить его на курс.

Заданные мною скорость, курс и высоту Михаил выдерживал с безукоризненной точностью.

Наконец-то тысячекилограммовая бомба полетела вниз. Я и подполковник прильнули к окнам. Через 13 секунд бомба разорвалась с такой силой, что самолет задрожал, как в судорогах. От точки разрыва нас отделяло 800 метров.

На очень короткий момент стало светло, и мы увидели паровоз и часть состава. Были ли это вагоны, платформы или цистерны, установить было нельзя.

— Ну как, попал? — спросил Михаил.

— Промазал.

— Намного?

— Метров на пятьдесят.

Бомба упала с перелетом. Неярко выраженной целью заставила меня нажать кнопку с опозданием. Вот в чем была причина перелета.

Захожу снова с теми же данными.

— Наверное все-таки попало, — раздался голос молодого оружейника Селезнева. — Ведь действие этой бомбы, когда она взрывается мгновенно, больше чем пятьдесят метров...

— Много знаешь, — ответил я. — Бомба разорвалась среди какого-то здания и разнесла его влук. Состав остался неповрежденным.

Разговоры прекратились. Мы вновь легли на боевой курс, всматриваясь в темноту до боли в глазах, но вот бомба сброшена... Эти тринадцать секунд кажутся вечностью. Взрыв. Опять машина задрожала в конвульсиях и почти одновременно в самолете раздался голоса:

— Ага! Попало!

Бомба разорвалась метрах в пяти-семи от состава и метрах в девяносто-сто от па-

ровоза, выбросив пламя огромной величины.

Значит горючее. Теперь пойдет гореть! Даем вторую радиограмму о выполнении задания.

Мы уже были далеко, а стрелки все еще докладывали о том, что пожар виден.

Машина стала совершенно легкой, и моторы без особых усилий тащили ее на большой скорости. Наши товарищи уже давно вернулись. За ужином говорили, как один экипаж вышел на аэродром противника в момент посадки самолетов и отбомбился по освещенной цели.

После посадки я выстроил стрелков и спросил:

— Кто говорил, что бросать не надо, взорвемся?

— Я, — робко ответил Селезнев.

— Струсил?

— Что вы, товарищ капитан! Я как вооруженец считал своей обязанностью поставить вас в известность о том, что могло произойти...

Через несколько дней пришло подтверждение от партизан о нашей работе. В графе против моей фамилии появились еще две буквы «ВУ», что означало — «весьма успешно».

## В ГЛУБОКИЙ ТЫЛ ВРАГА

Нужно было нанести удары по военно-промышленным объектам в Центральной Германии. Каждый полет туда продолжался 11—12 часов, несмотря на это, мы летали каждый день. На погоду по маршруту не обращали внимания — лишь бы была открыта цель.

Сегодня в середине ночи Восточная Пруссия должна быть открыта. Мы готовились ударить по крупной военно-морской базе и судостроительной верфи. Я получил задание подвесить к самолету три бомбы: одну весом в две тонны и две по 500 килограммов. Бомбы были новой конструкции.

— Задача ясна. Интересно, что это за бомбы, если для них отведено специальное место, — сказал я командиру корабля Додонову.

— Для нас с тобой не все ли равно, что за бомба? — делая вид, что это его не интересует, ответил он. — Калибр нам знаком и вес тоже. Значит, все без изменений. Нью-здесь только то, что они другой марки — особой. И эту особенность нам с тобой не заметить. Пусть ее определяют немцы!

— Так-то так, а все-таки интересно. По-едем сегодня на аэродром пораньше, побудем при подвеске, — предложил я Додонову.

Через десять минут мы были у самолета. Техник по вооружению, доложив о состоянии бомбоаппаратуры и калибре бомб, добавил:

— Бомбы новой конструкции.

— Чем же они отличаются от обыкновенных? — спросил я.

— Выглядят они обычно, но металл у них совершенно другой. Стенки толще. Нужно полагать, что и взрывчатое вещество другого качества. Больше доложить ничего не могу.

Действительно, на первый взгляд, бомбы ничем не отличаются от обыкновенных.

— Ну хорошо. Проверим над целью. А теперь закрывайте бомболюки, — обратился я к технику. В это время подъехал к самолету инженер по вооружению вместе с каким-то гражданином в штатском.

Человек произнес свою фамилию так невнятно, что я не разобрал.

«Наверно корреспондент какой-нибудь, — подумал я, — не люблю расспросов перед боевым вылетом. Другого времени не могут выбрать...»

Подождав, когда я натяну на себя меховой комбинезон и унты, гость отозвал меня в сторону и спросил:

— Товарищ Ушаков, а знаете вы, что это бомбы новой конструкции?

— Не знаю, а вы откуда знаете?

— Я представитель конструкторского бюро.

— Вот как, — улыбаясь, сказал я, — Вы уж извините меня, я думал корреспондент...

— А вы что, их не любите?

— Нет, я даже дружу с некоторыми, но мне не нравится, что они навязывают, как правило, беседу, когда совершенно не хочется разговаривать. А фоторепортеры, так те обязательно навязывают тебе свою позу, стоишь и ежишься перед ними. Получается на снимке не то. Выходишь натянутым, точно аршин проглотил. А вообще корреспонденты народ хороший. Ну, а все-таки, что это за бомбы?

— В сравнении с обыкновенными фугасными бомбами взрывная волна новых бомб вдвое сильнее, а может быть даже больше, чем вдвое.

— А точнее нельзя сказать?

— Видите ли, мы бросали на полигоне, среди леса. Результат хороший, но всего, что хотелось, выжить не удалось.

В это время запустили моторы.

— Мне пора, желаю вам всего хорошего!

— Желаю успеха. — сказал конструктор и протянул мне руку.

— Благодарю вас за пожелания, но извините, у нас не принято перед боевым вылетом давать руку. Улетаем не надолго. До скорой встречи. Ждите ужинать.

## В ПОЛЕТЕ ТУМАН

Наступила осень. Дни стояли теплые, но ночи ошутимо похолодали. Уже на небольших высотах частенько обледеневали самолеты. Многие на сегодня сделано, чтобы обледенение не являлось опасным

для полета, но всякого рода антиобледенители действуют эффективно только в течение непродолжительного времени.

Неизменный спутник осени — туман. Даже при ясной погоде рождаются эти осенние туманы. Их называют радиационными, т.е. возникающими из-за резкого выхолаживания воздуха.

В полете туман не страшен, но на посадке вряд ли можно придумать что-либо опаснее густого тумана. Есть уже приборы для слепой посадки самолета, но они чрезвычайно неточны, а потому и не нашли должного применения даже на стационарных аэродромах.

Метеоролог, доложив, что по всему маршруту безоблачная погода, сегодня добавил:

— Сводка аэрометеорологической станции и центрального института погоды, на мой взгляд, верна, но, товарищи!.. скажу вам свое частное мнение: будет туман, вот в котором часу — сказать не могу. Может быть, успеете вернуться. Во всяком случае, торопитесь. Такова ситуация. Больше сказать ничего не могу.

— И так наговорил порядочно, — проворчал Арсен. — Друг-то ты друг наш, а вот в самом главном помочь не можешь.

— Что не могу, то не могу, — признался метеоролог.

Одеваясь в летное обмундирование, каждый из нас думал, что сделать для того, чтобы выиграть время. Взлет рассчитан так, чтобы пролететь линию фронта с наступлением темноты, здесь не сэкономишь. Остается одно: поточнее выйти на цель, не потерять времени на поиски и на обратном пути прибавить обороты моторов.

Одевшись, мы вышли из землянки. Поскольку сегодня наш самолет должен взлететь первым, Арсен и Прокофич уже прогревали моторы. Все было в порядке.

Я предупредил Додонова, что время рулить, так как до взлета оставалось 8 минут.

— Рули сам, Арсен, — сказал Додонов, — а я пока парашют надену.

Через несколько минут мы уже шли с набором высоты.

С того момента, как Додонов дал команду — внимание, на взлет! — и летчики, и я забыли про туман. Было исключительно безоблачно, условия полета отличны, и я точно вышел на цель. Обозначив цель двумя САБ-ами (светящие авиационные бомбы), я уже на втором заходе сбросил бомбы по цели. Железнодорожный узел был шириной около 300 метров, и на нем разместились четыре полутонки, а остальные четыре бомбы с перелетом: одна из них угодила в какое-то пристанционное здание, другие разорвались среди построек. Неудовлетворен я был только тем,



что ни на узле, ни среди станционных зданий не возникло пожара, — точки прицеливания для моих товарищей.

Вырвавшись из зоны огня и прожекторов, мы взяли курс домой. Произведя соответствующие записи, я поглотил немного кислорода, чтобы быстрее восстановить дыхание (работать над целью приходилось без кислородной маски), и сел отдохнуть.

— Командир, прибавим обороты моторам, может быть и верно туман будет, — заговорил Арсен.

— Давай прибавим, но немного. — Додонов всегда жалел моторы, как хороший крестьянин свою лошадь.

Я предложил не снижаться, так как ветер был попутно боковым, и на этой высоте его скорость была больше на 22 километра.

До конечного пункта маршрута, который находился в 80 километрах к северу от аэродрома, оставалось километров тридцать. Впереди слева я заметил какие-то белые пятна, похожие на слоистые облака, — в низких местах образовывался туман. Это дело не новое. Летом к утру очень часто образовывался туман в долинах рек, но с восходом солнца он быстро рассеивался. Осенью, да еще ночью, дело другое.

Через пять-шесть минут полета отдельные небольшие пятна стали сливаться, закрывая все большие районы.

Мы находились над точкой разворота, она была еще открыта, но вся северная часть уже покрывалась сплошным туманом. Не трудно было определить, что его движение было с северо-востока.

Даю немедленно радиogramму:

— Нахожусь КПМ (конечный пункт маршрута). Туман. Движение на юг.

Эта радиogramма была передана немедленно всем самолетам.

Теперь кто быстрее — самолет или туман? Ясно, что самолет. Мы уже шли курсом на юг на максимальных оборотах мотора. Туман был позади. Скорость его распространения меньше ста километров в час.

Но что будет с последними самолетами?

Штурман Булла открытым текстом дал по радио:

— Торопитесь! Туман.

Наиболее опытные штурманы срезали маршрут и разворачивались, не заходя на заданную точку.

Мы благополучно приземлились и следили за посадкой других самолетов. Никогда еще не садился самолеты так плотно один к другому, как сегодня. Один еще катился по бетонированной дорожке, а другой уже выравнивал самолет на посадку.

## МЫ ПОДБИТЫ

Наступило лето. Расположились мы в одной из заброшенных дач. Я со своим боевым спутником Арсеном занял комнату верхнего этажа с балконом, выходящую на восток. Дача находилась в одном километре от аэродрома, в сосновом бору. Вряд ли можно найти более удобное и красивое место для отдыха. Маленькое озеро, в двухстах метрах от нашей дачи, красивый небольшой мостик, лиственные деревья среди стройных и невысоких сосенок.

Вчера мы могли посмотреть кино-картину в нашем маленьком, но довольно уютном ДКА и своевременно лечь спать. Правда, в хорошую погоду летом несколько дней подряд приходится работать ночью, а отдыхать днем. И когда настает очередной день отдыха, организм упорствует и не хочет согласиться с новым распорядком. В такие дни заснуть рано очень трудно.

Ни мне, ни Арсену читать не хотелось. Не прошло и получаса, как Арсен отложил книгу и вновь свернул цыгарку.

— Ты почему отложил книгу? — спросил я. Арсен ответил не сразу, после некоторой паузы:

— Не хочется что-то.

Я также отложил книгу и попробовал завязать разговор, но сразу же понял, что беседовать Арсен совершенно не расположен. Он докурил, мы молча загасили свечи.

В воздухе было спокойно. Сосновый лес как бы замер. Казалось, что и деревья отдыхают. Но вот какая-то ночная птица села на дерево у балкона, зашуршала совсем близко и вскрикнула. Поспорив, что это за птица, мы незаметно уснули.

Я проснулся очень рано и вышел на балкон. Мне много раз приходилось наблюдать восход солнца с высоты двух-трех тысяч метров, но та красота полностью оторвана от жизни. Сейчас же только показалось солнце, как все вдруг зашевелилось, защебетало и ожило. Стало светло.

Проснувшись, Арсен заметил мое исчезновение, и тоже вышел за мной. Мы долго наслаждались природой вместе, а потом, не одеваясь, сыграли на балконе несколько партий в шахматы. Как всегда, выигрывал Арсен.

Наступил обыкновенный день — день подготовки к очередному боевому вылету.

В 18 часов весь летный состав был в сборе. Техники с утра находились у своих машин, прощупывая, как хорошие доктора пульс, каждое соединение моторов. Многие из них уже были уверены в том, что все готово, и, несмотря на это, никто не уходил и проверял еще и еще раз.

Радисты собрались в отдельной комнате для получения указаний по связи. Летчики и штурманы, как всегда, вместе. По-

сторонний человек, вошедший в комнату, обязательно подумал бы, что эти люди после совещания намерены пойти гулять, но отнюдь не в бой, так как отсюда раздавались остроты и шутки, напевы мелодий, выступивание какой-то непонятной дробы и многое другое. Ничего не поделаешь — таков характер у советских людей.

Вошел командир полка. Раздалась команда: «Смирно!» С большим вниманием слушали боевой приказ и указания командира. Каждая пара — летчик и штурман занялись подготовкой к полету. Дело привычное. Быстро проложен маршрут, сняты путевые углы и расстояния, произведены соответствующие расчеты. Теперь следует доклад о готовности к полету и соответствующая виза старших командиров по специальности.

Как всегда, шофер подал автобус к самому подъезду. Этот человек никак не мог допустить, чтобы летчику, да еще в летном обмундировании пришлось пройти пару лишних шагов. Он любил летчиков и знал всех по фамилии. Кто-то крикнул — поехали! Но шофер не трогался. Он, скинув нас взглядом, заявил:

— Нет штурмана Рагозина! — Минута задержки, и, в самом деле, Рагозин появился раскрасневшийся, он задержался у радиотехника, доказывая ему, что «Чайка» неисправна. Вышел командир полка и приказал им обом ехать на аэродром и в его присутствии разобраться на месте:

— Теперь поехали!

Через несколько минут мы были уже на аэродроме. Шофер, подъезжая к каждому самолету, выкрикивал номера машин:

— «Двойка красная!» «Семерка голубая!» — и экипажи названных машин с шутками выскакивали из автобуса. Пришел и наш черед. Бортовой техник доложил командиру:

— Правый крайний мотор не дает ста оборотов. Причина до сих пор не выяснена, — выражение лица бортового техника без слов говорило о том, что не отыскать недостающие сто оборотов он считал для себя непростительным, но ничего не мог сделать.

— Плохо. — после некоторой паузы сказал командир корабля Додонов. — До взлета осталось 55 минут.

Прокофич, как звали мы своего бортехника, укоризненно посмотрел вслед своему командиру, как бы удивляясь тому, почему летчикам все кажется просто. Вот нет ста оборотов, да и все тут.

Мы с Додоновым сели у землянки и, закури́в, следили за действиями Прокофича.

Мотор несколько раз запускался и все же оборотов не доставало. Наконец к самолету подъехал командир полка. Выслушав доклад Додонова, командир принял

решение машину в полет не выпускать и уехал к самолету штурмана Рагозина, где нужно было решить спор в отношении радиополукомпыаса «Чайка». Я уверен, когда ты установишь причину, то сам удивишься: «как не мог понять раньше такого пустяка». Ну а что такое в авиации «пустяк» тебе рассказывать не следует.

К самолету подъехала машина командира полка. Адьютант доложил, что капитана Ушакова вызывает командир полка к самолету капитана Ищенко. Мы сели в машину втроем.

У самолета «Шестерка красная» стояли командир полка, штурман Рагозин и радиотехник. Я доложил о прибытии.

— Вам как штурману эскадрильи я поручаю одновременно с выполнением боевой задачи проверить пригодность для эксплуатации радиоприбора на самолете капитана Ищенко, — сказал командир полка.

Мои летчики, Додонов и Арсен теперь уже не уходили от самолета. Они понимали, что значит итти в боевой полет в составе другого экипажа, так как только взаимная уверенность в бою являлась залогом успеха. Они помогли мне быстро одеться, так как моторы уже были запущены и до взлета оставались считанные минуты.

Застегнув лямки парашюта и поблагодарив своих боевых друзей за внимание, я по стремянке быстро влез в свою кабину. Рукопожатий, конечно, не было. Мы медленно порулили на старт и через несколько десятков секунд были в воздухе.

Прошло два часа. Начали появляться облака. Никого это не беспокоило, так как эти облака были облаками хорошей погоды. Они представляли единственную трудность для меня, закрывая видимые даже и ночью ориентиры. Я ждал появления шоссе́йной дороги, чтобы определить путевую скорость, а затем и ветер. Ветер, на который обыкновенно не обращаешь никакого внимания на земле, является основным элементом для точного самолетовождения. Поэтому каждый штурман на маршруте только и занимается тем, чтобы определить ветер любыми способами, а определив, следить за его изменением.

Я прильнул к нижнему стеклу кабины, чтобы, наблюдая разрывы облаков, не пропустить шоссе́йную дорогу, но заметить ее мне так и не удалось. Оставив свои расчетные данные, мы продолжили полет до появления следующих ориентиров. К другим способам навигации прибегать не следовало, так как облачность должна была полностью раствориться из-за понижения температуры.

В бортовом журнале против «Шоссе» стояло только расчетное время пролета.

Прошло еще 30 минут, и линия фронта осталась позади. В корабле было тихо. Каждый член экипажа занимался своим делом. Летчики, включив автопилот, отдыхали.

Рассчитав время прибытия на реку Сааша, я взялся за радиополукомпас «Чайка» и стал настраивать на одну из радиостанций. Вдруг я почувствовал сильный толчок самолета.

— Что с мотором, с мотором что? — В ответ последовала незаконченная фраза борттехника:

— Вык...! — Да, мотор был выключен. Причина неизвестна. Ясно одно: что-то случилось с маслосистемой. Машина пошла с небольшим снижением. Летчик этому не препятствовал, так как не хотел давать лишнюю нагрузку оставшимся трем моторам. В самолете стало еще тише. Все ждали решения командира.

— Штурман, курс на запасную цель! — скомандовал Ищенко.

Прежде чем дать курс, я должен был определить расчетное место нахождения самолета, а уже после снять путевой угол на цель. Я грубо дал курс. Летчик с небольшим креном начал разворот в сторону работающих моторов. Разворот был настолько пологим, что мне хватило времени для того, чтобы наиболее точно определить курс. Теперь была задача — без лишней затраты времени найти запасную цель. Облачность стала редеть и прекратилась. Это меня обрадовало. Понимая, что выйти точно на цель было невозможным, я увеличил курс с расчетом выйти заведомо правее цели на характерный ориентир.

Рассчитав время прибытия на цель и установив данные бомбометания на прицеле, я прильнул к стеклу, стараясь не прозевать реку. Снижение прекратили. Высотомер показывал 2300 метров. С этой высоты решено было производить бомбометание. Правый мотор работал теперь на максимальных оборотах. Летчик умело использовал избыток мощности левой стороны. В сторону левой плоскости на хвостовом оперении был выпущен «триммер» — шиток. Струя воздуха, ударяясь о «триммер», заносила хвост самолета в сторону правой плоскости, помогая мотору. Самолет шел по прямой. Летчик передал часть мощности левых моторов правому среднему, но все равно средний работал с перегрузкой. Скорость самолета уменьшилась на несколько десятков километров.

С минуты на минуту должен был появиться ожидаемый мною ориентир. Я не отрывался от стекла. Вот подо мной проскочило маленькое озеро, как водяное пятно на асфальте. На карту я больше не смотрел, я уже все ориентиры знал наизусть. Над этой целью я бывал не раз.

Вот и река, ведущая к железнодорожному узлу.

— Разворот влево! — команду я и пристально вematриваюсь в темноту. Дьявольски темно! Даю поправки в курс. К реке у самого железнодорожного узла подходит шоссе — это начало цели.

— Скоро? — спрашивает летчик.

— Скоро, так держать, — отвечаю я.

— Держу так, да вот прожекторов что-то нет. — Меня также это удивляло, мы находились у самой цели. Однако направление нашего полета строго на железнодорожный узел заставило противника откатиться от политики выжидания. Один за другим поднялось несколько десятков прожекторов. Я прижался плотнее к стеклу, производя несколько мелких доворотов по курсу. Прожектора начали лизать плоскости. Вот-вот схватят, тогда пропала точность бомбометания, так как на повторные заходы на трех моторах рассчитывать нельзя. Артиллерия открыла стрельбу. Разрывы снарядов мне не видны. Я смотрю вниз и вижу только огонь орудий в момент выстрела. Сколько их — считать некогда. В кабине запахло порохом, это от снаряда, который разорвался впереди самолета.

«Скорей, скорей! Эх, успеть бы», — думал я. Вот оно, шоссе. Вижу цель. Даю команду:

— Чуть вправо, Коля! Крена, крена не делай! — Ответа на мое требование нет. Все молчат. Машина как будто сама повинуется моим командам.

— Еще чуть-чуть вправо! Так, хорошо! — передаю я по ларингофону.

— Немного осталось, так держи, сейчас буду бросать. Врос... — я нажал кнопку, и машина стала судорожно вздрагивать с интервалом в полсекунды.

Четыре тонны бомб полетели вниз.

После слова «бросил» летчик резко и глубоко спланировал. Его задача — скорее уйти от прожекторов. Для этого он машину бросает то влево, то вправо, все более наращивая скорость. Прожектора то и дело лижут самолет, но схватить им пока не удается.

Я припал к стеклу и слежу за целью.

Где разорвутся бомбы?

За целью наблюдают и стрелки. Вдруг все почти в один голос закричали:

— Здорово! Отлично!

Я поднял голову. Мы уходили с большим снижением. Высота была небольшая, и поэтому заработала мелкокалиберная артиллерия, выбрасывая десятки огненных лент трассирующих снарядов. Эта цветная колбаса все чаще и чаще стала проскакивать около самолета.

Еще немного и мы уйдем! Вдруг раздался сухой треск с правой стороны.

«Кажется, попали», — подумал я. Мы были уже вне зенитного огня, и теперь можно заняться осмотром машины. Тех-

ник с переносной лампой полез в плоскость посмотреть повреждение, но обнаружить ничего не удалось. Все казалось нормальным. Однако на всех моторах упало давление бензина. Это уже плохо. При отказе одного мотора не только лететь, но и воевать можно было, а вот без бензина лететь невозможно.

Вторичный осмотр также ничего не дал. Была повреждена главная бензомагистраль, но установить место повреждения не удалось.

Записав все необходимое в боржурнал и составив радиограмму о выполнении боевого задания и повреждении самолета, я стал уточнять, где находится наш самолет, — теперь мне нужно было, как никогда, знать сколько еще лететь до линии фронта, а пролетев ее, подобрать площадку на случай вынужденной посадки. Высота была небольшая, земля просматривалась хорошо, и определить действительное место самолета было нетрудно.

Пролетаем линию фронта на высоте 200 м. Отчетливо видим артиллерийскую перестрелку с обеих сторон.

Установив место, даю новый курс на первую посадочную площадку. Подлетая к площадке, летчик сделал разворот влево. Вдруг самолет резко бросило вправо. Я схватился за ремные поручни, чтобы не удариться головой, и ничего не понимал, что происходит. Раздался голос Ищенко:

— Помогай!

Потом все стихло. Теперь все четыре мотора не работают. Самолет превратился в тяжелый планер. Незаметно мы потеряли еще несколько десятков метров высоты. Попытки техников подкчать горячее ручным насосом ни к чему не привели. Гул моторов смолк. Воздушный поток ударил по винтам самолета, превратившимся теперь в простые ветрянки.

Высотомер показывал 160 м. Я поднял лок для прыжка с парашютом и передал команду стрелкам собраться в хвост самолета. Мою команду никто не слышал. Стрелки уже собрались в одном месте, встали в круг и, крепко обхватив друг друга, приготовились принять удар.

Самолет, не имея тяги, пытался сорваться то на нос, то на крыло. Теперь все зависело от летчика. Он так умело использовал рули, что машина его слушалась, хотя скорость была на грани критической. Мы шли по прямой. О разворотах и думать было нечего.

«Куда мы летим?», — с тревогой подумал я.

По привычке взглянул на компас. Его показания, конечно, мне ничего не дали. Мы летели с курсом 120 градусов. Выровнившись самолет, летчик вложил фары, чтобы посмотреть местность. Только теперь я понял всю опасность, грозящую экипажу.

Под нами — деревянные дома поселка. Придется садиться прямо на них. Эту смертельную опасность видели и ясно представляли только два летчика и я. Остальные члены экипажа, ничего не подозревая, вручили полностью свою судьбу в руки командира, ждали посадки. В самолете молчали.

Я посмотрел на высотомер. Стрелка показывала высоту 125 метров.

Что делать? Оставаться в кабине опасно, прыгать с парашютом с такой высоты тоже. Что же выбрать? В это время луч фар осветил деревья парка на окраине поселка. Летчик сделал незаметный доворот. Я его хорошо понял. Он хочет дотянуть до леса и спасти жизни большинству членов экипажа.

Неужели не дотянем? При посадке на лесная кабина будет смята, как яичная скорлупа. Я представлял только липший груз.

Движением руки я показал борттехнику, что буду прыгать. Он или не понял, или не заметил, так как не сделал ни одного движения.

— Ну, Коля, тяни, дорогой, а я пошел, — сказал я сам себе и, взяв в руку кольцо парашюта, оттолкнулся от борта люка.

Не помню в какой момент я дернул кольцо. Видимо, сразу же после отрыва от самолета. Воздух, ударяющий в лицо с возрастающей силой, напомнил мне о том, что я падаю с большой скоростью. Мысли работают в таких случаях исключительно быстро, если человек не потерял самообладания. Я подумал:

«Что-то долго не раскрывается парашют. Все ли я сделал?» Правая рука моя была вытянута и составляла с туловищем тупой угол. Я попытался приблизить руку к себе и почувствовал сильный рывок вверх. Я повис на парашюте.

В это время самолет был перед моими глазами, и мне почему-то показалось, что моторы работают.

— Ну вот и хорошо, — сказал я сам себе, — моторы заработали, и они теперь благополучно сядут, а я приземлюсь.

Не приготовившись к встрече с землей, я сильно ударился. Весь удар пришлось принять левой ногой. Она хрустнула с сильной болью и сразу же потеряла упругость. Я ударился туловищем и потерял сознание. Очнулся я в придорожной канаве.

Только я отстегнул лямки парашюта и попытался встать, как все вокруг содрогнулось. Я понял, что летчику удалось дотянуть до парка. Дрожь прошла по моему телу. Скорее на помощь. Сделал несколько скачков на правой ноге — нет, ничего не выходит. Решил ползти. Преодолев метров сто, измученный, я лег на землю отдыхать. В это время из ближнего дома вышли два мальчика. Они что-то горячо обсуждали.

— Ребята! Помогите мне! — тихо, чтоб не испугать их, позвал я. Мальчики нерешительно остановились. Я объяснил, что мы потерпели аварию и недалеко упал самолет. Ребята посоветовались. Меньший сделал несколько шагов в сторону. Видимо, они мне не поверили и хотели позвать на помощь.

— А как ты сюда попал? — помолчав осведомился старший.

— На парашюте, — отвечал я. Ребята, очевидно, приняли меня за диверсанта.

— А где же парашют? — строго допрашивал старший.

— Да метров сто отсюда, на дороге.

— Колька, — сказал паренек, — сбегай посмотри — там парашют или нет?

Через несколько минут мальчик с трудом, волоком притащил мой парашют.

Я был проверен. Теперь уже вдвоем мои ребята дотащили парашют до своего дома, бросили его через высокий забор во двор и быстро вернулись ко мне.

Опираясь на старшего мальчика, подпрыгивая на правой ноге, я стал медленно передвигаться.

Прошли метров 150 и остановились у небольшого дома.

— Вот и станция, — пояснил старший. — Настоящая-то была на той стороне, да сгорела от немецкой бомбы.

Теперь в моем распоряжении были телефоны. Я быстро связался с местной властью, и медицинские работники отправились к месту катастрофы. За мной пришла легковая машина, чтобы отвезти в ближайший госпиталь воинской части. Но меня страшно беспокоила судьба экипажа, и я приказал шоферу ехать в район парка. Через несколько минут мы были на месте посадки.

Рассветало. Среди лиственных деревьев парка — каждое в один-полтора обхвата — лежал наш самолет. Сзади, в 30—50 метрах по линии полета, деревья были сломаны и исковерканы. Сломал последние четыре дерева плоскостями и воткнувшись в два дуба средними моторами, самолет повис на пнях сломанных им же деревьев. Моя кабина представляла бесформенную массу..

Я вышел из машины.. Навстречу мне шел Николай Ищенко, низко опустив перевязанную голову.

— Сергей! Жив? А мы тебя похоронили. Борттехник сказал, что ты выскочил, когда высота была 100 метров. Это же невозможно. Почему ты не прыгнул раньше?

— Во-первых, не сто метров было, а больше, — возразил я, — а во-вторых, не мог я покидать самолет — пока не убедился, что я, как член экипажа, вам не нужен. Ну, это в общем не так уж важно, ты мне скажи, что с народом?

— Борттехник с переломанной ногой отправлен в госпиталь, у радиста и второго пилота — повреждение позвоночника. Они отправлены тоже. А у остальных ушибы.

— Трудно поверить, что после этого люди могли остаться в живых, — сказал я, осматриваясь кругом. — Твоя заслуга в этом, Николай. Поздравляю!

Подождал врач, чтобы сделать мне перевязку. Мы сели на срубленное самолетом дерево.

— Ну расскажи, Николай, как все это произошло?

— Как только я включил фары, я понял, что все безнадежно, — начал Николай. — Не только сесть, а сломать самолет так, чтобы спасти экипаж, негде было. Кругом дома. Но ты сам знаешь, что летчик не сдается до конца. Вдруг луч фары лизнул по деревьям. У меня появилась надежда. Чуть-чуть не деляя крена, я довернул самолет в сторону леса, а высота все падала. Казалось, что самолет вот-вот врежется носом в лес. На самом деле я был на 1—1.5 метра выше деревьев. Чувствуя, что самолет становится неуправляем, я его резко дернул вверх, на густой лес. Вот этого-то я и ждал. Остальное тебе ясно.

Через несколько минут мы были в поезде. На станции нас встречали взволнованные боевые друзья. А через час в лагере, выпив по стопке водки, мы с Николаем, несмотря на боли, уснули крепким сном.

## СТИХИ

### ЛЕВ ЧЕРНОМОРЦЕЗ

★

#### РАССВЕТ В САЯНАХ

Я ночь провел в глуши урочищ,  
Где сосны стерегут покой  
И в темноте невольно хочешь  
До них дотронуться рукой.  
Форель плескалась в сонной Ложше,  
Олень с горы спускался пить...  
Но уж не мог таальник продрогший  
Ночные шорохи таить, —  
И я застал тот миг единый,  
Когда на сопках вспыхнул снег.  
Я знал, что горные вершины

Зарю увидят раньше всех,  
Я знал, что стоило родиться  
Хотя б затем, чтоб слушать здесь,  
Как плещут рыбы, и синица  
В кустах налаживает песнь.  
Лицом к востоку, не мигая,  
Смотрю, заря, в глаза твои,  
Сияй, сияй же, золотая!  
Я видел смерть  
И цену знаю  
Нетленной жизни и любви.

★

#### БИРЮСА

Золотая Бирюса  
От меня бежит в леса.  
Бирюса, как бирюза:  
Небо смотрит ей в глаза.  
Воды быстрые речонки,  
Ясны, чисты, как слеза.  
И бегу я им вдогонку.  
Бирюса ты, бирюзинка.  
Мнится каждая песчинка  
Драгоценной золотинкой.  
Ты куда бежишь? Постой!  
Я ловлю тебя рукой.  
Натыкаясь на корягу.

Погоди! Поставим драгу.  
Не уйдешь от нас в леса,  
Золотая Бирюса.  
Мы невестам присковым  
Принесем тогда обновы,  
Мы подарим им бусинки,  
Купим серьги-бирюзинки.  
Бирюса ты, бирюза,  
Словно девичьи глаза.  
И зовешь ты, убегая,  
Как девчонка молодая,  
Манишь в темные леса,  
Золотая Бирюса.

# ФРАНЦУЗСКИЕ ЗАПИСИ\*

А. РУБАКИН

★

ЧАСТЬ 4-ая

## ЛАГЕРЬ ДЖЕЛЬФА

Из вагонов мы вылезли усталые, скрюченные от неподвижного сидения, голодные, мучимые жаждой. Станция была маленькая, темная, горел только один керосиновый фонарь. Мы навьючили на себя все, что могли, и по команде двинулись в путь.

Мелькали во тьме дома без света в окнах, деревья. Потом мы поднялись на холм, прошли в ворота и очутились на большом дворе, со всех сторон окруженном низкими одноэтажными зданиями. Мы пришли к зданию, где стояли солдаты-арабы в бурнусах и чалмах, с ружьями. У них был вид разбойников, притом опереточных. Нас повели в большое сырое помещение с решетками на больших окнах. Здесь не было ни кроватей, ни столов, ни стульев, не было даже соломы на полу. Щелкнул замок.

Мы сбросили вещи на пол, в абсолютной темноте. Стали стучать в дверь — хотелось пить, нужно было в уборную. Дверь долго не открывалась. Из-за двери арабы грубо спрашивали: «чего тебе?» — А когда мы объясняли в чем дело, они отвечали: «сидите смирно».

Мы стали стучать все громче и громче. Тогда дверь открылась, вошел какой-то штатский с опухшим лицом алкоголика, в сопровождении двух солдат-арабов, несших фонарь.

— Чего вы скандалите? Чего вам нужно? — грубым тоном спросил он.

Мы объяснили в чем дело.

Штатский оставил на сказавшего бессмысленные оловянные глаза (он был пьян вдрызг).

— Завтра утром вы получите кофе. Есть у вас у всех виалки, ножи, ложки, котелки?

Мы ответили, что есть почти у всех.

— Ну смотрите, чтобы завтра утром у всех было, — он говорил так, словно за ночь мы могли где-то купить недостающие нам предметы.

Мы повторили ему нашу просьбу. Но тот, словно не слыша, упрямо и глупо твердил:

— Вы будете ночевать здесь, завтра утром вы получите кофе.

И собрался уходить. Кто-то бросился за ним вслед, повторяя нашу просьбу. Тогда штатский (позже мы узнали, что это был Гравель, правая рука коменданта лагеря Кабоша), обращаясь к арабам, бросил им на ходу:

— Вы можете водить их в... — он сказал грубое французское слово, — по-двое или по-трое зараз, не больше. — И ушел.

Пришлось располагаться на цементном и сыром полу. И вдобавок в полной темноте. Впрочем, у некоторых нашлись спички, у некоторых даже свечки, и огромное унылое помещение слабо осветилось. Одежда разложили на полу. У выходных дверей стояла очередь в уборную. Арабы принесли нам ведро воды — и ведро и вода были грязные. Но воду мы всю выпили тотчас же. Нас зудило от вшей, мы были грязны, измучены дорогой, на цементе лежать было нестерпимо жестко и холодно.

Утром нас стали выпускать во двор, к умывальнику, где с наслаждением мы окатились ледяной водой. Во дворе мы увидели товарищей из лагеря, которые здесь работали. Украдкой они рассказали нам, что мы находимся в форту Кафарелли, что лагерь в полутора километрах отсюда, что комендант лагеря Кабош настоящий палач и зверь, а его помощники Гравель и араб Ахмет — не лучше его.

Вскоре нас стали вызывать для допроса. Вел допрос сам комендант и его помощники. Тут мы впервые увидели знаменитого Кабоша. Высокий, молодежливый, с большой нижней челюстью, с бледно-голубыми глазами, он производил впечатление человека крайне жестокого, даже ненормального, всех нас он ненавидел какой-то личной ненавистью. Впрочем, это было понятно. Работник «второго бюро» французского генерального штаба (разведка) Кабош задолго до войны попал в Польшу, где шпионил против России. Здесь он женился на богатой польке и приобрел немало движимого и недвижимого имущества около Белостока. Все это имущество у него пропало после возвращения Западной Белоруссии в состав СССР. Поэтому он люто ненавидел все советское. Кабош недурно говорил по-польски и с самого начала стал заигрывать с интернированными поляками, в глазах которых хотел играть роль покровите-

\* Продолжение. Начало см. «Новый мир», 1945 г., № 1.

ля. Вся его политика в лагере сводилась к тому, чтобы сорвать между собой национальные группы, разъединить их и этим ослабить наше сопротивление.

Ответив на обычные формальные вопросы, я сказал Кабошу, что рассматриваю себя как военнопленного, ибо был арестован и интернирован без всяких к этому оснований, уже не говоря о том, что немцы напали на мою родину. Кабош слушал, глядя в сторону, а потом скучно сказал:

— Для меня вы являетесь таким же интернированным, как и другие.

Увидев из моих бумаг, что я был единственным советским гражданином в лагере, имеющим советский паспорт, он меня особенно возненавидел.

После всей этой процедуры нам велели идти в лагерь.

Лагерь Джелифа был создан как дисциплинарный лагерь для иностранцев, иначе говоря, как каторга, на которую посылали без суда, простым решением префекта департамента. Таким этот лагерь и оставался до самого конца. Вначале он официально назывался, как это значилось на печати, «концлагерем для политических интернированных». Потом, уже при нас, его переименовали в «центр пребывания под надзором» — иностранцы могли подумать, что речь идет о каком-то курорте, где люди живут, как хотят, а за ними только надзирают власти. На деле же это был и остался тюремный лагерь. Мы все знали и любили Францию как наиболее яркую представительницу культурной Европы, как страну, первой провозгласившую великие революционные лозунги и принципы, как страну Парижской Коммуны, страну великих и глубоко человеческих писателей. Но был у Франции и задний двор, где люди остались первобытно жестокими, хотя их жестокость и стала более утонченной.

Нам в лагере пришлось увидеть именно этот задний двор.

Расположенный на склоне холма, лицом к северу, открытый холодным ветрам, лагерь в Джелифе имел форму огромного прямоугольника, обнесенного тремя рядами колючей проволоки, прикрепленной к высоким деревянным столбам. Вдоль проволоки, снаружи и на углах, стояли жалкие соломенные шалаши, у которых несли охрану закутанные в бурнусы, мерзнувшие на ветру часовые-арабы. Против каждого угла была устроена башенка, с которой на лагерь глядело дуло пулемета.

Скользкая глинистая дорога шла с одного конца лагеря до другого, по обе стороны ее стояли грязные палатки. Мы прошли мимо них — на нас с симпатией глядели оттуда наши товарищи. В другом конце лагеря высались два длинных барака, один уже законченный, другой еще с неоконченной стеной и без крыши. Бараки были построены из кирпичей, сделанных из глинистой грязи, смешанной с соломой. В самом конце лагеря было небольшое пространство, огороженное новым рядом колючей проволоки. На этом пространстве высилось семь пала-

ток. Вход в закут был через ворота, запиравшиеся на замок. Туда-то нас и провели.

Это был так называемый «специальный лагерь». Только на-днях оттуда вышли товарищи, прибывшие на три недели раньше нас из Верне. Но там еще оставалась группа немцев-антифашистов, бывших бойцов интербригад. Высокий аджудан-араб с красивым жестоким лицом, по имени Ахмет, велел нам здесь располагаться.

Палатки были военного образца, рассчитанные на шесть человек. Нас было 10 человек. Пол в палатках земляной, сырой от дождя, между краем палатки и землей — щели, откуда дуло, полотнище в дырах. Вся палатка держалась на центральной мачте, поставленной на камень и не прикрепленной к земле. Не было в палатках ни цыновок, ни соломы. Пришлось разостлать одеяла прямо на земле. Мы легли ногами к мачте, по радиусам палатки. Все так устали, что думали только о сне. К счастью, ночь не была очень холодной.

Из лагеря видна была внизу железнодорожная станция, а вокруг унылые голые горы, по которым бродило стадо овец. Где-то на горизонте, на отлогом склоне, синел далекий лес. Более унылого пейзажа нельзя было найти нигде в окрестностях Алжира.

Командант лагеря Кабош, как я уже сказал, был офицером из числа тех, чья служба прошла во «втором бюро». Хорошо известно, что «второе бюро» всегда играло крупную политическую роль в стране. Достаточно вспомнить знаменитое дело Дрейфуса. Но после мировой войны 1914—18 гг. «второе бюро» стало органом политической разведки. Оно занималось, главным образом, политическим сыском, дополняя работу французской охранки (Sûreté G n rale). Это была высшая инстанция политического сыска.

На работу во «второе бюро» брали преимущественно офицеров-реакционеров. В этом смысле подбор был строгий.

Но, в отличие от других разведок, «второе бюро» менее всего было заинтересовано в собирании объективных фактов и установлении действительных настроений разных общественных групп. «Второе бюро» приспособляло события и факты к заранее определившимся мнениям — знать не то, что есть на самом деле, а то, что соответствует уже принятой точке зрения.

Уже в лагере я читал в швейцарских газетах текст доклада начальника «второго бюро» военному министру о состоянии Красной Армии. Доклад этот был составлен в 1937—38 гг. В нем говорилось, что Красная Армия технически слаба, что ее военное руководство не отвечает современным требованиям. И это писалось накануне Великой Отечественной войны, в которой Красная Армия показала себя сильнейшей армией мира! Такова была информация «второго бюро».

Неудивительно, что представители «второго бюро», в руках которых мы оказались, проявили такое же непонимание политических событий, как и само бюро.



Кабош работал во «втором бюро» лет тридцать, также как и его ближайший начальник, полковник Бро, комендант военного округа Лагуа, в ведении которого находился лагерь Джелифа. И эти матерые разведчики теряли всякое самообладание, когда им приходилось сталкиваться с русскими людьми, представителями советской страны. В этом суть французской буржуазии, боющейся за свои сейфы, банки и предприятия и видящей в СССР угрозу своему благополучию. Будучи сами оскорблены, унижены немцами, эти чиновники из петеновских ведомств не имели ни достаточного патриотизма, ни силы воли, ни желания бороться с гитлеровскими агрессорами.

В этом отношении очень характерна позиция Кабоша. Нас он ненавидел как коммунист. Нам он говорил, что ненавидит немцев — а перед ними он трепетал. Но он ненавидел и американцев и англичан — он и полковник Бро. Когда, после высадки 8 ноября в Алжире, пошел слух, что английские отряды идут к Джелифе, Кабош велел своим арабам подготовить позиции и установил на них лагерные пулеметы, взяв под обстрел дорогу, по которой ожидалось прибытие англо-американцев. Правда, пулеметы были старые, ржавые, патронов для них было мало, никакого вреда англичанам они причинить не могли. Но в тот момент Кабош об этом не думал. Так как пулеметы стали бы стрелять со стороны нашего лагеря, англичане, отвечая на огонь, обстреляли бы лагерь, и плохо пришлось бы нам, а не Кабошу. Быть может, он имел в виду и это.

В Африке французы господствовали, непосредственно немецкий гнет не чувствовался, можно было жить спокойно, сытно, тепло.

Когда английские комиссии стали приезжать в наш лагерь, нужно было видеть с каким почтением принимали их Кабош и Бро. Нам же после отъезда англичан они заявили:

— Здесь еще, слава богу, распоряжаемся мы, французы!

Помощники Кабоша были французские чиновники, бездушные, робкие перед начальством, наглые с нами. В лагере их больше всего интересовала возможность использовать для себя бесплатную рабочую силу. Воровали в лагере все, начиная с Кабоша и кончая последним арабом, крали явно, нагло, на наших глазах. Когда в лагере началась борьба против сыпного тифа, интендант должен был прислать для обтираний против вшей смесь из равных частей оливкового масла и керосина. Керосин был дешев, масло дорого. Интендант прислал почти чистый керосин, заработав на этом литров десять масла.

Весь лагерь Кабош превратил в мастерские, а интернированных — в рабочих. В этом отношении он оказался блестящим организатором. В своей деятельности он вдохновлялся, можно сказать, принципом, общим для всех чиновников правительства Виши: награбить возможно больше в наиболее короткий срок.

Первой мыслью Кабоша, когда он был назначен начальником только что созданного прави-

тельством Виши лагеря Джелифа, было: использовать рабочую силу интернированных. Среди них оказалось огромное количество специалистов. Но работать никто не соглашался — значит, надо было их заставить. И тут Кабош стал действовать очень умело, со всей ловкостью старого колониального служаки.

Он созвал заключенных и посулил тем, кто будет работать, усиленный паек, а тем, кто продолжал отказываться, угрожал репрессиями. Часть наименее сознательных поляков и испанцев поддалась искушению.

Поляков послали на работу в лес, километров за сорок от Джелифы. Испанцев засадили за работы в самом лагере. Не работающих Кабош перевел на голодный паек. Кроме того, «зачинщики» были изолированы и отделены от прочих колючей проволокой. Обнаружить зачинщиков Кабошу удалось очень просто. В это время интернированные составили заявление на имя Петена, требуя уважения к своим человеческим правам, и все те, кто подписал заявление, были включены в число зачинщиков. Из их числа человек десять, считавшихся главарями, посадили в «специальный лагерь», в одну палатку, с запрещением выходить из нее. Норму хлеба им снизили по 150 г в сутки. В лагерной лавке запрещено было продавать им что бы то ни было. Такой режим означал медленную смерть. Три месяца они просидели, не выходя из палатки, нагретой палящим африканским солнцем (дело было летом.) Нужно было всё самоотвержение товарищей, чтобы доставлять хоть кое-какие продукты этим «заключенным на солнце». Тех, кого ловили на передаче, немедленно сажали в тюрьму. Через три месяца эти десять человек вышли из заточения похожими на скелеты.

На другой же день после приказа о работе не работающим стали давать только воду с плавающей в ней кожурой от бобов. Началась настоящая голодуха. Кабош явно шел на провокацию. Чтобы избежать новых издевательств и голодной смерти, мы все порешили стать на работу.

Работу можно было выбирать: постройка кожевенного завода, кирпичный завод, изготовление кирпичей из грязи, каменоломни, изготовление изделий из альфы и т. д. Я записался на плетение альфы. Этому обучали особые мастера-испанцы, работать можно было в своей палатке, сидя, и мне казалось, что это наиболее подходящее для меня занятие. В конце концов я научился плести из альфы веревки и широкие полосы, из которых делались цыновки.

На изделиях из альфы Кабош зарабатывал огромные деньги. Особенно велик был спрос на сандалии и мешки из альфы. Сандалии продавались в магазинах по 47 франков. Кабошу они обходились в 300 г. хлеба — кило хлеба тогда стоило 3 франка, прибавьте к этому стоимость материала, т. е. меньше франка. Такие же сандалии, но похуже, сделанные нами же, выдавались нам, когда у нас не было обуви. И выдавались платно — по 5 франков за пару.

На альфе я работал месяца три, потом долго еще на пальцах не заживала кожа.

Некоторые заключенные работали в каменоломне — подрывали скалу динамитными патронами, потом разбивали кирками и ломами камень и складывали его в кучи около дороги. Из камня строили мало, только дом для лагерного начальства и склад. Но все местные подрядчики покупали камень в лагере, и доход от него шел в карман коменданта.

При свете лампы раскладывали свои «постели». Днем они должны быть свернутыми — по приказу коменданта, который сам следил за этим при своих обходах. Первые дни мы спали просто на одеялах, разостланных на холодной и сырой земле. Раздеться было, разумеется, немисливо. Снимали только пальто, ботинки, шляпу.

Дрожь от холода, мы забирались под одеяла. От холодной, жесткой земли веяло сыростью. Сверху дул холодный ветер, проникающий всюду. Дня через три нам выдали по охапке соломы, так мало, что ее хватало только на то, чтобы подложить под бока. Позже мы раздобыли мешки и из них сшили чехлы для соломы.

Так жили мы в островерхих полотняных палатках «марабу», раскиданных в пустыне, у предверья Сахары. Кроме редких селений вдоль шоссе на дороге, ведущей в Алжир, на сотни километров кругом не было жилья, не было людей.

Ветер в лагере дул день и ночь, всегда холодный. Он яростно бился о палатку, качал тонкую мачту, на которой держался ее свод, и подвешенные к мачте наши котелки стучались и звенели. Порой порывы его были так сильны, что мачта гнулась, и, казалось, палатка рухнет.

Впрочем, это не только казалось. В темные зимние ночи не раз порыв ветра вырывал из земли колышки, к которым полусгнившими веревками были привязаны концы — края палатки. Обрушивалась мачта, ледяный ветер и поток дождя будили нас. Придавленные полотнищем, мы вскакивали и в крошечной тьме заморозженными пальцами нащупывали концы веревок, вбивали камнями в оледеневшую землю колышки, поднимали мачту.

Сквозь дыры в палатке, сквозь разрывы свободно проникал дождь. Порой мы просыпались, занесенные снегом, и долго счищали его с одежды.

Спать приходилось недолго. Все мы от хронического голодания и холода, от соприкосновения поясицы с ледяною землей страдали полиурией, а многие и поносом. Приходилось по несколько раз в ночь вылезать из-под одеяла и наваленной на них одежды, в темноте нащупывать ботинки и пальто и бежать в «уборную».

За проволокой, во мраке, за несколько метров от нас, у своего шалаша торчал часовой-араб. Не полагалось выходить из палатки, не известив его, и тишину пререзал крик (акцент менялся в зависимости от того, кто кричал — русский, немец, поляк):

— Sentinelle! (Часовой.)

В ответ из тьмы гортанный голос араба спрашивал:

— Чего ты хочешь?

— Я иду...

Мы не стеснялись в выражениях. И часовой, считая это вполне нормальным, ибо и сам выжидал не мягче, отвечал:

— Иди, мой друг!

Иной раз мы забывали известить часового о наших намерениях. Если часовой спал, все обошлось благополучно. Но в противном случае часовой кричал:

— Ты куда идешь?

— Иду...

— А почему меня не позвал?

— Забыл.

— Ступай обратно.

Если опрошенный возражал, спорил, араб кричал:

— Ступай обратно!

В темноте слышался злобный стук затвора. Ничего не оставалось, как вернуться в палатку, посидеть в ней минут пять и снова выйти, на этот раз крикнув во всю глотку:

— Sentinelle!

И услышать благосклонный ответ:

— Иди, мой друг.

В семь утра, в самый холодный час, когда небо уже побелело, а солнце еще не взошло, в час, когда палатки покрывались инеем и из грязно-серых становились ослепительно-белыми, надо было выстраиваться на поверку.

Джельфа была обнесена узкой кирпичной стеной с бойницами. А теперь форт Кафорелли служил казармой для арабских стрелков и... тюрьмой.

Обычно зимой из тюрьмы на третий или четвертый день людей направляли прямо в больницу.

В августе 1942 г. Кабош, увидев меня в лагере, подозвал к себе и хрипящим от злобы голосом сказал:

— Вы в ваших письмах разводите политику. Вы знаете, что это запрещено?

— Господин комендант, я пишу только жене — и никогда о политике.

— Что? Вы ждете! Вы писали, что в Европе умирают от голода.

— Но ведь об этом пишут все французские газеты.

— Что? Вы хотите сказать, что я морю людей голодом?

Очень мне хотелось ответить, что, разумеется, он это и делает. Но я сдержался и заметил:

— Я пишу об Европе, а наш лагерь в Африке.

Кабош погрозила мне пальцем:

— Если это еще повторится, я пошлю вас в тюрьму.

Случай ему представился очень быстро. Несколько дней спустя он встретил меня в лагере и опять злобно набросился:

— Я вас предупреждал, чтобы вы не писали о политике, а вы все-таки пишете. Это вам будет дорого стоить.

— Господин комендант, я не писал писем с тех пор, как вы мне сказали.

— Что? Вы еще спорите? Я лишаю вас права переписки.

Он отошел, трясясь от злости, и вдруг закричал:

— Ступайте в тюрьму на 15 дней! Вы — врач, вы — советский, так идите же.

Он придирался ко мне еще и за то, что я тайно читал товарищам лекции по биологии, по истории русской литературы, сочинял поэмы и пьесы к празднованию разных годовщин. Обо всем этом он знал через своих шпииков. В тюрьме я просидел не 15, а 17 дней. Товарищи с большим трудом доставляли мне туда пищу, папиросы, газеты, даже передали лишнее одеяло. Без этого я вряд ли выдержал бы эти бесконечно долгие 17 дней. Умыться было нечем — воды для питья и для умыванья давалось по две кружки в день.

Дни и ночи тянулись бесконечно долго. По ночам появлялись мыши, пищали, залезали на мою «крОВАТЬ», но, увидев, что есть нечего, уходили.

Из тюрьмы я вышел как после долгой болезни — бледный, страшно ослабевший. К счастью, помогли товарищи, дав мне из средств коллектива усиленный паек.

За эти годы жизни мы все сжились друг с другом, как братья. Теперь, когда мы расцелись по СССР, мы не потеряли надежды встретиться и вместе вспомнить о тяжелой неволе. Каким далеком все это кажется!

С первых же дней заключения я вел дневник. Писать было нелегко: надо было тщательно прятать его от начальства, от обысков, от шпииков. Это удалось, и дневник мой ни разу не попал к ним в руки.

Выдержки из дневника:

«13 октября 1942 г. Вчера испанцы праздновали «испанский день». Шел спектакль — живой, остроумный. Устроили выставку из наших «изделий»: из костей верблюда (мясо нам давали в пищу, когда верблюд окочевал), из волоса, самолеты из алюминия, туфли из... альфы.

15 октября. Из Берруагия привели в лагерь немца Карла Фолькхарда. Это — шпиик, провокатор. Его узнали и избили. Вокруг него в бараке столпился народ — все ходили смотреть. Он — небольшой, щуплый, сидел на нарах, как загнанный зверь, с безумным ужасом глядя на толпу. Кто-то предупредил об этом Кабоша. Тот сказал:

— Мне наплевать, это не мое дело, пусть его бьют!

В ту же ночь его серьезно избили. В темноте, по ошибке, избили и его ни в чем не повинного соседа.

Днем опять ходили мимо него, били. Вечером он открыл себе вены на руках. Его увезли в больницу. Раны оказались пустячными, притворными. В барак он больше не вернулся.

17 октября. В лагерь приехал пастор, служил в бараке. У нас теперь имеются три «религиозных» группы: еврейская, протестантская и православная.

Вчера приехала итальянская комиссия. Кабош к ее приезду велел убрать пулеметы, передел солдат в штатское — по условиям перемирия. Объявлен обед из четырех блюд. Впрочем, только объявлен — мы его так и не получили.

В январе 1942 г. лагерь посетил алжирский генерал-губернатор Шатель. К его приезду на кухню привезли 10 бараньих туш, картошку, финики, апельсины. Мы радовались — хоть раз да поедим!

Шатель приехал, пришел на кухню:

— Вы им даете слишком много мяса, — заметил он Кабошу.

— Да ведь они работают, их надо кормить, — лицемерно ответил Кабош.

Шатель уехал. А час спустя из города приехала повозка, забрала мясо, картошку, апельсины — и увезла. Так мы ничего и не получили.

8 ноября. Вчера тайно праздновали Октябрьскую годовщину: доклады, декламация, песни — всё прошло с большим подъемом. Вести из Союза хорошие, у всех радость на сердце.

Невероятный слух: англичане и американцы сегодня высадились в Алжире.

9 ноября. Слух подтверждается. В лагере неписуемое волнение. Арабам розданы патроны и пулеметные ленты. Вероятно, скоро свобода.

10 ноября. Американцы и англичане — в Алжире. Вчера из Джелифы отправлен против них отряд спаги с 8 орудиями. В дороге оказалось, что у двух орудий нет замков — вещь, мыслимая только у французов. Орудия оставили на какой-то станции, а отряд вернулся, так как поезд дальше не шел, американцы велели остановить движение.

В лагере работаем как обычно.

Кабош сегодня отправил в тюрьму двух испанцев. Дело было так. Он проходил мимо группы интернированных. Один из группы ему не поклонился. Кабош на него набросился. Испанец ответил, что он ему уже кланялся. Кабош резко заметил, что ему должны кланяться каждый раз, когда его встречают. Испанец спокойно возразил, что Кабош уже не комендант, что теперь командуют американцы. Взбешенный Кабош позвал Гравелла и солдат, и испанца с его соседом увели в Кафарелли.

Полковник Бро в Лагуате заявил, что будет сопротивляться американцам «до конца». И... уехал в Алжир. Петеновские легионеры, отцепившие вчера свои значки, снова их нацепили.

12 ноября. Вчера через Джелифу проезжали англичане, интернированные в Лагуате. В Джелифе их отлучно накормили. Они едут в Алжир в классных вагонах. А мы всё сидим в лагере.

В нашем лагере тоже освободили единственного англичанина. Я пошел к Кабошу. Спрашиваю, почему нас, русских, не освобождают.

Кабош ответил:

— Вас это не касается.

В бюро лагеря вывешено объявление о том, что никакие просьбы об освобождении не бу-

дут приниматься, даже письма и телеграммы родным об этом.

4 декабря. Вокруг лагеря появились огромные стада баранов. Раньше, боясь немецкой реквизиции, владельцы угоняли их и прятали где-то в горах.

В Алжире были манифестации, требовали нашего освобождения, полиция рассеяла манифестантов.

Когда мы узнали об англо-американской высадке в Алжире, то сразу подняли головы, а начальство, наоборот, подало хвост. Теперь Кабош видит, что о нас никто не заботится, и начинает снова поднимать голову. Странно все-таки, что англичане и американцы нас не освободили. О существовании лагерей они знают и своих освободили в первые же дни.

5 декабря. Сегодня наша группа праздновала день Сталинской Конституции. Теперь празднуем открыто, с соответствующими речами. Праздник очень удался. С гостями в бараке собралось человек 150, нельзя было пробиться. Был настоящий кофе, пирожное из фиников и из желудей.

7 декабря. Сегодня утром Кабош вызвал поляков и спрашивал их, не хотят ли они служить в польской армии. Ответы были разные. Большинство ответило: «да, если меня призовет польское правительство». Кабош пришел в ярость, кричал: «я здесь представляю польское правительство». Один поляк сказал: «нет, пан комендант, я два года дрался в Испании, сижу четыре года в лагере, с меня хватит». З. заявил, что он никогда не служил в армии. Тогда Кабош записал его не поляком, а апатридом. Потом опять спросил у него: «а служить все-таки хотите?» З. ответил, что хочет. Кабош тогда записал его «волонтером». Многие поляки отвечали, что они не польские граждане, а советские. Тех Кабош с яростью выгонял.

9 декабря. Полковник Бро из Лагуата вызвал шефов барakov и потребовал, чтобы они следили за дисциплиной. Грозил, что у него есть 200 штыков и пулеметы, чтобы заставить нас слушаться.

Зима началась. Весь день и всю ночь дует ветер. Топлива не дают. Пища все хуже.

18 декабря. Сегодня алжирские газеты напечатали послание адмирала Дарлана американскому генералу Эйзенхауэру. Дарлан заявляет, что все заключенные и интернированные, поданные Объединенных Наций, им уже освобождены. На основании этого послания я написал заявление Дарлану. Секретарь Кабоша, фашист Гризар, сказал мне, что вряд ли оно дойдет. Я ему: «Но ведь мы, на основании послания Дарлана, должны быть уже освобождены?» Гризар нагло: «Это относится только к гражданам Объединенных Наций, а я не знаю, являются ли русские таковыми».

24 декабря. Сегодня сочельник. Вчера мы праздновали в нашей группе день рождения тов. Сталина. Из Кафареллы вернулись двое арестованных — совершенно больные. Их освободил врач, даже не осматривая. Кабош встре-

тил на дороге молодого испанца, дал ему за что-то две пощечины и послал в тюрьму.

25 декабря. Рождество. Сыро, холодно. Кабош лишил нас праздничного обеда за то, что наш хор отказался петь в городе. На обед вода с макаронами и картошкой, вечером вода с картошкой. Кабош потребовал у наших музыкантов, чтобы они сдали ему свои инструменты. Те отказались. Год тому назад Кабош послал бы арабов с винтовками, чтобы их отобрать. Теперь он этого не смеет сделать.

Прибыло двое новых интернированных: один бельгийский граф, фашист, другой молодой бельгиец, тоже фашист. Их арестовали как шпионов американцы. Граф вербовал в Алжире добровольцев в «антибольшевистский легион». Кабош устроил графа на теплое местечко — в интендантстве.

29 декабря. В коллективе деньги кончились. Последние затрачены на расходы по встрече Нового года. Мы сидим на чемоданах — каждый день ждем от англичан освобождения. В этом месяце, из-за высадки англо-американцев, мы устроили столько праздников, что растрапили все деньги и продукты. Мы думали, что теперь нам все это уже не нужно.

1 января 1943 г. Незабываемый торжественный день. Мы сделали два больших плаката из одеял — на них буква V из флагов Объединенных Наций. На польском плакате — фамилии советских и союзных генералов, в середине слово «единство» на всех языках лагеря. Были речи, пел русский и испанский хоры. Все это в пещерной обстановке барака, заставленного старыми, грязными, рваными вещами. Сделали пудинг из фиников, по мило на брата, все съели дочиста. В 12 часов ночи все вышли наружу. Ночь была темная, звездная, холодная. Дрожа от холода, накрывшись одеялами, собрались на площадке между бараками. Там — большие чучела Гитлера и Муссолини, привязанные к железной штанге. В полночь их зажгли. Они запылали гигантским костром, осветив наши бараки, людей в домотыжд и в одеялах, колючую проволоку. Искры летели в звездное африканское небо. При свете этого костра один испанец сказал речь о победе и единстве. Пламя бушевало, пока мы пели, чучела корчились в огне. Потом хороводом мы пясали вокруг костра. Все поздравляли друг друга с близкой победой, со скорым освобождением. Плакали от волнения, обнимались. Потом в темноте побрели в свои бараки, показавшиеся нам еще грязнее и унылее, чем раньше. Джельфа спала, сонные замерзшие часовые-арабы молча глядели на нас через проволоку.

3 января. Никаких намеков на наше освобождение. Газеты публикуют приказ Жиро об освобождении «некоторых» политических заключенных, «отличившихся на войне или проявивших патриотизм». К иностранцам и интернированным это не относится. Нам ясно, что для нас не будет никаких перемен, пока англичане и американцы не обуздают французских фашистов.

6 января. Сегодня из лагеря освобожден французам бывший атаман Белый, первоклас-

сный бандит, гитлеровец. Значит, фашистов освобождают, а нас нет.

В Лагуат из Алжира привезли немцев и итальянцев, членов германской и итальянской комиссий перемирия в Алжире. Высадка англо-американцев произошла так внезапно, что эти господа даже не успели удрать и были захвачены в плен. В Джельфе их накормили отличным обедом, потом на автокарах отправили в Лагуат.

11 января Кабош свирепствует. Вывесил объявление, запрещающее приближаться к проволоке ближе, чем на 6 метров, а за «саботажем» внутри лагеря вводит суровые наказания. Дело в том, что мы сплели на топливо несколько столбов, на которых держалась проволока.

Поляков снова позвали на комиссию — но только католиков, а не евреев. Их допрашивал польский «консул» в Алжире, граф Чапский, который в прошлом году так горячо вербовал рабочих-поляков для Германии. Он продолжает оставаться консулом и теперь. На этот раз он приглашал поляков записываться в польскую армию Сикорского.

Потом Чапский собрал всех поляков в новом бараке и сказал им речь. Суть ее в следующем: «речь идет для вас не о борьбе против Гитлера, это дело союзников, ваше же дело — восстановить великую и свободную Польшу, борясь против всех, кто этому мешает». Затем у каждого он спросил: «а будете ли вы драться, если это понадобится, против России?» Все поляки в один голос сказали, что против СССР никогда не пойдут. Хорош «дипломат»!

21 января. В лагере объявился случай сыпного тифа. Начальство напугано. По предложению врача лагеря, комендант поручил мне борьбу с тифом. Наш коллектив меня энергично поддерживает.

Вчера приехала долгожданная комиссия — английский вице-консул и с ним один офицер. Кабош вызвал меня в бюро для составления списка русских. Консула любезно пожал мне руку, освedomился о здоровье. Кабош вертелся рядом, челюсть у него прыгала от злости. Он задыхался. Кабош всячески пытался меня поскорее удалить. Но мне удалось сказать англичанам главное. Они ответили, что все это уже знают.

Сегодня же эта комиссия уехала, ничего не сказав и забрав наши списки.

24 января. Вчера освободили одного испанца-фашиста, который раньше служил у Франко, а потом занимался спекуляцией в Алжире.

28 января. Масса событий — конференция Рузвельта и Черчилля в Касабланка, встреча де Голля и Жиро. У нас без перемен. В управлении лагеря служат молодые здоровые французы. Так как в Алжире теперь объявлена мобилизация, то мобилизованы и они. Неделю военную форму, кроме своего гражданского, получают еще и военное жалование и... никуда не едут.

16 февраля. В последние недели я был представителем советской группы, вроде как председателем, и все переговоры с Кабошем

велись через меня. Кабош вчера вызвал меня в бюро. Он был в штатском, и, к моему изумлению, весьма вежлив. Говорит: «Извините, что вас беспокою (!). У меня срочное дело. Завтра, в 9 часов утра соберите всех русских на площадке перед метро (так мы называли безобразный темный барак, построенный по плану Кабоша и похожий на станцию метро). Повидимому вами серьезно занимаются».

Пошел в лагерь — еще не дошел, а уже весь лагерь знал об этом приглашении. Волнение страшное. Из Кафарелли выпустили, по моему требованию, сидевшего там русского. Кабош вспомнил о нем: «а, это тот, которого я посадил за то, что он воровал ячмень у наших свиней». Хорош же лагерь, где людям приходится воровать пищу у свиней!

Утром все собралось в указанном месте. Пришел Кабош, злой как собака. Увидел за нашими спинами любопытных испанцев, накричал на них, прогнал. Потом злым голосом пролаял:

— Приготовьте ваши вещи, сейчас за вами приедут грузовики и отвезут вас в Алжир.

Сказал и ушел.

Волнение неопишное. Стали проверять списки русских. В лагере вдруг объявилось множество «русских», которые до сих пор никогда не заявляли, что они русские. Все они просят включить их в список. Мы их не записали, но Кабош, видя это, насильно включил их в список.

Всем нам велено сдать казенные вещи.

В 3 часа Кабош сообщает, что грузовики вызваны в другое место, а мы поедем поездом, и не сегодня, а через несколько дней. Нам вернули только одеяла и посуду. Все спят прямо на голых досках.

Сегодня в лагерь приехала французская санитарная комиссия для осмотра. В лагере, после нашего отъезда, будут размещены немецкие и итальянские пленные. Комиссия нашла, что помещение околотка не годится для больных, велела построить новое. Для фашистов оно не годится, а для нас?

19 февраля. Кабош хотел выкинуть из нашего списка трех украинцев под предлогом, что они поляки и записались добровольцами в польскую армию. Я их спросил, они говорят, что никогда не записывались. Из лагеря освобожден еще один русский — бело-эмигрант, фашиствующий. Он уехал в Алжир. Интересно, что в справке об его освобождении Кабош не проставил числа.

20 февраля. Приехал в лагерь полковник из Лагуата, велел созвать представителей всех групп и стал на нас кричать:

«Я хочу, чтобы вы меня оставили в покое! Если вы этого не хотите, я смею вас обуздать, у меня есть для этого танки и самолеты. Испанцы в этом лагере — это убийцы и воры, осужденные у себя в стране за воровство и за убийства. А немцы здесь не должны забывать, что они выходцы из держав оси. А русские еще отсюда не уехали. Здесь командуют французы, а не англичане и американцы» (он произнес последние слова с ненавистью в голосе).

Речь глупа до безнадежности. Испанцы возмущены. Испанский шеф лагеря, анархист Доменек, был при этой речи и ничего не возразил. Все испанцы в лагере требуют отставки Домека.

23 февраля. С огромным успехом праздновали день Красной Армии. Кабош был вынужден разрешить нам официально это празднование. На эстраде, на красном фоне, сделали надпись — 25 лет РККА, и пятиконечную звезду из имен советских генералов. В центре — портрет товарища Сталина. Хор пел лучше, чем обычно. На другой день меня вызвал Кабош.

Необычайно мягким тоном он сказал:

«Мне кажется, что вы вчера нарушили дисциплину, вывесив на эстраде красное знамя».

Я ответил, что его плохо информировали, что никакого знамени не было, а была только декорация. Кабош ответил, что нашего заявления достаточно. Я еще никогда не видел Кабоша таким.

Газеты сообщают, что в Алжире выпущены на свободу из тюрьмы 27 бывших депутатов коммунистов.

Приехал полковник Бро из Лагуата. Вызвали нас, «делегатов» групп, теперь мы как бы узаконены в лагере. Бро толстый, грубый, самодовольный и... очень неумный. Память у него полнейшая. Он сразу меня заметил и спросил: «Вы не были в мой прошлый приезд?» Бро осмотрел других и начал речь. Привожу ее почти буквально:

«Я был в Алжире. Там образована смешанная комиссия: один француз, один американец, один англичанин и один представитель Международного Красного Креста. Она должна была завтра приехать в Джелфу. Но ей пришлось поехать в другой лагерь, так как там началась голодная забастовка. А потом она поедет в лагерь Колон Бешар, где сидят 5.000 человек. Вас же тут всего 800. Она допросит каждого отдельно. Испанцев отправит в Мексико, если их примет мексиканское правительство. Вопрос о русских стоит особо. Русские должны ждать грузовиков. Если грузовики приедут до комиссии, русские уедут, если позже, русские тоже пройдут через комиссию. Поняли? Всех прочих отправят в рабочие команды. Все лагеря будут ликвидированы. Вы можете мне верить или не верить, это ваше дело. Не я вас посадил в лагерь. Я не требую ничего большего, как чтобы вы убрались ко всем чертям! Но пока вы не уехали, вы — интернированные и должны держаться тихо. Вы, представляющие лагерь, несете за него ответственность. (Это к нам, делегатам). Если в лагере что-либо случится, я вас так закучу! (Он сделал жест рукой). А теперь убирайтесь вон!» (Он сделал грубый жест).

27 февраля. Сегодня газеты печатают декрет Жиро об освобождении из лагерей коммунистов, де-голлистов и интербригадцев. А мы все еще сидим. Русские в эту категорию, по мнению Жиро, не входят.

Вчера я отправил от имени нашей группы телеграмму английскому консулу в Алжире. Кабош ее пропустил, даже советовал составить в

более энергичных выражениях — очевидно, намерен поссорить нас с англичанами. Мы текста не изменили.

5 марта. Кабош внезапно объявил нам, что, согласно полученному им от полковника Бро приказу, он должен всех нас, русских, отправить в форт Кафарелли. Я спросил: «это для отъезда?» Кабош ответил уклончиво: «вы должны уехать или сегодня, или завтра, или ночью, вы должны быть готовы к отъезду, поэтому мы вас и переводим в форт». Нам всё это показалось подозрительным. Уехать ведь мы могли и прямо из лагеря. Во-вторых, Кабош о времени отъезда говорил очень неопределенно. Удалось все-таки от него добиться, чтобы нас отправили в Кафарелли не сегодня вечером, а завтра. Нам нужно этот вопрос обдумать. Кабош согласился.

На другой день Кабош вызвал нас утром в бюро и велел немедленно же собраться для переезда в Кафарелли. Мы возражаем, Кабош раздражен и в то же время смущен. Говорит, что грузовики могут приехать в любое время. Кабош злится, нервничает, начинает кричать. Мы уходим, собираем всю нашу группу перед баракком. Вещи у всех уже уложены с 15 февраля. Все высказываются против перехода в Кафарелли. Мы передаем наш ответ Кабошу. Тот приходит в ярость, но все-таки вежлив.

В 4 часа нас опять вызывают к Кабошу. Он говорит, что получил приказ от полковника, чтобы мы были в 5 часов в Кафарелли. И этот приказ он выполнит во что бы то ни стало.

Мы возвращаемся в наш барак. Видим, что к лагерю едут конные саги. С общего согласия принимаем решение идти только под давлением силы, без вещей, но не сопротивляться французским солдатам. В лагерь въезжают саги и с ними пехота — алжирские стрелки. Арабы тащат с собой пулеметы, винтовки с примкнутыми штыками, держат их на изготовку. Они медленно окружают барак, отгоняя всех. Весь лагерь сбегается, смотрит, как на нас идут «войска». Меня вызывают к Кабошу. Он стоит рядом с офицером саги, молодым, улыбающимся французом, и с другим капитаном — военным комендантом Джелфы — высоким, с неприглядным красным лицом, по имени де Брошар. Мы заявляем протест против применения силы к нам, советским гражданам. Офицеры молча слушают. Комендант де Брошар сухо спрашивает: «Среди вас есть офицеры?» «Да, — говорю, — я и мой помощник». Тогда он говорит: «Велите вашим людям собраться перед баракком».

Мы уходим с тем, чтобы не выходить из барака, пока нас оттуда не выгонят силой. Вскоре в бараке появляются солдаты с ружьями на перевес и выгоняют нас не грубо, но решительно. На площадке нас всех строят в три ряда. Приходит Кабош со списком и велит мне вызывать по нему. Я отказываюсь. Тогда Кабош дает список Гравелло, и тот вызывает наших товарищей, грубо перебирая русские фамилии. Затем нас окружают арабы с ружьями и ведут из лагеря, не дав взять вещи

Мы, выстроившись по три, шагаем в ногу, как солдаты, смеясь и шутя. Так идем через весь лагерь, испанцы шумно нас приветствуют. На перекрестке лагерной дороги мы встречаем грузовики с французскими летчиками, те удивленно глядят на нас.

Доходим до Кафарелли. Нам вселяют в две большие залы. На другой день опять является полковник Бро в сопровождении Кабоша, коменданта Джельфы, военного врача и администратора города. Бро опять произносит речь.

«Я, — сказал он, — перевел вас сюда, чтобы изолировать от лагеря, на который вы имеете дурное влияние. Вы должны здесь сидеть тихо, а то у меня для вас есть 60 камер и даже, если понадобится, стенка за фортом. Вы не имеете права обращаться со мной, как равные с равным. Для меня все вы — интернированные. Среди вас есть преступники. Вашей дисциплины я не желаю, вы должны подчиняться моей». Обращаясь ко мне, Бро добавил: «Вы хотите обратиться к французским властям? Власть — это я. Вы спрашиваете, почему я перевел вас сюда? Потому что я этого хотел, потому что мне это нравится. Поняли?»

9 марта. Сегодня опять холодно, в разбитые окна дует ледяной ветер. Нам дали доски, чтобы забить окна. Развлекаемся как можем, каждый день устраиваем доклады на научные и политические темы, вечером песни и декламация, запоем играем в шахматы.

15 марта. Третьего дня, наконец, к нам приехала комиссия: один английский майор, один американский и один французский, а также штатский — представитель Международного Красного Креста. Англичанин — британец, очень молодой, серьезный, а американец — высокий, с орденами, с живыми и умными глазами. Позвали опять меня. Пока я говорил с комиссией, Кабош стоял рядом молча, на него никто из комиссии не обращал внимания. Я изложил события в лагере, выразил наш протест против обращения с нами как с союзниками и потребовал нашего освобождения до репатриации.

Мы преподнесли англичанину и американцу наши изделия из кости. Я пояснил: «Пусть это будет для вас не только напоминанием о лагере, но и символом того, что мы глотаем кости, а потом делаем из них изделия на продажу, чтобы заработать денег на еду». Потом мы разбились на группы и подробно рассказали комиссии о нашем положении в лагере, об избиениях, о хроническом недоедании, о тюрьме...

Прошло четыре с половиной месяца со дня высадки англо-американцев в Алжире, мы все еще сидим. Комиссия говорит, что англо-американцы не желают вмешиваться во внутренние дела французов, а наше освобождение — это, мол, внутреннее французское дело. Странно: ведь высадка в Алжире — тоже вмешательство во внутренние французские дела, и повнушительнее, чем наше освобождение.

27 марта. Неожиданно приехали два коммуниста-депутата из Алжира, из числа 27-ми освобожденных. В 2 часа в лагерь пришел Кабош, с ним двое штатских, один маленький, толстый, с живыми глазами, другой

белокурый, сухощавый. Оба сердечно пожалы нам руки и пошли в бюро форта. Первый оказался депутатом от Парижа — Демюзуа, другой от департамента Севера — Мартель. Я их приветствовал от имени нашей группы и объяснил, что освободить нас в Алжире до репатриации французские власти не хотят.

2 апреля. Все слухи о комиссиях опять замолкли. Сидим и ждем с какой-то безнадежностью.

В Алжире министром внутренних дел Жиро назначен известный алжирский хирург, доктор Абади, которого я лично хорошо знаю и который ездил в СССР лет десять назад. Я ему написал личное письмо, в котором рассказывал о лагере.

15 апреля. Из лагеря пришел араб с запиской. Меня вызывают в контору к Кабошу. Мелькнула мысль — это освобождение? Иду в лагерь, вхожу в бюро. Кабош сидит, но, когда я вхожу, встает, первым здоровается и нескладно говорит:

«Господин доктор (раньше он меня называл просто по фамилии), я получил телеграмму о вашем немедленном освобождении. Вы свободны с этого момента и можете ехать, куда вам угодно. Вы, явственно, очень довольны?»

Сдержав себя, я сказал, что поеду в Алжир, и пошел в лагерь прощаться с товарищами. А там уже все каким-то чудом знали о моем освобождении. Собралась толпа испанцев, все поздравляла меня, жали руки, хлопали по спине, по испанскому обычаю. Я шел, как во сне, глупо улыбаясь. Потом вернулся в город, купил вина, соленой рыбы и понес все это в Кафарелли. Часовые-арабы изумленно на меня смотрели — я шел без стража. Вероятно, Кабош уже дал им приказ обо мне. В Кафарелли все наши товарищи тоже уже знали о моем освобождении через араба-солдата и меня чуть не задавили, обнимая и поздравляя. В форту был испанский оркестр, сейчас он играл. Сварили суп из риса, привезенного нам американцами. Годы лагерной жизни кончились.

В эту ночь я заснул только на рассвете... Утром пошел в лагерь за деньгами и документами. Товарищи в лагере устроили для меня душ. Испанцы рагладили шляпу, костюм. Потом пошел в контору за пропуском. Грizar, секретарь Кабоша, и тут не удержался от галlosti. Написал бумагу обычным канцелярским французским стилем, в котором говорилось, что «так называемый Рубакин» («le nommé Roubakine») освобожден и едет в Алжир. «Так называемый» — официальный французский тюремный термин, которым стараются унижить заключенного — его не называют «мсье», как принято во французском обхождении, а просто «так называемый», будто и фамилия под сомнением.

Трудно расставаться с товарищами — столько прожил вместе! Уложил вещи, роздал что мог. Всю ночь провел с небольшой группой друзей в маленькой комнатшке рядом с залами форта. Устроили ужин — я опять купил в городе вина, ели рыбу, консервы, финики. Всю ночь разговаривали, шутили, вспоминали прошлое, пели. В час ночи пришел за мною

Гравелль. Он уже купил для меня билет на автокар до Алжира. За билет с меня в лагере тоже вычли деньги. Я пошел в город. Мрак был полный, какой бывает только в африканские ночи. Автокар приехал в темноте. Арабы лезли в него, грубо толкаясь, Гравелль расчищал мне дорогу, крича на арабов. Я сел в автокар, прислонился к окну. Уже начинало светать. Автокар быстро покатился в полумраке. Мы ехали через африканскую пустыню к Алжиру, к свободе».

## ЧАСТЬ 5-ая

### В АЛЖИРЕ

В Алжир я приехал только поздно вечером. Автокар был переполнен — ехали арабы, французы-колонисты. Все они, видно, прошли хорошую немецкую выучку — о политике никто не проронил ни слова. Пассажиры везли с собой картошку, яйца, даже живых кур, которые клали под бунтусами арабов. Все это говорило о том, что в Алжире, вероятно, жизнь не такая уж сытая, как мы думали.

Пустыня вокруг Дельфы сменилась холмами, покрытыми виноградниками, в которых копались толпы арабов. Виноградники были густые, нарядные под солнцем. и тянулись по склонам гор, спускались в долину. Арабы, работавшие на них, были оборванные, грязные, с обожженными солнцем лицами. На холмах виднелись нарядные шикарные домики с террасами, — там сидели колонисты в европейских костюмах. Порою они что-то грозно кричали арабам. По дороге попался большой лагерь французской молодежи — молодые здоровые парни в полувоенной форме возились с американскими машинами: «петеновская молодежь», с помощью которой дряхлый властелин Виши пытался построить свой фашистский стой.

Автокар шел только до Блиды. Поезда пришлось ждать долго — он запоздал на четыре часа. Мимо станции, по путям, тянулись бесконечные товарные составы, груженные американскими автомобилями, орудиями, снарядами. Рядом с грузом на открытых платформах сидели английские солдаты — здоровые, белокурые и совсем юные по сравнению с черными усатыми алжирскими французами. Наконец пришел и мой поезд. Я сел в купе и жадно оглядывал многочисленных пассажиров. Все это были женщины. Они судили о ценах на продукты, обменивались сведениями, где их можно достать на черном рынке.

За два года немецкого хозяйничанья в Алжире, этой житнице Франции, постепенно исчезало все: и масло, и мясо, и молодые овощи, которыми раньше Алжирия снабжала Францию. Богатейшая и цветущая страна была доведена до голода. Как солитер, присосавшийся к кишечнику, немцы высосали из нее все, не думая о будущем, стремясь только набрать побольше и накормить своих разнузданные орды, двинувшиеся на разграбление и уничтожение Европы. Даже апельсины и финики, эти основ-

ные продукты алжирского хозяйства, стали исчезать в стране.

В Алжир мы приехали вечером. Город был абсолютно тише. В порту, у самого вокзала, чернели громады кораблей, кое-где на них сверкали огоньки. Над городом темными зловещими каплями повисли загадательные баллоны. Вдоль берега моря, на десятки километров, копошились люди, выгружая с причаливших пароходов огромные ящики с автомобилями, с консервами, орудиями, танками. Весь берег был заставлен ими. Тысячи автомобилей стояли на набережной, выстроившись в ряды, местами их вереница прерывалась тяжелыми танками, грузовиками, броневиками. На перекрестках дорог виднелись английские солдаты, регулировавшие движение бесчисленных грузовиков, джипов, автомобилей с английскими и американскими военными.

Прямо с вокзала я попал в отель на набережной. Там мне уже была заказана товарищами комната. Перед отелем стояли зенитки, обложенные мешками с песком, грозно задрал к небу свои тонкие стволы. Вокруг них сидели и ели из котелков английские солдаты. Толпы арабчат вертелись вокруг них, предлагая всякую дрянь и жадно заглядывая в котелки.

И вот я в комнате, один, совсем один!

«Какое великое слово — дом, даже когда он не твой». — Я лег в постель. Было тепло, уютно, по-домашнему горела лампочка над кроватью. Улегшись, я взял газету. Но лежать пришлось недолго. На улице послышался резкий свисток. Еще, еще. Я невольно встал и подошел к окну. Грубый голос прокричал с улицы:

— Эй, там, в третьем этаже, гасите свет!

Я успел забыть о войне! Из лагеря война казалась далекой. Забыл о затемнении: мое окно было раскрыто, шторы не спущены. Пришлось закрыть окно, спустить тяжелые занавеси.

Но едва я закрыл глаза, как резко и зловеще завывли сирены. Весь город, казалось, выл, как дикий зверь перед смертью. На лестницах послышались торопливые шаги спешно спускающихся людей, взволнованные женские голоса. Была воздушная тревога.

Пальба длилась около трех четвертей часа, потом сразу всё стихло, только где-то на высотах, над Алжиром, время от времени полаивали пулеметы и автоматические пушки.

Такие налеты мне пришлось пережить еще не раз. Немцы хвастались, что уничтожили Алжир. «Раз как-то, — рассказывали мне английские офицеры, — мы привезли в Алжир пленных немецких генералов и офицеров из армии Роммеля. Увидя большой город, они спросили: «что это?» Им ответили, что это Алжир. Они недоверчиво засмеялись и сказали, что Алжир давно разрушен немецкими самолетами».

В начале высадки англо-американцев Алжир был сравнительно плохо защищен от налетов. В первые дни после высадки немцы своими налетами разрушили несколько домов, перебили немало народу. Но потом это кончилось. Ни разу они не попали в порт или в какой-либо другой объект военного назначения.



На другой день в пять часов утра я уже проснулся. Алжир был залит солнцем. Прямо передо мною расстилался порт с красавцами броненосцами, минными катерами, десятками пароходов. Синело древнее Средиземное море — но на нем не дымили пароходы, не белели паруса рыбацких лодок. Моря перестали быть обитаемыми, стали джунглями, в которых подстерегали друг друга подводные лодки, эсминцы и самолеты. Несколько тяжелых, как утюги, английских линкоров, с гордо развешивающимся на корме «Юнионом Джэком», были причалены к самому берегу. Очевидно, после долгой и тяжелой работы на море они теперь отдыхали. Военные суда долго не стояли в порту — дня два-три, и опять в море, для охраны караванов, для бомбардировки портов, для борьбы с врагом.

По лестнице, поднимающейся на набережную из порта, шли в город сотни нарядных моряков. Наверху их уже ждали всякие сомнительного вида арабы в грязных бурнусах и европейцы в потертых пиджаках, показывая им из-под полы порнографические открытки, зазывая в публичные дома, в кабаки.

Вечером движение совершалось в противоположном направлении — из города в порт.

Многочисленная толпа заивала улицы Алжира. Как всюду на Востоке, казалось, что людям нечего делать и они могут весь день шататься по улицам и сидеть в кафе, хотя теперь в кафе уже ничего, кроме вина, не подавали. Все кино-театры были полны — у них стояли огромные очереди, хотя в Алжире было несколько десятков кино, и притом огромных.

С неповторимым наслаждением шел я по городу, вглядываясь в лица, наблюдая за людьми, заглядывая в витрины магазинов, вдыхая запах моря, вливая солнце и морской ветер. Друзья уже знали, что я в Алжире. Много знакомых и незнакомых друзей ждали меня к себе, к обеду, в день моего приезда в Алжир. Больше других, когда я был в лагере, помогал мне последнее время известный алжирский врач Каттуар, старый мой знакомый по Парижу.

Упомянув о Каттуаре, я не могу не вспомнить о другом французе, представителе противоположного лагеря.

Когда я был переведен из Франции в лагерь Джелифу, то вспомнил, что у меня в Тунисе был старый знакомый, известный французский ученый и писатель, директор Пастеровского института в Тунисе, Этьен Бюрне. Бюрне работал вместе со мною много лет в Лиге Наций, приезжал в 1934 году в Москву, был женат на русской. Я написал ему из лагеря с просьбой указать мне адреса магазинов в Алжире или в Тунисе, куда я мог бы посылать деньги для уплаты за посылки с продуктами — о другой помощи я его не просил. Бюрне ответил мне холодно и официально, на официальной бумаге, что он ничего не может для меня сделать, и посоветовал обратиться к Алжирокому Красному Кресту. Бюрне стал петеновцем и даже председателем петеновской организации «Национальная помощь» (Secours National). Куда

он делся после освобождения Туниса от немцев, я не знаю. Но в газетах я читал, что директором Пастеровского института в Тунисе был назначен кто-то другой. Быть может, Бюрне ушел с немцами — вся его ставка была на них.

Мне надо было начать обход американского и английского консульств, чтобы добиться скорейшего освобождения и перевода в Алжир моих товарищей, оставшихся в лагере. И прежде всего я пошел к американскому консулу.

Меня очень любезно принял сам консул — ведь он выдал меня в лагере, куда приезжал с американской комиссией всего месяц назад. С ним я был краток — сказал ему, что еще до приезда советской делегации необходимо перевести советскую группу в Алжир, вырвать ее из когтей французских фашистов. Ведь сам консул сказал мне в Джелифе, что помещения для наших товарищей уже готово. Если не все из них окажутся советскими гражданами, это не беда. Нельзя заставить страдать всю группу из-за нескольких сомнительных граждан.

Консул слушал меня, улыбаясь. Потом сказал:

— Мы обсудим этот вопрос с майором И. из английского консульства, который тоже был со мною в Джелифе. А, между прочим, где вы остановились в Алжире? — спросил он у меня.

— В отеле «Руайяль», — ответил я.

— А, знаю, — хитро заметил консул, — ведь владелец этого отеля сидит у вас в лагере, он бельгиец.

Он все знал, все помнил. И так же хитро добавил:

— Ведь Д. (владелец отеля) коммунист. Но вряд ли он чего-либо добьется от бельгийского консула, тот слишком большой формалист.

Формализм бельгийского консула заключался в том, что он был ярким фашистом. При немцах, как и польский консул граф Чапский, он вербовал бельгийцев для работы в Германию. На заявление Д., что он хочет поступить в бельгийскую армию для борьбы с немцами, консул ответил официальным письмом, утверждая, что Д. слишком стар, и в его возрасте в армию не принимают. Это было, конечно, неверно.

Старые законы рушились один за другим. С ними никто не считался и, прежде всего, сами власти. Интересы властей были направлены на нечто иное. На что? Об этом я расскажу дальше.

★

От американцев я узнал точно, что наши советские делегаты — уже в пути. В Каире они ждали самолета для дальнейшего следования.

Оставалось ждать их в Алжире. Вряд ли можно было рассчитывать на то, что до их приезда наших товарищей переведут из Джелифы в Алжир.

Большое наслаждение мне доставляло шататься по алжирским улицам. В трамваях преобладали французы, но были и английские солдаты. Американцам же было запрещено на них ездить под предлогом, что они могут захватить

там инфекционные болезни, широко распространенные среди арабов — трахому, чесотку, даже сифилис. Что же касается арабов, обычно выполнявших обязанности кондукторов, то при малейшем недоразумении и ссоре европейцы высаживали их из трамваев. Помню, как-то раз высадили молодого араба, на вид довольно культурного и хорошо говорящего по-французски. Он долго не хотел сходить, упрямо повторяя:

— Вы меня гоните потому, что я араб, потому, что я не человек. Если бы я был французом, вы бы меня не посмели согнать.

Публика молча его слушала, не выражая своего мнения. Мне на каждом шагу приходилось наблюдать у сколько-нибудь культурных арабов это чувство постоянного морального унижения перед французами. В лагере даже наш горемщик, аджудан Ахмет, незадолго до нашего освобождения, жаловался нам, что арабов не считают за людей, что даже в армии простой солдат-француз может командовать арабскими унтер-офицерами. Так оно и было на самом деле. Разрешение арабского вопроса, в смысле уравнивания арабов в правах с французами, несомненно, назрело, а между тем, правительство ничего не предпринимало в этом отношении. Более того, когда я был в Алжире, оно издало закон, возвращавший алжирским евреям все их права, уничтоженные Виши, но в смысле политических прав, в смысле голосования на выборах, приравнивало их к арабам, иначе говоря, лишило избирательных прав. Не расширение прав всех народов, населяющих французскую империю, а сужение их — такая политика, безусловно, была опасной. И неудивительно, что французы в Алжире и все правительства Алжира постоянно жили в страхе арабского восстания. Ведь не далее, как в 1941 году в Блида произошло крупное восстание арабских солдат, в результате которого французы перебили около 400 арабов, загнанных ими во двор казарм. Все это не могло пройти незамеченным в арабском мире.

В один из первых дней после моего освобождения я пошел к доктору Абади, новому министру внутренних дел правительства Жиро. Его министерство помещалось за городом, в великолепных зданиях женского лицей, откуда открывался чудный вид на Алжир и на море. В сад, где находились разные министерские бюро, пропускали только по пропускам после предъявления документов. Я вытащил мой советский паспорт. Солдат при входе ошел, увидя его, но тотчас же, не спрашивая даже о вели моего прихода, написал пропуск. Я увидел, какое магическое действие оказывают теперь советские бумаги на французские власти.

Абади принял меня крайне любезно, внимательно выслушал все, что я ему рассказал о лагере, о Кабоше, изредка возмущенно повторяя:

— Какой позор, какой позор для Франции!

В заключение я ему сказал, что пишу книгу о Франции и о лагерях, но в ней нехватает последней главы.

— Какой? — спросил Абади.

— Главы о наказании виновных.

— Ничего, мы эту главу дополним, — серьезно ответил Абади.

После этого он сам провел меня в соседнюю комнату, где представил трем каким-то видным членам своего «кабинета», говоря им:

— Я давно знаю доктора Рубакина, он пробыл два года в лагере и рассказал мне ужасные вещи о лагерях. Это возмутительно!

Но собеседники выслушали его молча, глядя на меня с нескрываемой враждебностью. Все это были старые испытанные фашисты, служившие еще при Виши. Они и сами великолепно знали обо всем, что делалось в лагерях.

Мне показалось, что Абади — просто вывеска для французов и союзников, а в министерстве его сидят всё те же лица, что и раньше, которые, несомненно, будут всячески саботировать все его мероприятия. Так оно и оказалось на деле.

Когда я выходил от Абади, в порт входил огромный караван судов, конвоируемый грозными английскими линкорами и миноносцами. Прохожие глядели на караван и громко говорили:

— Сегодня ночью, значит, опять будет налет.

Немцы знали все, что делалось в Алжире. Немецкие шпионы продолжали кишеть в городе.



Город был полон военных всех союзных наций. По улицам шатались долговязые американские солдаты и офицеры. Шли сухопарые, но крепкие английские солдаты и матросы. Появилось множество французских солдат — при немцах их не было, так как французская армия при них перестала существовать.

И среди этого военного люда ходили своей развалистой походкой арабы, одни в лохмотьях, с худыми загорелыми лицами, истощенные работой, другие в белых нарядных бурнусах, в красных фесках.

Женщины-арабки в белых платьях, с лицом, окутанным чадрой, из-под которой блестели красивые лукавые глаза, ходили группами. А больше всего было ребят-арабчат. Они шмыгали в толпе, выпрашивали все что могли у американцев, продавали им всякую дрянь, чистили сапоги.

Американцы и англичане жадно поглядывали на женщин, как глядят на женщин военного всего мира, долго лишенные женского общества. А смотреть было на что. Редко где я видел таких красивых женщин, как в Алжире. Помесь испанцев, французов и итальянцев создала здесь исключительно красивый женский тип, недаром с таким увлечением писал о них Мопассан.

Вся эта толпа заливала узкие алжирские улицы, сжатые красивыми современными десяти- и двенадцатитажными громадами домов. Алжир, безусловно, один из красивейших городов

Африки. Он вытянулся узкой полосой вдоль моря, стекая к синим волнам Средиземного моря своими столпившимися ослепительно-белыми домами.

Алжир был переполнен, в нем было свыше полумиллиона жителей. Найти комнату было трудно. Еще до высадки англичан сюда бежало множество французов из метрополии, спасаясь от немцев, бежало множество евреев, одни — спасая свою жизнь, другие — спасая имущество. Но и теперь через Испанию продолжали приливать беженцы, вырвавшиеся из Франции. Состав их был иной, чем раньше: бежали фашисты, бывшие приверженцы Виши, делавшие раньше ставку на немцев, а теперь, убедившись в силе англичан и американцев, делавшие ставку уже на этих. Сюда прилетел один из главных палачей петеновского режима, бывший министр внутренних дел Лавала, Пюше. Теперь он надеялся сделать карьеру при американцах. К счастью для Франции, его здесь арестовали и, после суда, расстреляли. Но при мне он еще преспокойно жил в своем имени, и только после продолжительной кампании демократических элементов был арестован и судим. А сколько осталось подобных ему, но более мелких сошек, которых освобожденная Франция еще не судила и не покарала?

Выдержки из дневника:

«28 апреля 1943 г. Третьего дня, наконец, в Алжир прилетели наши делегаты из Москвы.

Немедленно делегаты побывали у министра иностранных дел Жиро, Сент Ардуэна и у Абади. Иначе говоря, прием был официальный, несмотря на то, что правительство СССР не имело никаких отношений с Жиро. Жиро дал нашим делегатам в полное распоряжение автомобиль и даже прикомандировал двух офицеров для сопровождения. Один из них, герцог де К. Т., был летчиком, побывал в СССР в 1935 г. вместе с французскими парламентариями и с восхищением говорил о виденных им в СССР авиационных заводах. Он был, кроме того, депутатом — и притом реакционным — от департамента Соммы.

Вместе с ними мы на другой же день на двух машинах поехали в Джельфу, до которой было 350 километров.

Приехав в Джельфу, мы сразу же прошли в форт Кафарелли, где нас с горячим нетерпением ждали наши товарищи. Я даже не узнал их — все оделось в лучшее, что у них было: в пиджаках, в галстуках, прямо хоть сейчас на свободу. В огромной камере были вывешены красные плакаты с надписями:

«Привет советским делегатам, привет родине, привет товарищу Сталину, привет непобедимой РККА!»

До часу ночи мы работали с нашими товарищами при свете самодельных масляных лампочек.

В 7 часов утра надо было уезжать обратно в Алжир. Наши спутники очень торопили нас. Дело было ясно: они боялись, что делегаты увидят лагерь. Но мы хорошо помнили; в лагере находились товарищи из Западной Белоруссии,

которые не были включены в советскую группу. Наши делегаты потребовали встречи с ними.

Кабош услужливо подскокил:

— Вам незачем будет терять время и идти за ними в лагерь. Их приведут сюда.

Действительно, их немедленно привели. Там наши делегаты и не увидели лагеря».

★

Почти каждый день в Алжирский порт прибывают огромные караваны по 40—60 пароходов под охраной грозных английских судов. Выгружаются тысячи танков, автомобилей, самолетов, ящиков со снарядами, с консервами. Французские и арабские рабочие выгружают их днем и ночью, — и караваны в тот же день уходят обратно, окруженные серыми миноносцами, гигантскими броненосцами, другими судами. На десятки километров вдоль берега тянутся склады выгруженных снарядов и транспорта. Десятки тысяч «пленных» живут тут же на берегу в удобных и просторных английских палатках. С ними работают сотни наших товарищей, сидевших вместе с нами в лагере и принятых теперь в английскую армию — тут и испанцы, и венгры, и румыны, и немцы, и австрийцы. Странно видеть их в английской форме, в коротеньких трусиках цвета хаки, с голыми ногами. Англичане их отлично кормят, платят по 100 франков в неделю, дают папиросы, одежду, белье. Наши товарищи отъелись, поздоровели, трудно узнать в них истощенных, бледных, небритых людей, с которыми мы вместе сидели под властью Кабоша.

Вдоль дорог на сотни километров от Алжира тянутся склады орудий, танков, грузовиков, снарядов, ящиков с горючим. Снаряды сложены штабелями в полях около дорог. Их даже никто не сторожит. На равнинах простираются на десятки километров только что отстроенные аэродромы, на которых выстроились рядами тысячи «летающих крепостей», истребителей, транспортных самолетов. Над городом непрерывно жужжат эскадрильи английских самолетов. И в самом Алжире, и по всем дорогам вокруг него тянутся военные автомобильные колонны с американскими и английскими солдатами, шныряют тысячи американских «джипов», амфибий, грузовиков. В порту, прямо против моей гостиницы, у самых пристаней прилепились гигантские английские линкоры, могучие крейсера, толпящая эсминцы и торпедные катеры, пришвартовались вдоль пристаней подводные лодки. Иногда в порт заходят английские авианосцы, громадные, размазанные, с плоской палубой, на которой, как игрушки в магазинной витрине, расставлены рядами кажущиеся крохотными самолеты. Странный это корабль. Сбоку он похож на любой другой военный корабль, с мощными трубами, с башнями, как у крейсера, с грозно торчащими из-под палубы орудиями. Но когда на него смотришь спереди или сзади, то видишь, что все эти трубы, башни и самый капитанский мостик прилажены как-то сбоку, с одной только стороны.

★

Американцы и англичане раздают детишкам-французам шоколад, сгущенное молоко, бисквиты. Питаются наши союзники замечательно — мы об этом можем судить, так как в нашем лагере под Алжиром нам дали английский военный паек: три раза в день мяса, яйца, колбаса, масло, варенье, фрукты, овощи, чудесный белый хлеб, чай с молоком и сахаром в неограниченном количестве, по две пачки бисквитов и по плитке шоколада в день.

Американцы и англичане ничего не закупали в Алжире, кроме фруктов и вина. Они все привезли с собой. Больше того, они стали снабжать продовольствием французов и арабов.

Но с тех пор, как Алжирия освободилась от немцев, вывозить ей продукты стало некуда, а страна была очень богата. До войны она сама снабжала Францию мясом, овощами, фруктами, оливковым маслом, вином. Самоснабжение союзников вызвало теперь недовольство крупных французских колонистов, которым принадлежали почти все плодородные земли в Северной Африке и на которых работали местные арабы. Колонисты продавали немцам все свои продукты по высокой цене — ведь немцам французские деньги не дорого стоили. Так уходили в Германию зерно, мясо, овощи, масло, фрукты. Колонисты, хищники по натуре, скрытые или явные фашисты, были материально заинтересованы в немецкой оккупации. Но от нее страдало городское и сельское население, рабочие, служащие, арабы-земледельцы. Французская колониальная администрация, сплошь фашистская, наживавшаяся на эксплуатации страны, также была глубоко враждебна союзникам. Мы достаточно испытали это на нашей шкуре в лагере. Фашисты не только ненавидели англичан и в особенности Советский Союз, они боялись и арабов.

Выдержки из дневника:

23 мая. В наш лагерь под Алжиром привезли красноармейцев. Они были взяты в плен немцами на советском фронте в самом начале войны. Немцы сперва отправили их в Италию на работы, от туда перевезли в Тунис на самолетах. В Тунисе они работали вблизи фронта. Немцы их почти не кормили, но зато местное население — французы и арабы — всячески им помогали. В Италии население тоже хорошо относилось к ним — давали папиросы, хлеб. Почему-то итальянцы просили их снять шапки и, когда те снимали, внимательно осматривали их головы. Оказывается, немцы убеждали их, что у русских на голове под волосами рожки. Красноармейцы — необычайные здоровяки. Объяснение простое: все, кто послабее, пленя не выдержали и умерли. В иных лагерях для советских военнопленных за первую же зиму умерло до 80% пленных. Беря в плен, немцы обдирали их до нитки — отбирали все личные вещи, часы, снимали одежду, сапоги, и пленные ходили всю зиму босиком и почти без одежды. Командиров и комиссаров, а также евреев немцы расстреливали немедленно же. Среди наших красноармейцев есть два лейтенанта. Говорят, немцы послали в

Африку против англичан не самых лучших своих солдат, а тех, в которых они были не очень уверены: чехо-словаков и словаков, поляков и тех из немцев, которых, по политическим соображениям, они боялись послать на советский фронт.

30 мая. Де Голль приехал сегодня в 11 часов утра. Жиро встречал его на аэродроме.

В городе говорят, что Черчилль и Иден второй день находятся в Алжире. Это держится в тайне, но знают все.

2 июня. Сегодня вечером в Алжире объявлено «тревожное положение» (état d'alerte). Радио-Франс занято войсками Жиро, все солдаты заперты в казармах. Адмирал Мюзелье, бывший раньше у де Голля, а потом перебежавший в Алжир, назначен помощником Жиро. Ожидают крупных беспорядков. Де-голлисты тщательно охраняют своего вождя. При нынешних обстоятельствах покушение на него считается возможным. Ведь убили же адмирала Дарлана!

3 июня. Был у Лабарта, нового министра информации Жиро. Когда я пришел в бывший лицей, в котором теперь помещаются различные министерства, и спросил Лабарта, никто о нем ничего не знал. Швейцар спросил меня, кто это такой? Меня он принял немедленно. В Лабарте нет ничего «министерского» — он остался студентом по своим привычкам. В разговоре остроумен и зол. Он «отстал» от де Голля, но и у Жиро его не считают своим. Все фашистское окружение Жиро его терпеть не может, он считается у них де-голлистом.

Я просил у Лабарта разрешение на собрания Общества друзей СССР, которое только что образовалось в Алжире. Лабарт сказал, чтобы они подали ему письменное заявление, и он им сейчас же даст разрешение.

Пока я сидел у Лабарта, в приемной его ждал бывший французский посол Рюо. Я напомнил об этом Лабарту. Он только махнул рукой: «мало ли их тут шатается, бывших послов и генералов!»

В Алжир понаехало множество генералов из Франции. Приехал сюда и небезызвестный генерал Жорж. Как им удалось бежать из Франции? Это тайна. Но все они идут к Жиро, а не к де Голлю.

Сегодня в 2 часа подписан договор между де Голлем и Жиро.

7 июня. Вчера утром в Алжире состоялся конгресс «Сражающейся Франции». Организаторы прислали нашей делегации и мне официальное приглашение. Конгресс происходил в огромном кино-театре «Мажестик» на 3.000 мест. Зал был переполнен, и огромная толпа стояла на улице. **Ведь** это был первый открытый митинг «Сражающейся Франции» в Алжире. Все ждали первого публичного выступления де Голля. На сцене в первом ряду почетного президиума сидели депутаты-коммунисты, среди них длинноротый Моке, у которого немцы расстреляли 17-летнего сына как заложника. А рядом с ним сидел не кто иной, как бывший главный помощник пресловутого полковника

Валлен, ставший французским патриотом. Перед эстрадой, в помещении для оркестра, стояли с автоматами на-изготовку два молодых солдата из армии Леклерка. Мне навсегда запомнились их лица — молодые, бодрые, решительные, покрытые загаром Ливийской пустыни.

Де Голль быстро вошел в зал из боковой двери, длинный, тонкий, узкоплечий, с маленькой головой на длинной шее, с большим кадыком. Шел он огромными шагами. За ним двигалась свита штатских, военных, охраны. На де Голле был простой мундир с тремя генеральскими звездочками на рукавах, без всяких орденов. Движения у него были быстрые, нервные, глаза слегка на выкате, нос длинный, лоб низкий и покатый.

Де Голль заговорил при молчании всего зала. Говорил он гладко, литературно, но очень обще. В своей речи не упомянул о программе, не наметил политических перспектив, говорил только общими фразами о борьбе. Шумная овация покрыла его последние слова. Снова спели Марсельезу.

После де Голля должен был выступить от имени депутатов-коммунистов Вальдек Роше. Но едва де Голль кончил свою речь, как председатель группы «Конба» Капитан тронул его за руку, весь комитет «Конба» поднялся и вместе с де Голлем побежали из зала. Конгресс был окончен. Вальдек Роше не успел раскрыть и рта. Большинство в зале было возмущено, публика громко требовала, чтобы Вальдек Роше говорил, но было уже поздно. Коммунисты и сочувствующие им негодовали — ведь компартия была самой сильной из всех политических партий в Алжире. Больше того, по существу она была единственной партией во Франции со времени оккупации, и только она вела борьбу с немцами.

Интересно, что де-голлисты полагали, что после де Голля вообще никто не должен говорить.

Лабарт и тут не смог удержаться от злой шутки. Посланный им кино-оператор снял всю сцену митинга. А когда в публике начали кричать, требуя слова Вальдеку Роше, оператор повернул микрофон к публике, и все эти крики запечатлелись на пленке. Больше того, как только де Голль окончил свою речь, Капитан вполголоса и быстро сказал своим соседям: «Идем скорее из зала, пока Вальдек Роше не начал говорить. Поставьте пластинку с маршем». И эти слова Капитана запечатлелись на пленке, так как кино-оператор успел повернуть свой микрофон в его сторону. Так для истории будущей Франции были увековечены некоторые детали ее алжирского периода.

8 июня. На будущей неделе наш эшелон покидает Алжир. Кончилась африканская эпопея, нас ждет наша родина. Перед отъездом состоится в Опере первый митинг Общества сближения с СССР. Я должен сделать доклад, а наш хор будет исполнять советские песни. Хор у нас чудесный, исключительно музыкальный, есть и хорошие солисты. Учредители Общества выполняют формальности по устойчивому собранию. Лабарт дал

разрешение. Но вчера произошла смена правительства Жиро, и Лабарт не вошел в новое правительство: де Голль не пожелал его видеть в правительстве. Впрочем, это не удивило Лабарта, он этого ждал. В помещениях «министерств», или, как их называют, комиссарнатах, полная пустота, никого, кроме швейцаров, нет, никто ничего не знает, швейцары не знают даже имен новых «министров», только что назначенных, министры не знают, где они будут заседать. Новые министры называются «комиссарами». Почти все они — старые чиновники, массам неизвестные, многие из них определенно профашистского настроения и связаны с крупными финансовыми кругами и даже 200 семействами, как, например, Ренэ Мейер. Министр труда Тисье еще в Америке. Это социалист, бывший сотрудник Альбера Тома в Международном Бюро Труда. Я его знал пятнадцать лет назад в Женеве. Но главный вершитель судеб — это все-таки Жан Монне, крупный финансовый агент в прошлом и, вероятно, в настоящем.

В Алжире в изобилии появились продукты: овощи, фрукты, хлеб, мясо — все мясные полны мясом.

13 июня. Сегодня утром в Опере состоялся первый митинг Общества сближения с СССР. Хотя о нем было объявлено всего лишь за три дня, зал был переполнен, огромная толпа ждала на площади. Билетов не было — их не успели напечатать. Поэтому, по алжирскому обычаю, все входящие клали деньги при входе на подносы — кто сколько хотел. На подносах были груды билетов — давали щедро. Надо было оплатить наем зала — 3.000 франков, были и другие расходы. Публика собралась пестрая. После вступительного слова председателя, профессора Даллони, слово взял молодой 25-летний алжирский поэт Жербо, секретарь нового общества. Его речь была очень ингересной и искренней. Он говорил от имени поколения французов, которое родилось после Октябрьской революции. Оно тянулось к СССР, стремилось узнать о нем возможно больше. Затем вышел наш хор. Жербо объявил, что хор поет русский и французский национальные гимны, и просил выслушать их стоя и без всяких манифестаций. И вот, впервые со времени освобождения от немцев, и вообще впервые со сцены Оперы зазвучали Марсельеза и Интернационал. Оба гимна были выслушаны с необычайным вниманием. После их окончания зрители устроили настоящую овацию. Наш хор пел очень хорошо, был в ударе. Такой же овацией публика встретила и мой доклад. А когда я заявил, что отношу эти аплодисменты не к себе, а к Советскому народу, сыном которого я являюсь, аплодисменты долго не замолкали.

Когда мы после собрания уезжали на грузовиках и автомобилях, французы обступили наши машины, жали нам руки, кричали «Да здравствует Советский Союз!», «Да здравствует Красная Армия!»

14 июня. Сегодня в семь утра мы сложили наши палатки — вещи были уже уложе-

ны. Да и много ли их у нас было? За нами приехали английские грузовики. Начинаясь долгий путь на родину, через равнины и горы Туниса, пески Ливийской пустыни, по синим волнам Средиземного моря, через Египет, Палестину, Багдад и Тегеран. Уже близкой казалась нам озаренная победами Красной Армии Советская страна...»

★

Почти два года провел я в фашистских тюрьмах и концлагерях Франции. Я видел французский фашизм. Он обращается к тому, что есть самого скверного в человеке, стремится создать бандитов и негодяев из людей малокультурных, малоустойчивых, малосознательных. Путем подачек, милостей, почестей он привлекает к себе сторонников — трусливых, жадных, жестоких, вероломных людей.

В Алжире я увидел возрождающуюся Францию; проснувшуюся после многолетней спячки.

Я увидел французов, французский народ таким, каким знал его раньше и любил. Все живые силы Франции объединились в борьбе с темными силами, угнетавшими страну. Речь шла не только о борьбе с немцами — главное для Франции было найти силу в самой себе, снова поверить в себя, бороться против своих собственных внутренних врагов, которые привели ее к деморализации и поражению. Борьба с немецкими оккупантами была общим стремлением, объединившим все живые силы Франции. Эта борьба, благодаря Красной Армии и союзникам, окончилась победой. И для Франции останется задача: найти самое себя, стряхнуть с себя последствия деморализации и разложения этих лет, занять в мире место, на которое она имеет право. Все признаки возрождения налицо — сплочение демократических элементов, геройская борьба партизан, вольных стрелков и «Фронта сопротивления». Если первые главы моей книги говорили о крушении Франции, последнюю главу ее можно было бы назвать «Возрождение Франции».

# МИХАИЛ ИСАКОВСКИЙ

А. ДЕРМАН

\*

## I

**Х**арактер отношения широких масс народа к стихам и особенно к песням Исаковского нетрудно определить просто и точно. Это подлинная любовь. Стихи его и песни не только безгранично популярны. Народ как бы присвоил их себе в качестве своего собственного создания. На глазах у современников стирается грань между ними, как произведениями личного творчества и произведениями фольклора.

Иногда, при полной неизменности, так сказать, материального состава произведения, характер его восприятия читателем преобразуется до полной неузнаваемости под влиянием времени. «Бедная Лиза» Карамзина в конце XVIII века и та же «Бедная Лиза» сейчас — это два несхожих произведения, хотя ни одной буквой они меж собой не отличаются. Бывает, однако, и наоборот: происходит порой очень значительная трансформация произведения, но характер его восприятия остается прежним.

Не так давно И. Н. Розанов сделал на собрании московских поэтов доклад о судьбе знаменитой «Катюши» Исаковского. Мы не станем излагать его содержание, отметим лишь, что за короткое время исследователь собрал свыше сотни различных вариантов «Катюши». Некоторые из них лишь в немногом отличаются от авторского текста, другие далеко отходят от последнего, в ряде случаев продолжают песню, повествуют о дальнейшей судьбе Катюши и т. д. и т. д. Катюша становится поэтическим символом русской девушки-патриотки, а пограничник, которого она приветствует, превращается то в легчика, то в танкиста, — в зависимости от того, в какой конкретной боевой обстановке происходит это «освоение» песни; видоизменяется содержание привет Катюши; стихотворение дополняется ответом ей бойца и т. д. В иных вариантах Катюша уже не только обращается к бойцу, но и сама представлена как боец:

Ты, Катюша, извергам проклятым  
Посылаешь тысячу смертей.  
Ты их бьешь не только автоматом,  
Но и песней звонкою своей.

Едва ли возможно сейчас с документальной точностью установить, каким образом произошло присвоение имени «Катюша» грозному оружию нашей Красной Армии, гвардейскому миномету. Но трудно сомневаться в том, что здесь имело место хотя и редкое, но очень простое явление: отраженное влияние поэтического образа на чувства людей, выходящие за пределы поэзии, подобно тому, как мы называем «солышком» или «цветком» тех, кого любим.

Трансформация «Катюши» происходит с поразительной быстротой и гибкостью. Ширится партизанское движение — и Катюша уже партизанка. Красная Армия вступает на рубеж Восточной Пруссии — и Катюша — пленница немцев в этой цитадели германского милитаризма, откуда с мольбой об освобождении протягивает руки навстречу идущему ей на выручку бойцу, и т. д. и т. д.

Нужно ли доказывать, что только внутренняя близость, любовь могла до такой степени обратиться литературный образ в живое лицо с собственной, развивающейся судьбой? Катюшей не только восхищаются, не только радуются ее удачам и скорбят о ее печалях — за нее порой и вступаются, как за реальную девушку. Один писатель-фронтовик рассказывал мне про случай такого заступничества на фронте. В час боевого затишья со стороны переднего края противника патефон донес к нам в окопы звуки «Катюши». Среди бойцов поднялась буря возмущения против румын, занимавших вражескую линию: как они смеют играть «нашу «Катюшу»? Произошла короткая схватка, и «Катюша» вскоре была возвращена «домой».

Все эти примеры, — а их можно привести множество, — явно свидетельствуют об исключительной близости поэзии Исаковского внутреннему миру, душе читателей. В одном его стихотворении, где он с глубокой любовью описывает русскую природу, есть такая заключительная строка: «Всё мое и всё родное». Вот это самое чувство испытывают миллионы людей, читая стихи Исаковского: «мое», «родное», иными словами — любимое.

Анализ творчества поэта должен вскрыть истоки этой любви.

II

Начинать приходится, однако, не с рассмотрения отдельных, хотя бы и важнейших элементов, из которых складывается творчество поэта, а с указания на общую особенность его поэтического лица: Исаковский отразил в своем творчестве определяющую черту нашей эпохи: ее переломный характер. В той или иной мере черта эта отражена в творчестве всех без исключения современников. Исаковский в числе тех поэтов, для которых это составляет органическую сущность. А в особенностях его таланта заключались необходимые данные для ее поэтического воплощения в народном духе. Когда стихи Исаковского читают или песни его поют люди нашей страны, то каждому из них кажется, что стихотворение написано, а песня сложена именно для него, и даже более того, — что он сам ее сожил. Он как бы не отделяет себя от поэта. И в этом нераздельном саянии — истоки той любви, о какой мы выше говорили.

На первый взгляд представляется, что общность между читателями и поэтом уместается в рамках того поколения, которое непосредственно участвовало в событиях великого исторического перелома, и для дальнейших поколений, вышедших на сцену жизни в послеоктябрьский период, значение этого момента постепенно утрачивается.

Но это, конечно, неверно. В Октябре 1917 года страна вступила в длительный процесс всестороннего и глубочайшего преобразования народной жизни. И трудно представить срок, в течение которого ощущение этого процесса для современников будет оставаться непосредственным, медленно уступая место чисто историческому его восприятию. Вспомним, что уже много лет спустя после французской революции — события, неизмеримо меньшего значения, Гейне писал: «Мир раскололся пополам и трещина прошла по сердцу поэта». Эта великодушная метафора одновременно свидетельствует о том, как долго остается живым ощущение великих исторических переломов и как резко воспринимается это ощущение поэтом, который по самой своей духовной природе — отзывчивое эхо.

Но, конечно, разнообразны характер и окраска этой отзывчивости. Складом своей поэтической природы Исаковский был как бы предназначен отразить в наиболее близком народу духе великий перелом.

III

Михаил Васильевич Исаковский родился в 1900 году в деревне Глотовке Вскодского района Смоленской области, в бедной крестьянской семье. Деревня была глухая, заброшенная, даже начальная школы в ней не было, и будущий поэт овладел грамотой самоучкой. Ему было десять лет, когда в Глотовке открылась школа. Он стал посещать ее. Но наступили холода — и

ученье прервалось: не в чем ходить в школу, — ни обуви, ни одежды... Мальчик занимался дома, а весной сдал экзамены в школе. Со второго года посещение школы возобновилось, и в 1918 году мальчик отлично выдержал выпускные экзамены.

Поэтические наклонности Исаковский стал проявлять в первые же годы учения. Уцелевшие в памяти поэта отрывки его ранних стихов представляют определенный биографический интерес, указывая, куда было направлено внимание мальчика, степень его развития и т. д.

Повидимому, школьные учителя проявили незаурядную чуткость к детским опытам Исаковского, распознав в них зерно поэтической одаренности. Это видно из того, что на выпускных школьных экзаменах тринадцатилетнему мальчику было предложено выступить с чтением стихов. Приводим из них два отрывка.

М. В. ЛОМОНОСОВ

Жил у нас в былые годы  
Ломоносов Михаил.  
Я читал его походы —  
Как учиться он ходил.

Тайно вышел он из дома,  
И никто про то не знал, —  
Как в Москву с обозом рыбы  
За наукой он бежал.

СВЯТОЙ

В бедном уголочке,  
На краю села,  
Со звуком Ванюшей  
Бабушка жила.

Хижину плохую  
Имели они, —  
Прозябнут, бывало,  
В ненастные дни.

Дровец у них нету —  
На чем привезешь?  
На себе из леса  
Много ль принесешь?

Связь между этими стихотворениями ясна: неприглядная жизнь «в бедном уголочке» питает увлекательную мечту о славном ломоносовском «походе» в Москву за наукой...

Как бы то ни было, стихи доставили юному автору большой успех, вызвали толки и в какой-то мере определяли дальнейшую судьбу Исаковского. Первое выступление его в печати связано также с вниманием к его ранним опытам со стороны школьных учителей. Учительница школы показала его стихи знакомому педагогу, печатавшему корреспонденции в столичной прессе, и одно из них, «Просьба солдата», на мотив, вызванный происходившей тогда войной,



было помещено в московской газете «Новь» в 1914 году.

Самое важное и ценное в этих замечательных для будущего поэта эпизодах заключалось в том, что учителя стали настойчиво советовать мальчику во что бы то ни стало продолжать образование.

Но как мог бы он совет этот выполнить?

Для переезда в город и обучения в гимназии необходимы были средства, которыми отец его не обладал. Путь самоучки преграждало почти полное отсутствие книг. Жадная любознательность мальчика питалась из самых скудных и случайных источников, вроде обрывков газет и т. п. И порой это приводило к самым неожиданным результатам. В письме ко мне М. В. Исаковский рассказал об одном таком курьезном случае:

«Мое знакомство с поэзией было крайне ограниченным. Я лишь прочел несколько случайно попавших ко мне стихотворений, в которых фигурировали Музы, Фебы и т. д. Все это было совершенно непонятно для тринадцатилетнего деревенского мальчишки. Однако кто-то мне объяснил, что Муза — это богиня поэзии, Феб — бог неба и т. д. И у меня в то время сложилось такое мнение, что стихи без Муз, Фебов, Вахов и пр. — это не стихи и что для стихов требуются слова необыкновенные, красивые и пр.

И вот однажды зимой, в воскресном приложении к какой-то газете я прочел стихи, начинавшиеся так:

«За окошком плакала соната».

Непонятное слово «соната» очень понравилось мне. Я стал думать, что же оно может означать. И так как была зима, то я решил, что соната — это, очевидно, поэтическое название вьюги. Иначе что же может плакать зимою за окошком?..

«Расшифровав» таким путем «сонату», я немедленно же решил ввести это красивое слово, поразившее меня, в свои стихи. И написал следующее:

В вечерний час, когда по небу  
Луна серебристая катилась,  
Ко мне вновь Муза возвратилась  
И стал я поклоняться Фебу.

И тишиной морозной ночи  
Кругом была земля объята.  
Уж сладкий сон спал мне очи,  
Как вдруг заплакала соната.

Меня соната оживляла,  
Я стал прислушиваться к ней,  
Она ужасно завывала  
И с часом делалась сильней.

...Впрочем,—прибавляет М. В. Исаковский,—справедливость требует сказать, что Фебами и сонатами я увлекался недолго и перешел на вещи, более мне близкие и понятные.

Счастливым случай помог Исаковскому совершить этот переход, для чего необходимо было

прежде всего вырваться из той темноты, в которой протекало его детство: на мальчика обратил внимание член уездной земской управы в городе Ельне М. И. Погодин, заведывавший отделом народного образования. Он свез его на свои средства в Москву к знаменитому окулисту Авербаху, который, прописав Исаковскому очки, разрешил продолжать учебу, рекомендуя при этом крайнюю осторожность. Нашлись чуткие люди, педагоги Гориская и Свистунов, организовавшие правильные занятия, и осенью 1915 года Исаковский был принят в IV класс частной гимназии Воронина в Смоленске с освобождением от платы за учение.

Стихотворные опыты мальчика продолжались и в гимназические годы, однако отношение к ним со стороны новых учителей было уже иное. Когда однажды была задана классу домашняя работа на тему: «Природа Кавказа по стихам Пушкина», мальчик и самую работу выполнил в стихах. В ней он писал:

Так вот ты каков, мой священный  
Кавказ! —

Я всею душою стремился  
Тебя посмотреть еще в детстве хоть раз,  
К тебе я мечтой уносился.

Получив от учителя обратно свою тетрадку, Исаковский не нашел под своим сочинением обычной отметки. Вместо нее красными чернилами было написано: «Прошу точно выполнять заданные работы, не допуская неуместных вольностей...»

В гимназии Исаковский прочулся недолго: небольшая стипендия от ельнинской земской управы, которую выхлопотал Погодин, не извлекла юношу от материальных лишений, и в конце концов Исаковский после двухлетнего пребывания в гимназии, вынужден был прервать учение и заняться поисками заработка.

В 1917 году он определился учителем в сельскую школу, а после революции перешел на работу секретаря в волисполкоме.

В 1918 году Исаковский вступил в партию большевиков. Со следующего, 1919 года началась его продолжительная редакторская работа, сначала в провинциальной прессе: до 1921 года — он редактор газеты в Ельне, с 1921 по 1931 — работает в смоленской газете «Рабочий путь». С 1931 по 1932 год редактировал московский журнал «Колхозник», издававшийся «Крестынской газетой».

Одну черту в его провинциальной редакторской деятельности нельзя обойти молчанием даже в самой краткой биографии: исключительное внимание к начинающим авторам. Оно было щедро вознаграждено результатами: Исаковскому довелось стать «крестным отцом» таких поэтов, как Твардовский, Рыленков и др.

Первый сборник стихов Исаковского, под характерным названием «Провода в соломе», вышел в 1927 году. Его появление в свет прошло не совсем гладко: рецензенты Госиздата, куда поэт направил свою рукопись, дали о стихах отрицательный отзыв, что предвещало печаль-

ную судьбу сборника. Дело спасла счастливая случайность. Рукопись подвернулась заведующему отделом художественной литературы О. М. Бескину, он прочел ее и тут же, ночью, стал звонить по телефону своим друзьям, что открыл нового талантливого поэта. По выходе сборника в свет о нем появились в печати и положительные и неблагоприятные отзывы, но в январе 1928 года неожиданно раздалось из далекого Капри авторитетное слово Горького: он поместил в «Известиях» крайне лестный и теплый отзыв о стихах начинающего поэта, чрезвычайно, конечно, его породававший и ободривший. В дальнейшем Горький проявлял самое заботливое внимание и к творчеству и к личности поэта.

За первым сборником последовал ряд других: «Провинция», «Мастера земли», «Избранные стихи», «Избранные стихи и песни» и др.

Значительное внимание уделяет Исаковский переводам, преимущественно украинских и белорусских поэтов.

В 1934 году композитор Вл. Захаров написал для хора им. Пятницкого песню на текст стихотворения Исаковского: «Вдоль деревни». В деятельности хора, исполнявшего лишь старые народные песни, это был поворотный момент: впервые была исполнена советская песня. Она имела громадный успех. При той популярности, какую хор им. Пятницкого пользуется в Советском Союзе, это обстоятельство способствовало проникновению советской песни во все уголки страны.

В 1939 году поэт был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1943 году за тексты песен «И кто его знает», «Провожание», «Катюша», «Шел со службы пограничник» и др. поэту присуждена Сталинская премия первой степени, половину ее Исаковский направил в свой родной Выходской район на восстановление разрушенных немцами культурно-просветительных учреждений.

#### IV

Две черты в этой биографии должны привлечь внимание исследователя творчества Исаковского: во-первых, его отношения с средой; во-вторых, характер исторического момента, когда он складывался и формировался как поэт.

Что касается первого из указанных обстоятельств, то здесь сразу бросается в глаза исключительно тесная связь Исаковского с той средой, из которой он вышел.

Необходимо при этом напомнить, что происхождение писателя из той или иной среды само по себе еще не предвещает характера тех отношений, какие у него впоследствии с нею складываются. Связь писателя с его средой может быть исполнена нежнейшей любви, но может обернуться в тягостные узы ненависти.

Жизнеописание Исаковского, если даже не внять его песен и стихов, ясно указывает на то, что узы происхождения его не только не тяготили, но, наоборот, были для него драгоценны. В самом деле, рано обнаружившиеся поэтические наклонности и способности, жажда обра-

зования, счастливое участие со стороны Погодина создано для него возможности разрыва с деревенской средой, где, как впоследствии писал поэт в краткой своей автобиографии, «книга была редким гостем». И однако же он немедленно к ней возвращается, как только пребывание в городе черствеет быть для него необходимым. Провинциальная пресса, деятельное участие в которой долгие годы принимал Исаковский, по характеру своему была тоже «деревенская». И даже переселившись в Москву, Исаковский избирает себе для работы «деревенский» орган печати, журнал «Колхозник».

И столь же выразительно выступает эта прочная связь поэта с родной средой в его творчестве. В стихотворении «Все та же даль. Все та же синева» Исаковский говорит об этой связи с той нежной простотой и ясной открытостью, какие так характерны для его поэзии вообще. Поэт уходит из деревни в город на постоянное жительство, имя его зачеркнуто в списке односельчан, — и это повод для стихотворения, повод, как мы видим, чисто формальный, потому что самый уход состоялся уже давно. Но Исаковский воспринимает этот эпизод с глубокой грустью: для него это не формальность, а символ разрыва с чем-то бесконечно дорогим и родным: «...душа моя теперь в родном селе не значится по спискам» — пишет он; не «имя», а «душа». И тут же он утверждает свою неразрывную внутреннюю связь с миром, от которого он лишь внешне отделился:

Меня зовет родная сторона,  
Опять зовет к дымящимся закатам.  
И сердце жадно ловит этот зов,  
И у смоленских каменных порогов  
Я слышу звон косы и дальний скрип  
возов

По запоздалым луговым дорогам.

И в концовке стихотворения — краткая поэтическая формула, выражающая внутреннее самознание поэта:

Я потерял крестьянские права,  
Но навсегда остался деревенским.

Этим и объясняется то, что почти вся тематика его творчества посвящена деревне. Но — и это необходимо резко подчеркнуть — отнюдь не в отрыве ее от общей поэзии страны.

Очень характерно выступает эта черта в стихотворении «Большая деревня». Это — стихотворение о Москве.

Не только легко себе представить, но и психологически естественно ждать, что поэт, перенесенный из глуши в столицу, воспримет прежде всего резкое различие между ними, все то, чем Москва поражает глаз, привыкший к деревенским впечатлениям. У Исаковского наоборот:

В Москве звенят такие ж песни,  
Такие песни, как у нас.  
В селе Оселье и на Пресне  
Цветет один и тот же сказ.

Все стихотворение в целом, не только его отдельные звенья, построено не на противопоставлении, а на сближении русской деревни с рус-

ской столицей, самый его идеологический замысел в этом сближении, в неразрывном сплетении деревенского «огня рябины» с «огнем московских кумачей». т.-е. в раскрытии их внутреннего единства.

В дальнейшем мы увидим, какое важное значение имеет данная черта в идеологии Исаковского, сейчас мы ограничиваемся лишь указанием на эту стойкость и органичность «деревенской» сердцевины в его творчестве.

## V

Столь же пристальное внимания, как значение среды, заслуживает значение момента, когда складывался духовный облик поэта, момента великого исторического перелома жизни нашей страны: он определил и колорит творчества Исаковского.

Дореволюционное прошлое русской деревни для Исаковского — не историческая категория, не «сведения», почерпнутые из книг, не объект «изучения». Для него — это острая, неумирающая печаль лично пережитого, глухая тоска детства и юности, тяжкие страдания самых любимых, близких и родных людей. И когда все это было снесено волной революции, оно не ушло из памяти сердца поэта, но осталось в нем как фон, на котором он воспринимает новую жизнь. Между этими двумя стихиями — тяжким прошлым и светлым настоящим в поэтическом творчестве Исаковского установилось очень характерное для него взаимное воздействие: новое не только не погасило в нем скорби о прошлом, но, наоборот, обострило горечь воспоминаний. И точно так же по другой линии восприятий: минувшие тяжкие испытания обострили ту радостную и светлую эмоциональность, какую проникнуты его стихи, посвященные изображению жизни новой, послереволюционной деревни. Совершенно несомненно, что именно этот прогресс взаимного усиления старой печали новой радостью и новой радости — прежней скорбью создает во всем творчестве Исаковского атмосферу редкой цельности, ясности и полноты поэтического чувства. Его печаль — очень горькая; его радость — насквозь светлая; то и другое — до конца искренно; в весьма значительной степени эти именно обстоятельства объясняется большая эмоциональная заразительность стихов Исаковского: захватывает их лирическая безраздельность.

Сопоставьте, например, такие его стихотворения, как «Я вырос в захолустной стороне» — с одной стороны, и «Весна» или «Вдоль деревни» — с другой. В первом читаем:

Я вырос там, среди скупых полей,  
Где все пути терялись в тумане,  
Где матери, баюкая детей,  
О горькой доле пели им заране.  
Клочок земли, соха да борона —  
Такой была родная сторона.

Теперь из «Весны»:

Весна, весна кругом живет и дышит,  
Весна, весна шумит со всех сторон!  
Взлетел петух на самый гребень крыши  
Да так поет, что слышит весь район.

Из «Вдоль деревни»:

Нам такое не встречалось и во сне,  
Чтобы солнце загоралось на сосне,  
Чтобы радость подружила с мужиком,  
Чтоб у каждого звезда под потолком.  
Небо лется, ветер бьется все больнее,  
А в деревне частоклы из огней.  
А в деревне — и веселье и краса,  
И завидуют деревне небеса.

На чем построены все три стихотворения? На лирической гиперболе. «Весна шумит со всех сторон!» и сейчас точно так же, как шумела тысячу лет назад и будет шуметь тысячу лет спустя; и в поведении петухов ничего за это время не изменилось: поют, как и пели. И т. д. и т. д.

Любые «поправки» здесь утрачивают всякое значение для чувства поэта, для его ощущения правды наблюдаемой исторической тенденции.

Происходит великое преобразование родной поэту русской деревни, и он с обостренной тоской вспоминает, какою она была, и с обостренной радостью воспринимает ростки ее грядущего развития.

В стихотворении «Земля» (как и в ряде других) ярко выступает двусторонность этого процесса.

Земля, земля! Горит рассвет,  
И ты для нас — кругом открыта...  
Земля, земля! А сколько ж бед,  
А сколько ж горя пережито!

Эти строки выражают сущность поэзии Исаковского, поэзии великого исторического перелома: лично глубоко пережитая скорбь о прошлом и светлая радость созидания счастливой, обновленной жизни.

## VI

На первый взгляд — это угол зрения огромного большинства, почти всех современных повтов. В чем же здесь отличие Исаковского от других? В цельности, непосредственности, насыщенности и диапазоне лирического выражения чувств. В том, что горе и радость, о которых он пишет, — это его глубоко личные горе и радость, и перелом между ними — это перелом в его личной жизни.

В творчестве Исаковского, как и в отзывке, какой оно находит со стороны читателей — момент лично пережитого играет очень большую роль. Он, как сказано, придает цельность, законченность и полноту его поэтической эмоции. Какое бы мы ни взяли стихотворение Исаковского, тональность чувства в нем всегда и без всякого исключения — полная и определенная: радость — ликующая, печаль — глубокая. Этот момент лично пережитого создает прямой ток от образов поэта к сердцу читателя.

Если попытаться выразить в самой краткой формуле, каково ощущение жизни миллионов масс нашего народа в наше время, то над всей сложной пестротой этого необозримого многообразия встанет один неоспоримо-явственный общий признак: ощущение новизны. Пусть одни ее благословляют, другие на нее ворчат, иные даже проклинают,—все равно, ощущают ее все без изъятия. И таким образом у поэта перелома народной жизни происходит «встреча» с миллионами его читателей на этом универсальном и важнейшем ощущении новизны, свежести становления жизни. Само собою разумеется, что «любимой» эта встреча бывает не со всеми, но всех она задает за живое. И особенно радостна эта встреча тем, кто заодно с поэтом со всей подношью чувства и радуется и скорбит, т. е., в целом, всему народу.

## VII

Необходима, однако, существенная оговорка, когда мы говорим об особенно тесной связи Исаковского с русской деревней — связи, определившей, прежде всего, тематику его творчества (стихов, в которых не фигурировала бы деревня или люди деревни, у него почти нет).

Это — отнюдь не ограниченный провинциализм в идеологии поэта. Он пишет о том, что ему всего ближе и дороже, но его подход к данной теме не фольклорно-малейшего привкуса того эстетического консерватизма, который не разлучен с «деревенским провинциализмом», с предпочтением «патриархальности», в чем бы она ни выражалась, хотя бы в соломенных крышах и лаптях — напротив, он резко ему враждебен. Как уже указывалось, его отношение к темным сторонам деревенской жизни не просто скорбное, но обостренно-скорбное. Например, в цикле стихотворений «Былое» Исаковского почти стерта грань между жизнью и смертью деревенских жителей, которые

Звали счастье под свое окно,  
Только счастье не спешило в гости.  
И надежным было лишь одно —  
В три аршина место на погосте.

Но Исаковский верит в расцвет русской деревни, который ясно рисуется ему в изживании деревенской обособленности от культурной жизни страны. Очень просто и выразительно это высказано в уже цитированном нами стихотворении «Большая деревня»:

И оттого-то все налевней  
Шумит полей родных простор,  
Что в каждой маленькой деревне  
Теперь московский кругозор.  
Москва в столетях не завянет  
И не поникнет головой,  
Но каждая деревня станет  
Цветущей маленькой Москвой.

Эту черту в поэзии Исаковского, кажется, раньше всех уловил Горький, когда по поводу

выхода первой книги стихов Исаковского отметил в посвященной ей рецензии, что автор ее «знает, что город и деревня — две силы, которые отдельно одна от другой существовать не могут, и знает, что для них пришла пора слиться в одну непоборимую творческую силу, слиться так плотно, как до сей поры силы эти никогда и нигде не сливались. В сущности именно этот мотив и звучит во всех стихах Исаковского». Несомненно, что и поэт видел в этом основной смысл своей поэзии, метко, просто и образно назвав первый сборник своих стихов «Провода в соломе».

Есть у Исаковского стихотворение, где он сам указывает истоки своего творчества, не отделяя при этом последнее — и с полным на то основанием — от песенного народного творчества: «Догорай, моя лучина». И как характерно, что «героем» этого стихотворения является все та же символическая электрическая лампочка и что написано оно по случаю открытия электростанции в одном из колхозов. Вот несколько заключительных строк из него:

До конца  
до предела  
догорела сегодня лучина,  
И тоскливая русская песня  
с лучиной сгорела до гла.  
.....  
Под счастливой звездой,  
пришедшей с электростанции,  
Мы сегодня  
вторично на свет рождены.  
Наши звезды плывут,  
вековую ночь сокрушая,  
Раздвигая глухую  
ненасытную тьму.  
Наша жизнь поднялась  
словно песня большая-большая,  
Та,  
которую хочется слушать  
и хочется петь самому.

Конечно, формально поэт как будто неправ, утверждая, что «тоскливая русская песня с лучиной сгорела до гла», и творчество Исаковского, в котором не мало тоскливых песен о прошлом русской деревни — красноречиво опровергает это утверждение. Но совершенно ясно, что слова его имеют иной смысл: не «песня с лучиной», а воспевание лучины, ее опознание, ее возведение в эстетическую категорию, довольно богато представленное и в письменной и в устной поэзии дореволюционной России, — сгорело до гла. И поэт Исаковский является как раз характернейшим и органическим выразителем этого переломного момента, этого перехода русского села от лучины к электролампочке.

Именно органическим. Самое звучание его стихов, тембр и сила его поэтического голоса, страстность, вкладываемая в слова,—все это у него резко меняется в зависимости от того, изображает ли он, выражаясь условно, «лучину» или то, что охватывается противоположным по значению термином «электролампочка» или, на-

конец, самый переломный момент от «лучины» к «электролампочке».

Есть у Исаковского большое стихотворение, где мы сразу встречаемся с отражениями этих трех элементов, из коих в целом складывается вся картина творчества поэта. Это — «Четыре желания» («Песни о жизни батрака Степана Тимофеевича»). Здесь и безрадостные картины жалкого прозябания батрака («лучина») и картины его несбывшихся мечтаний («электролампочка») и, наконец, призыв поэта ко всем обездоленным Степанам Тимофеевичам переломить свою горькую судьбу и ринуться навстречу новой, радостной жизни. Мы встречаем здесь сначала хорошо знакомую щемящую печаль, неизменно сопровождающую у Исаковского изображение постылого прошлого, и столь же знакомую почти детскую радость, когда на смену старому приходит «счастье должжданное». Но как характерно для поэта переломного момента русской народной жизни, что наивысшим лирическим подъемом отмечены у него те строфы, где он обращается к обездоленным батракам с призывом «разбить свою горницу тесную».

Вставай же, Степан Тимофеевич!

Вставайте, раздетые, босые,  
 Чьи годы погибли бесседые,  
 Чьи жизни погасли во мгле;  
 Чьи русые кудри нечесаны,  
 Чьи темные хаты нетесаны,  
 Чьи белые кости разбросаны  
 По всей необъятной земле;

Вставайте, сермяжные пахари,  
 Оратан вечно голодные,  
 Взмахните широкими крыльями,  
 Не звавшие взлета орлы!

Не только в строе и в стиле, но и в лирической силе, в эмоциональной выразительности этих строф есть поистине что-то некрасовское. И это потому, что поэт коснулся здесь мотива, составляющего глубинное ядро его подлинного призвания.

## VIII

Таковы узы, соединяющие нашего поэта с его многомиллионной аудиторией. Но все сказанное еще не дает полного ответа на вопрос, поставленный в самом начале нашей статьи: откуда идут потоки этой особенной интимной любви к поэту? Никто ведь не станет спорить против того, если мы скажем, что его поэзия не отличается какой-либо исключительной силой и мощью выражения, широким полетом фантазии, многообразием страстей. Напротив, она проста и скромна.

Заметим мимоходом, что в критической литературе последнее нередко расценивается, как «недостаток», что безусловно неверно: это свойство, но не недостаток, подобно тому, как неверно было бы отнести к недостаткам пейзажа среднерусской полосы отсутствие скал, водопадов и горных стремнин или отсутствие пальм в березовой роще. И «недостатком» благородного камня не может служить то, что он, допустим,

не алмаз, а изумруд: недостаток его может быть лишь в том, если он не настоящий, фальшивый, если это страз, выдаваемый за бриллиант.

Но в том-то и дело, что Исаковский — наречность «настоящий»! Ни одна пылинка фальши не пятнает его лирической искренности и чистоты. Секрет его обаяния в значительной степени в том, что он обладает превосходным чувством меры, этим внутренним регулятором искренности, правдивости и целомудрия слова. Он не останавливается на полдороге при выражении своих чувств, но и не переступает за ту черту, где кончается их полнота и начинается наигрыш.

Дар душевной открытости, полноты самоотдачи — и редок и драгоценен в поэте. Он потому именно редок, что труден. Тут требуется большая смелость лирического движения, но непременно в сочетании с тонким и безошибочным чувством меры. Не дойдешь в этом движении на какой-то волосок — доверчивость поэта обратится в жеманную позу. Переступишь на волосок за какую-то грань — получится сентиментальная болталивость. А встанешь на самое острие грани — в восприятии читателя сразу родилось живое созвучие.

Поясним на примере сущность этой магии лирики. В величайшем шедевре мировой поэзии, в стихотворении Пушкина «Для берегов отчизны дальней», первая строфа заканчивается так:

Я долго плакал пред тобой.

Нужна была предельная открытость лирического движения души, чтобы их произнести без обиняков, без запинки и смягчений, без страха перед наивностью их звучания. И вот они сразу хватают за сердце.

В меру своего таланта поэт Исаковский обладает этим даром полной душевной открытости. Вот его незамысловатое стихотворение «В прифронтовом лесу». Гармонист перед собравшимися в лесу бойцами играет старинный вальс «Осенний сон»:

Под этот вальс ловили мы  
 Очей любимых свет,  
 Под этот вальс грустили мы,  
 Когда подруги нет.

И вот он снова прозвучал  
 В лесу прифронтовом,  
 И каждый слушал и молчал  
 О чем-то дорогом.

Приглядевшись к этим двум строфам, мы замечаем, что в сущности они построены из весьма опасного материала. Можно ли себе представить что-либо более избитое и затрепанное, чем грусть под звуки старинного вальса, исполняемого вдобавок гармонике. Того же порядка и словесный состав этих строф: «свет очей», «мы грустили под вальс», «молчали о чем-то дорогом». Как будто нарочито — что ни слово, то банальность. Но вот подите же — хватает за сердце.

А дело в том, что никакие слова сами по себе, как таковые, не бывают поэтичны и хороши,

либо банальны и плохи. Тем и другим делает их то или другое употребление. В данном примере избитый мотив, привычные слова и фразы освещены и возвращены к своей первоначальной чистоте — безобаянной и доверчивой открытостью высказывания, искренним волнением ясного до прозрачности душевного процесса. Характер общения поэта с его читателем и тут, как прямой ток от сердца к сердцу.

## IX

Возникновению этого тока способствуют и все другие главнейшие элементы поэзии Исаковского. Взять хотя бы такую черту, как конкретность, определенность, предметность его лирики. Когда он изображает какое-либо чувство или душевное состояние, когда говорит о взволновавшем его событии или явлении, то редко в отрыве от человека, который все это переживает; чаще всего — это живые Степаны и Маруси, Любаши и Катюши, тетушка Христина и тракторист Мишель, сплошь да рядом со своими индивидуальными чертами, личными радостями, печальями, удачами и невзгодами. И когда он говорит о событиях широчайшего значения и масштаба, то они у него всегда связаны с конкретным жизненным моментом, с появлением в деревне электролампочки или молотилки и т. п. Конкретность в стихах Исаковского читателю передается так, словно участвовавший поэт любовно вник в его личную судьбу.

Поэт, как уже было сказано, не изображает героев равнодушно, а всегда с любовью, с лаской, с гневом или возмущением. И чаще всего — с любовью. А это — безмерно важно, важно главным образом потому, что любовь обостряет поэтическое зрение художника. В этом секрет того, чем поэзия Исаковского подкупает читателя.

Когда-то у нас было очень популярно небольшое прелестное стихотворение Полонского:

Ночь смотрит тысячами глаз,  
А день глядит одним;  
Но солнца нет — и по земле  
Тьма стелется, как дым.  
Ум смотрит тысячами глаз,  
Любовь глядит одним;  
Но нет любви — и гаснет жизнь,  
И дни плывут, как дым.

В этих строках не просто некая прекраснодушная метафора. Нет, здесь выражена большая и верная мысль, в частности, многое объясняющая в процессе художественного творчества. Вот отрывок из письма Л. Н. Толстого к жене, где он говорит о постигшем его душевном недомогании: «Больнее мне всего на себя то, что я от нездоровья своего чувствую себя 1/10 того, что есть. Нет умственных, а главное, поэтических наслаждений. На все смотрю, как мертвый, то самое, за что я не любил многих людей. А теперь сам только вижу, что есть; понимаю, соображаю, но не вижу насквозь, с любовью, как прежде».

Здесь — полное совпадение с мыслью стихотворения Полонского: смотреть без любви, значит видеть поверхностно, значит не видеть главного.

Есть область литературы, где преобразующая сила любви художника к тому, что он описывает, выступает с особенной наглядностью, потому что он определяет собою самый вид данной области: есть у художника любовь к изображаемому миру — получится один вид литературы; нет этой любви — и вид будет другой, в известном смысле противоположный. Это — область изображения смешного.

«Смех» в творчестве Исаковского предстает перед нами в виде редкого примера чистого, беспримесного юмора и с этой стороны заслуживает самого пристального внимания.

Есть у него, правда, стихотворения, высмеивающие то или иное отрицательное явление, но их, во-первых, немного, главное же — они мало для него характерны: в своих отрицательных изображениях он гораздо чаще печален и серьезен, смех саркастический ему в общем чужд. Даже простая насмешка — редкая гостья в его стихах.

Но ему органически свойственна ласкающая усмешка любования своими героями.

Она подобна той улыбке, с какою мать смотрит порою на своего ребенка, еще житейски невооруженного, наивного, трогательного своею непосредственностью, смешного своими повадками казаться «большим».

Вот небольшое стихотворение Исаковского «Первое письмо»: лишь недавно обучившаяся грамоте девушка пишет свое первое любовное письмо. Какая «опасная» тема! Как легко здесь соскользнуть на шаблон сентиментального дидактизма — с одной стороны («Безграмотность это проклятое наследие прошлого, быстро ликвидируется в нашей великой стране. Вчерашняя темная батрачка, овладев знаниями и культурой...») или на душевную насмешливость чванного превосходства — с другой. Исаковский прошел по этому узкому фарватеру между Сциллой и Харибдой, и посмотрите, какое честное и справедливое получилось у него стихотворение! Ни лжи, ни поучительства, ни снисходительного похлопывания по плечу, ни насмешливости, а как раз та самая усмешка любви, с какою мать наблюдает первые успехи в грамоте своего ребенка. И какую большую, серьезную правду освещает эта любовь! Девушка, одолев «научную книгу букварь», испытывает удивление, радость и гордость и в упоенье восклицает:

Я читаю и радуюсь каждому звуку,  
И самой удивительно — как удачно,  
Что такую большую мудреную штуку  
Всю, как есть, изучила насквозь.  
Изучила и знаю... Ванюша, ты  
слышишь?..

И такой на душе занимается свет,  
Что его и в подробном письме не  
опишешь,

Что ему и названия нет.

Совершенно открытая усмешка освещает здесь каждое слово, и читателя она заражает: вместе с автором он улыбается, глядя на эту гордость девушки. Читатель заражен и другим: какою-то нравственной справедливостью этих строк и по

существо совершенно правильным ощущением будто он присутствует при чуде прозрения слепца. А как характерно для Исаковского это сочетание простоты с тонкостью, это умение подать чувство в его индивидуальном воплощении: героиня стихотворения, молодая девушка, находит такое выражение для своего внутреннего слова.

Будто я хорошею от каждого слова.

Да, вслед за автором мы невольно улыбаемся по поводу стилистических «шероховатостей» в письме его героини, этих «ненаглядных пособий» и прочего, но мы вместе с ним и радуемся ва нее и любим ее.

Юмор Исаковского — не единственная форма, в которую выливается его чувство любви к своим героям, но, быть может, одна из самых заразных и привлекательных. В той любви широких народных масс к своему поэту, о которой мы говорили, значение этого фактора совершенно бесспорно: ласковая усмешка, обращенная к тому, что мило и дорого, это как раз народный колорит и восприятия и выражения дорогого, — без декламации, внешнего пафоса, без театральности, потому что юмор — это одна из форм сдержанности чувства, а сдержанность появляется там, где чувство настоящее: искреннее, правдивое и сильное.

## Х

Некогда Чехов написал в одном из рассказов: «Высшим выражением счастья или несчастья является чаще всего безмолвие; влюбленные понимают друг друга лучше, когда молчат, а горячая, страстная речь, сказанная на могиле, трогает только посторонних, вдове же и детям умершего кажется она холодной и ничтожной».

В этих скупых словах совершеннейшего из художников — настоящих манифест принципа сдержанности в литературе.

И ни в чем, быть может, народный колорит поэзии Исаковского не выступает с такою выразительностью, как именно в целомудрии сдержанности. Это положение можно иллюстрировать на огромном количестве его стихотворений, но мы остановимся лишь на двух, изображающих чувства противоположного характера: счастливое и печальное.

Вспомним всем известное «И кто его знает». В чем, употребляя излюбленный термин Белинского, пафос этого стихотворения? В чудесной сдержанности. Целомудренная сдержанность глубокой и потому робкой любви здесь и воплощена в форме цепочки сдержанных намеков — трогательных, простых, нежных и тонких, — хотя бы, например, эти поэтически-драгоценные «два загадочных письма», состоящие из одних точек! Мудрено ли, что песня на эти стихи стала поистине любимейшей для всего нашего многомиллионного народа: ведь поэтический «намеки» — подлинное ядро народного поэтического творчества, как раз та самая форма, в которую отливаются самые глубокие и живые движения народных чувств. Не говоря уже о

пословицах, поговорках, загадках, явно построенных на «намек», разве вся беспредельно богатая символика обрядов и обычаев, связанных с важнейшими моментами жизни народа, не есть творчество «намеками»?

Вот второй пример — грустное, чрезвычайно задушевное стихотворение «Спой мне, спой, Прокошина». Оно посвящено поэтом памяти его матери, и в нем описана разлука с матерью, когда поэт в юности покидал родной дом. Вся картина прощания уместна в двух строках:

Обняла, заплакала:  
«Ну, сынок, иди!..»

Подробности прощания опущены, но никак нельзя сказать, что их «недостает», что в данном месте стихотворения какая-то пустота. Напротив, у читателя остается впечатление полноты драматического содержания сцены, насыщенности глубокой печалью, но в то же время волнующей недоговоренности, родившейся из переполненности чувства, — то, что у Некрасова, — творческое воздействие которого на Исаковского совершенно бесспорно и весьма значительно, — выражено в знаменитом двустишии, давно вошедшем в обиход народной речи:

Мало слов, а горя реченька,  
Горя реченька бездонная!..

## XI

Возьмем такую, казалось бы, нейтральную, чисто-эстетическую область, как пейзаж, мы увидим, что и в его изображении есть у Исаковского нечто такое, что обеспечивает поэту сердечную симпатию его читателя. Чаще всего пейзаж связан у него с трудовой жизнью крестьянина: то с самим процессом труда, то с отдыхом после труда. Но и те картины природы, где труд отсутствует, близки народу своим колоритом, составом своих элементов, общим своим тоном и настроением.

Прощаться с теплым летом  
Выхожу я за овин.  
Запылала алым цветом  
Кисти спелые рябин.  
Все молчит — земля и небо,  
Тишина у всех дорог.  
Вкусно пахнет свежим хлебом  
На току соломы стог.

Или:

Стали сосны сдержанней и глуше,  
Все о чем-то шепчутся во сне,  
Словно чьи-то старческие души  
Згрустили о былой весне.

Как и в поэзии, творимой самим народом, здесь простота сочетается с нежностью, а тонкость свободна от малейшего привкуса изысканности и придуманности: все естественно, метко и очень задушевно.

Примеров слияния творчества поэта с творчеством народа можно почерпнуть в стихах Исаковского множество. Таково «Пели две подруги», откуда приведем лишь одну строфу — тонко-артистическую и вполне народную:

Улетали гуси;  
Лето закатилось.  
По лесам брусника  
В кузовок просилась.

Такова «Белорусская песня» с ее началом:

Ой вы, вольные птицы,  
Ой вы, серые гуси!  
Долетите вы, гуси,  
До моей Беларуси;  
До моей Беларуси,  
До родимой сторонки,  
А в родимой сторонке —  
До деревни Сосонки.

По складу, по лексике, по инструментовке — совершенно натуральный стародавний фольклор, между тем — песня эта злободневная, тема ее — Отечественная война.

Толстой, повторяя изречение художника Брюллова, некогда написал в своем трактате об искусстве, что искусство начинается там, где начинается «чуть-чуть». Это «чуть-чуть» приобретает сугубый интерес у Исаковского в тех случаях, когда оно стоит на грани, отделяющей устное творчество народное от творчества литературно-индивидуального. Этим отмечено, например, «И кто его знает», очень народное по духу, по характеру и свержающее тонкой литературной шлифовкой. Подобных произведений у Исаковского не мало. Но, быть может, еще яснее выступает у него это «чуть-чуть» в отдельных эпитетах, метафорах и сравнениях, когда, например, лес он назовет «зеленокудрой сходкой», что будет принято, как «свое», народным читателем и что, однако же, заключает в себе несомненный литературный оттенок. Или когда назовет луну «круглой сиротой»: здесь литературный оттенок проступает в каламбурной игре слов, хотя сама по себе эта простая метафора — вполне народна. Мать назовет у него ребенка «сыночек-звоночек», и это также и народно и литературно. И т. д., и т. д. Иными словами: литературно-индивидуальные элементы поэзии Исаковского находятся где-то очень близко от поэтического народного творчества. И подобно тому, как в одном из своих стихотворений он сказал о русской деревне:

Все мое, и все родное, —

точно так же миллионы простых русских людей относятся и к его стихам: все мое и все родное.

## XII

Еще одно и притом важнейшее обстоятельство питает любовное принятие народом поэзии Исаковского: мысли и чувства поэта никогда не носят печати мелочности, замкнутости, комнатности. Даже в стихах на первый взгляд строго личного характера Исаковский всегда говорит

лишь о том, что близко тысячам и миллионам. Но, с другой стороны, и о темах, волнующих всю страну, он говорит так, что вы ясно чувствуете: не только для читателя написаны эти строки, но и для самого поэта, для удовлетворения внутренней потребности откликнуться на то, что его лично глубоко волнует.

Покажем эту счастливую слиянность лично-го с общим на одном лишь примере, на стихотворении «Отцовский дом разграблен и разрушен». Вот небольшие выдержки из него:

Отцовский дом разграблен и разрушен,  
В огне, в дыму Смоленщина моя.  
Кругом война. И, в руки взяв оружие,  
Спешат на фронт и братья, и друзья.

И горько мне, что я больной и хворый,  
Что без меня идут они на бой.  
На бой за Родину, судьба которой  
Навеки стала нашею судьбой.

Глаза мои померкли раньше срока,  
Слабей, слабей заря моя горит.  
И тяжелее тяжкого упрека  
Нерадостное слово — инвалид.

.....

А дни бегут. А сила не вернется.  
А старость бродит по моим следам...  
Пусть будет так. Но все же сердце бьется,  
И это сердце — без остатка — там.

Назвать это стихотворение совершенным никак нельзя. Несомненно, оно выиграло бы в выразительности от некоторого сжатия, оно несвободно от стилистических шероховатостей. «Больной» и «хворый» — это, в сущности, очевидная тавтология.

Тем характернее выступает в нем указанная выше особенность творческого лица Исаковского: слиянность личного с общим, естественный переход одного в другое. С покоряющей доверчивостью и безбоязненностью он вслух скорбит о своей физической неполноценности, о том, что глаза его «померкли раньше срока». Но со всей справедливостью, с полным на это правом он заявляет, что даже из этой обиды, нанесенной ему судьбой, питается его поэтический родник.

Изначне подчеркивать, как велико значение этого фактора в сумме тех причин, которые делают поэзию Исаковского любимой для народа: ведь эта слиянность личного с всенародным означает, что творчество поэта патристично в точном и полнейшем смысле этого слова, потому что в самых истоках своего лирического чувства Исаковский не отделяет от страны, его родившей, от народа, его воспитавшего.

## XIII

В «Войне и мире» Толстой пишет об одном из героев великой эпопеи: «... жизнь его, как он сам смотрел на нее, не имела смысла, как от-



дельная жизнь. Она имела смысл только как *часть целого, которое он постоянно чувствовал*. Его слова и действия выливались из него так же равномерно, необходимо и непосредственно, как запах отделяется от цветка».

Мне кажется, то, что здесь сказано, очень близко подходит к определению характера поэзии Исаковского. Слова его стихов и песен так искренни и задушевные, так просты и естественны, так органично и непринужденно сложены, что действительно представляются отделяющимися, подобно запаху от цветка. Когда в одном из стихотворений он говорит, что его слово — это «живое слово сердца моего», то это очень точно. И далее, — восприятие мира у поэта, как оно рисуется в его стихах, именно хоровое:

жизнь имеет для него смысл в неотрывной связи с «целым», с жизнью его народа, с которым он находится в процессе постоянного двустороннего общения: все соки своего духовного питания поэт получает от народа, возвращая их ему в форме своего творчества. Каждой своей новой книгой, каждым отдельным стихотворением он как бы обращается к народу: *твоя от твоих тебе приносяща*. И в свою очередь миллионы людей подхватывают его стихи и песни, как «свое», и несут их на высокой волне любви к поэту, который с такой простотой, чистотой и ясностью говорит о том, что для них всего важнее и дороже, что глубоко их волнует, радует и печалит, и который говорит это именно так, как сами они хотели бы сказать.

# НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ О ГОРЬКОМ

АН. ВОЛКОВ

★

Третьим том «Материалов и исследований» о Горьком<sup>1</sup>, подготовленный к печати Институтом литературы Академии наук СССР до войны, вышел в свет в 1945 году. Так же, как и первые два тома, он дает обширные публикации архивных и малоизвестных материалов.

Большой интерес представляют публикуемые в сборнике многочисленные письма Горького к В. М. Миролубову — редактору демократических изданий: «Журнал для всех» и «Знание», к известным историкам литературы и редакторам С. А. Венгерову и Д. Н. Овсяннику-Куликовскому. Эти письма раскрывают нам Горького в роли идейного вдохновителя передовой литературы, учителя и наставника молодых писателей, показывают, как заботливо относился Горький ко всякому честному таланту, способному служить делу культурного возрождения своей родины.

Вот характерные строки из письма Горького к Миролубову (1900 г.) о только начинавшем тогда писательскую деятельность С. Скитальце (С. Г. Петрове):

«...Возвращаю переделанный рассказ Петрова. Петров — расцвет, дай ему боже всего доброго. Голову даю на опсечение, из него выйдет крупная сила или я — осел. Пышала три стихотворения. Автор — из простых, бывший солдатик. Прекрасно владеет стихом, но как-то туманен».

В 1911 г. Горький пишет Миролубову о К. А. Треневе: «Зачиная новый журнал, поимели бы в виду Тренева: его следует извлечь из педагогики, человек умный и может быть прекрасным работником».

Д. Овсяннику-Куликовскому для «Вестника Европы» Горький рекомендует стихи пролетарского поэта, сотрудника большевистского журнала «Пролетарий» Л. Старка: «Старку — 22 года, он довольно интеллигентный парень, любит учиться; мне кажется, что в нем есть что-то свое, оригинальное и здоровое, очень хочется, чтоб его стихи появлялись в «Вестнике» Евро-

пы» — это действовало бы хорошо на юношу».

Вновь публикуемые письма Горького наряду с уже ранее опубликованными показывают нам, какое большое значение приобретает изучение роли Горького как руководителя прогрессивной литературы своего времени, дающее возможность полнее раскрыть литературный и общественный облик великого писателя.

Горьковские письма также интересны для уяснения его отношения к явлениям политической жизни России. В письмах Овсяннику-Куликовскому — редактору «Вестника Европы», относящимся к предвоенному периоду (1911—1913 гг.), Горький выдвигает как важнейшую задачу — борьбу с зоологическим национализмом, усиленно пропагандируемым реакционной прессой. «Весьма басовито и внушительно, — пишет Горький, — прозвучало бы на страницах «Вестника Европы» указание на то, что нам, России, весьма грозит участь Австрии, где огромное количество духовной энергии поглощается борьбою племенной, а общекультурный рост — застыл почти.

Простите, что открываю Америку! Мне кажется, что «национализм», хотя и не сильно, а все-таки просачивается в массу русского народа, я его — знаю и, естественно, побаиваюсь эффектов нежелательных, а в то же время мне думается, что встать поперец этого течения можно и должно. Да, помимо массы народной, ведь и «культурное» наше общество весьма нуждается в том, чтоб ему разъяснили какого дукой от чертей отмахиваться надо».

В другом письме Горький подчеркивает важность этой борьбы «теперь, когда в России главенствующее ее племя постепенно поддается внушениям зоологического национализма, когда внутренне расшатанное и усталое культурное общество, видимо, не в силах противоборствовать возрожденному азиатски деспотическим идеям, и проповедь порабощения племен, в состав империи входящих, не встречается в литературе и душе общества достаточно обоснованного, энергичного и необходимого отпора».

Эти строки в общем контексте с ранее опубликованными статьями и письмами Горького предвоенного периода показывают, какое боль-

<sup>1</sup> М. Горький. «Материалы и исследования». Т. III. Под редакцией С. Д. Балухатого и В. А. Десницкого. Издательство Академии наук СССР, Ленинград, 1945 г.

шее значение придавал Горький борьбе с национализмом за равноправие всех народов нашей страны.

В ряде писем к Миролубову, относящихся к 1901 г., Горький выступает против реакционных «богоискателей» типа Мережковского, которые «речами о боге, о Христе» призывают публичную практику царизма. «Суть в том, — пишет Горький, — соединяю ли учение Христа — бога или человека, — которого вы любите, по словам вашим, — с той жизнью, которой живете, с тем порядком, которому вы рабски служите, с тем угнетением человека, которое вы — не споря против него — утверждаете? Где установил ваш Христос то, чтоб человек на человеке верхом ездил — а вы везущего, озверевшего от усталости, кроткому терпению учили?».

Интересно мнение Горького, высказанное им в письме к Иванову-Разумнику (1912 г.) по поводу утверждения этого эсеровского литературоведа о «внеклассовости русской интеллигенции». Горький пишет: «Что интеллигенция суть группа внеклассовая и внеслововая, в это я никогда не верил, особенно трудно это принять теперь, после того, как интеллигенция, в ряде поколений воспитывавшаяся социальными, ныне столь легко отбрасывает не только идею социализма, но и обнаруживает крайнюю неустойчивость своих демократических чувств. Вы скажете — марксист! Да, но марксист не по Марксу, а потому, что так выдублена кожа. Меня марксизму обучал лучше и дольше книг казанский булочник Семенов и русская интеллигенция, которая наиболее поучительна со стороны своей духовной шаткости. Видите, как мы с вами расходимся. В литературных вкусах и в оценках тоже неприемлемо разойдемся».

В одном из писем к С. А. Венгеру (1912 г.) интересно мнение Горького о Льве Толстом, которое дополняет ранее опубликованные мысли Горького по этому поводу. «Граф Лев Толстой — гениальный художник, наш Шекспир, быть может, это самый удивительный человек, которого я имел наслаждение видеть. Я много слушал его и вот теперь, когда пишу это, он стоит передо мною — чудесный, вне сравнений». Но в то же время Горький считает необходимым резко высказаться о толстовской проповеди: «Слишком двадцать лет с этой колокольни раздается звон, всячески враждебный моей вере. Двадцать лет старик говорит все о том, как превратить юную, славную Русь в китайскую провинцию, молодого, даровитого русского человека — в раба».

В разделе «Статьи о Горьком» опубликованы исследования С. Д. Балухатого — «Песня о Соколе», В. Голубева — «К вопросу о литературных источниках пьесы «Дети солнца», С. Касторского — «Из истории создания повести «Мать», В. А. Десницкого — «Неосуществленный замысел Горького, — роман о российском Жан-Вальжане, добротельном каторжнике».

В исследовании С. Д. Балухатого прослеживается история творческой работы Горького над «Песней о Соколе». Опубликовав первый вариант «Песни» в 1895 г., Горький в последующие

годы перерабатывает ее «в сторону усиления призывного революционного звучания ее героической темы». Автор на обширном материале доказывает, что эта работа велась Горьким в соответствии с его идейно-политическим ростом в годы расцвета революционного движения пролетариата. Новый вариант «Песни о Соколе» отвечал задачам борьбы народа накануне и в эпоху первой русской революции. С. Д. Балухатый показывает, как образ «Песни» прочно вошел в словарь революционных прокламаций, листовок и публицистики, а после победы Великой социалистической революции наполнился новым идейным содержанием. Народная мысль перенесла образ Сокола на самого создателя «Песни». Характерны строки из «Прощания» пионера Игарки, обращенные к погибшему от рук фашистских убийц великому писателю:

«О, смелый Сокол, ты над землею, дыша борьбою, парил высоко. Из битв жестоких ты вынес сердце любовью полно.

Ты гордо бросил проклятье жадным, живущим праздно чужою кровью. Ты подал руку несчастно бедных, и раб увидел дорожку к свету.

Для поколений, идущих к жизни, ты будешь вечно светящим солнцем.

Ты славно пожил. Твоею жизнью учиться будем и будем вечно дышать борьбою, как ты, любимый, как ты, наш Сокол.

Мы будем помнить и славить вечно твои заветы и будем сильны, как ты, любимый, — о, смелый Сокол».

В исследовании В. А. Десницкого освещается интересный момент в литературной биографии Горького. Автор доказывает, что Горький оставил свой замысел о романе на тему о добродетельном каторжнике неосуществленным, ибо реализовал его в качестве одной из боковых тем в «Жизни Клема Самгина». Публикуемые В. А. Десницким заготовки к роману вводят нас в творческую лабораторию великого писателя и при всей их фрагментарности представляют художественную ценность.

В рецензируемом сборнике опубликованы статьи американской прессы о Горьком (относящиеся к 1907 г. — времени появления в США перевода повести «Мать»), показывающие, как высоко оценила творчество Горького американская общественность. Американский критик Луиз Кольт Уилкокс на страницах «Северо-Американского обозрения», противопоставляя «Мать» Горького «жизне ходячим романам», пишет: «Как ничтожно, как агонично и как нелепо кажется все, когда вы только что закрываете великую книгу Горького о воплощенных идеалах жизни!» В прозведении Горького автор статьи видит выражение «высшей формы» «социальной сознательности»: «Нам действительно кажется, что мы вступили в новый, другой круг существования».

На страницах другого издания — «Католический мир» отмечается, что в повести Горького «дух и методы революции описаны хорошо, а безнадёжная доля низших классов изображена очень выразительно, и делается следующий знаменательный вывод: «Надо полагать, что америка-

нец средней руки не колебался бы ни минуты присоединиться к революционерам, если бы он был перенесен из нашей страны свободного слова, свободной прессы и демократии во владения царя, где угнетенный и погруженный во тьму народ лишен этих существенных благ». По мнению того же автора, «повесть дает хорошее понимание сути русского социалистического движения и, как документ, она будет ценна для всех изучающих социализм».

Автор статьи о «Матери» на страницах газеты «Нация» видит в горьковских образах революционеров воплощение гуманизма: «Среди большой группы русских социалистов, изображенных Горьким, а многие из них ярко индивидуализированы, — нет ни одного, который не становился бы более гуманным, благодаря своим убеждениям и той бескорыстной деятельности, к которой они его приводят. Прежде всего это относится к главной фигуре — матери, чей однажды пробужденный дух витает над всем движением и которая, в конце концов, с торжеством отдает свою жизнь за это движение». Передовая американская печать уже тогда видела, что Горький и русские революционеры-большевики выражали великую историческую правду, призывая народные массы к борьбе с реакционным царским режимом. «Сторонники свободы, — писала газета «Независимый», — желающие знать источники родников, которые, разливаясь по России, соединились в мощную реку революции, угрожающую снести разлагающее самодержавие, сочтут эту книгу одновременно и поучительной и интересной».

Не во всем американская критика правильно понимала Горького, многое для нее осталось «тайной» в его писательском облике, но она поняла главное — то, что Горький, опираясь на революционную правду большевиков, выражал самые передовые идеи, победа которых выводила Россию на путь прогресса.

Со страниц произведений Горького мир увидел все величие и гуманизм русской революции. «Едва ли где-нибудь еще социализм говорил таким глубоким, таким нежным голосом», — читаем мы в цитированной статье газеты «Нация». Гуманистические идеи Горького оказали большое влияние на передовых писателей за рубежом. Показательны слова Эптона Синклера:

«Я был еще совсем молодым, когда слава Горького прогремела в Америке. И я учился у него тому, что великая литература не может быть в стороне от великой борьбы бедных и угнетенных».

В сборнике опубликованы отзывы царской цензуры о заграничных изданиях произведений Горького с неизменной резолюцией «Запретить». В действиях цензуры мы видим стремление реакции всячески нейтрализовать популярность Горького, не допустить правду о Горьком, сказанную за рубежом, до русского читателя. В докладах цензоров о зарубежных критических работах, посвященных Горькому, уже сама положительная оценка его произведений служит достаточным основанием к запрещению издания. Зато с какой радостью отмечает цензура охаивание Горького в зарубежной критике! Так цензор Ф. Ламкерт с большим удовольствием отзываясь о реакционной квиге Е. Диллона «Максим Горький, его жизнь и творчество», вышедшей в Лондоне в 1902 г., считая «ее распространение полезным в смысле отрезвления той части общества, которая, по ироническому замечанию Диллона, признала в Горьком какого-то нового мессию». И, вопреки своим обычным резолюциям о запрещении, цензурный комитет постановил: «Допустить названное издание к обращению в публице».

Это показатель не только бескультурья царских холопов, но и отсутствие у них элементарной гордости за сокровища своей национальной культуры.

Цензура видела в Горьком стойкого борца за равноправие народов России, и это вызывало ее злобу и репрессии. Так ею была запрещена брошюра Горького «О кавказских событиях» на том основании, что Горький, как пишет цензор, «рекомендует всем честным людям без различия национальностей соединиться в одну семью друзей-бойцов, в дружину истинных и бесстрашных, и спросить себя: «Кто наш враг?» Ответ гласит: «У всех нас один враг—это та злая и бессмысленная сила, которая одинаково тяжело давит всех нас», т.-е. реакционное царское самодержавие.

Включая в себя интересные материалы о Горьком, сборник вызывает интерес не только у литературоведов, но и у самых широких кругов читателей.

# ПОЭТ-ПАТРИОТ

(К 150-летию со дня рождения К. Ф. Рылеева)

## 3. ПАПЕРНЫЙ



В одном из первых своих стихотворений, еще юношей, Рылеев писал, обращаясь к другу:

Все в нашей воле состоит,  
Пусть лютый рок и разъяренный  
Мне скорой гибелью грозит...  
Но я коль тверд, коль презираю  
Ударов тяжесть всю его... —  
Тогда меня и рок устанет  
Все с прежней ненавистью гнать.

Незадолго до казни, в заочении, считая последние мучительные часы перед смертью, Рылеев пишет:

Вас будут гнать и предавать,  
Осмеивать и дерзостью бесславить,  
Торжественно вас будут убивать,  
Но тщетный страх не должен вас тревожить.

Так через все творчество поэта проходит одна тема, одна мысль — это мысль о бесстрашии человека в борьбе с «лютым роком», о бессилии смерти перед правдой.

Эта мысль — не просто одна из поэтических тем Рылеева. Она — лейтмотив, определяющий его творчество и его жизнь. Она глубоко проникла в сознание поэта, неразрывно связалась с его натурой — прямой, непримиримой, не знающей сделок и компромиссов.

Лирика Рылеева, мужественная, поистине героическая лирика, подстать его эпохе — грозному времени Отечественной войны 1812 года и декабрьского восстания.

Эта эпоха была столь же славной, сколь и трагичной. Нашествие Наполеона, отход русских армий, Бородино, пожар Москвы, поднявшаяся «дубина народной войны» (А. Толстой), отступление неприятеля, поход русского войска 1814—1815 годов — вот события этой эпохи.

Наполеон был изгнан, его армии разгромлены. Образ пылающей Москвы, отданной, но не сдавшейся врагу, был заслонен в глазах современников иной картиной — победоносные войска входят в Париж.

А затем?

Затем наступает «тишина». Мятельные годы сражений с захватчиком сменяются новой эпохой — Меттерниха и Священного союза.

Вместе с падением Наполеона, совершившимся с народной помощью, самовластие не пало, — пишет Рылеев в заметках о Наполеоне, опубликованных в недавние годы, — «оно стало еще тягостнее... цари соединились и силою старались задушить стремление свободы. Они торжествуют, и теперь в Европе мертвая тишина».

И поэт многозначительно добавляет:

«Но как затихает Везувий...»

Вместе с наступившим переходом от «волнения, вызванного национальной войной, от славной прогулки через всю Европу, от взятия Парижа к мертвой тишине петербургского деспотизма» (Герцен), к прежнему рабски-крепостническому состоянию — резко обозначилось противоречие: Россия — освободительница Европы от наполеонова ига — сама является страной угнетения.

Воспоминания и переписка декабристов Вл. Раевского, Мих. Орлова, Петра Каховского и многих других полны горестных мыслей о том, что Россия сама внутренне порабощена, «захвачена изнутри», покорена «внутренними наполеонами-грабителями» (выражение Мих. Орлова).

Нелегко было нашим соотечественникам осознавать это противоречие. Гнетущей тяжестью ложилось оно на душу передового русского человека.

Рылеев мучительно бьется над его разрешением.

Для него борьба России против иноземных захватчиков неразрывна с борьбой народа против внутренних поработителей. Угнетатели-чужеземцы и притеснители «своего», «родного» народа словно выстраиваются в его сознании в один ряд.

В одном из стихотворений 1821 года он перечисляет внешних врагов России — «хищных печенегов», половцев, «злых татар», «крымских наездников». Заканчивается стихотворение так:

Благодаря творцу, Россия покорила  
Врагов надменных всех  
И лет за несколько со славой отразила

Разбойника славнейшего набег..  
Теперь лишь только при наездах  
Свирепствуют одни исправники в  
уездах.

Два основных события современной поэту эпохи — борьба с Наполеоном и движение декабристов — наложили неизгладимую печать на его творчество. Они помогли ему создать идеальный образ патриота, верного сына своей родины. С одной стороны, это хранитель свободы и независимости своей страны:

Ковать ли станет на граждан  
Пришлец иноплеменный цепи,  
Он на него — как хищный вран,  
Как вихрь губительный из степи.

С другой стороны, это человек, который

с сильными в борьбе  
За край родной иль за свободу,  
Забывши вовсе о себе,  
Готов всем жертвовать народу,  
Против тиранов лютых тверд.

Так опять подходит Рылеев к своей излюбленной теме. Борьба против «лютых тиранов» и против «иноплеменных пришельцев» оказывается двумя сторонами патриотизма.

Но в каждую эпоху выдвигается то одна, то другая сторона. Когда «иноплеменный пришелец» угрожал родине, Рылеев вступил в армию и в качестве артиллерийского прапорщика проделал весь поход 1814—1815 гг.

Когда после разгрома Наполеона с новой силой обозначился гнет венценосного «лютого тирана» и его приспешников — поэт вступил в тайное общество и вскоре стал одним из его виднейших вождей и вдохновителей.

И сам поэт ясно осознает этот переход от национально-освободительной войны к революционно-освободительному движению.

В оде «Гражданское мужество» читаем:

Военных подвигов година  
Грозною шумной протекла.  
Твой век иная ждет судьбина,  
Иные ждут тебя дела.  
Затмится свод небес лазурных  
Непроницаемою мглой;  
Настанет век борений бурных  
Неправды с правдою святой.

«Подвиг воина гигантский» оказывается, по словам поэта, «ничто пред доблестью гражданского».

Так Рылеев осознает свою миссию — миссию поэта-гражданина.

Он относится к ней ревностно, с приверженностью фанатика. Очень скоро порывает он с традиционными литературными темами. Вместо любовных посланий, изящных эпиграмм, анакреонтических песенок, вздыхательных мадригалов, он пишет сатиры и оды, которые звучат, как революционные прокламации, как прямой призыв к действию.

Первой такой сатирой явился его знаменитое стихотворение «К временщику». Его появление на страницах журнала «Невский зритель» в

1820 году было такой беспримерной смелостью, такой дерзостью, что современники недаром сравнивали его с ударом грома среди бела дня. «Все государство трепетало под железной рукой любимца-правителя, — пишет один из современников об Аракчееве, — никто не смел жаловаться. Едва возникал малейший ропот — и навечно исчезал в пустынях Сибири или в смрадных склепах крепостей..»

Нельзя представить изумления, ужаса, даже, можно сказать, оцепенения, каким поражены были жители столицы при сих неслыханных звуках правды и укоризны, при сей борьбе младенца с великаном».

Читатели не сомневались, что грозная кара обрушится на голову дерзновенного поэта. Они считали его обреченным. Однако «временщик» не мог принять вызова. Расправиться с поэтом значило для него расписаться перед общественным мнением в «получении по адресу».

Сатира «К временщику» — это первый удар, нанесенный Рылеевым самодержавию.

Исследователи поэта сопоставляли обычно эту сатиру с сатирой Милонова. Действительно, внешне обе сатиры удивительно схожи — во всем, начиная от общего построения и кончая отдельными выражениями. Но сказать о сатире Рылеева, что она построена по образу милоновской, это значит еще ничего не сказать.

«Предрезостное» произведение Рылеева должно быть поставлено в ряд с развитием гражданской поэзии всего предшествующего века. Рылеев наследует в нем традиции высокой оды и сатиры, идущей в нашей поэзии от Кантемира, Сумарокова, Державина.

Когда во мне, когда нет доблестей  
прямых,  
Что пользы в сане мне, и в почестях  
моих?  
Не сан, не род — одни достоинства  
почтенны,  
Сяя! И самые цари без них  
презренны, —

провозглашает Рылеев, повторяя тем самым любимую мысль передовых поэтов XVIII века, и в первую очередь Державина, автора «Вельможи», «Властителям и судьям». Преемственная связь между ним и Рылеевым, до сих пор не изученная в нашей литературе, составляет предмет самостоятельной работы.

Но читая знаменитую сатиру Рылеева, мы вспоминаем не только Державина.

Твои дела тебя изобличат народу,  
Познает он, что ты стеснил его свободу,  
Налогом тягостным довел до нищеты,  
Селения лишил их прежней красоты...  
Тогда вострепещи, о временщик  
надменный!  
Народ тиранствами ужасен  
разъяренный!

Последний стих особенно примечателен. Он звучит совсем по-радищевски!

Так, опираясь на наследие Радищева, Рылеев революционно претворяет традиционную те-

му противопоставления «сану» и «роду» — действительного достоинства, дела и заслуг.

Вслед за Радищевым и предвзята Некрасова, призывавшего к «необузданной дикой вражде к угнетателям», Рылеев решительно отказывается от христианского прощения насильникам и угнетателям. В стихотворении, посвященном любимой женщине, он заявляет:

Прощаешь ты врагам своим,  
Я не знаком с сим чувством нежным  
И оскорбителем моим  
Плачу отмищенем неизбежным.

Он отрекается от самой любви во имя служения родине —

Любовь никак нейдет на ум.  
Увы! моя отчизна страдает...

«Постоянная мысль, постоянная его идея была — пробудить чувство любви к отечеству, зажечь желанием свободы», — пишет о Рылееве его друг Ник. Бестужев.

Он всегда внутренне сосредоточен, он весь поглощен мыслью о гражданском служении обществу.

Вот человек, который мог бы сказать о себе словами лермонтовского героя:

Я знал одной лишь думы власть,  
Одну, но пламенную страсть.

Он пишет дочери известного оппозиционного деятеля Н. С. Мордвинова, которого декабристы прочли в будущее правительство, желая ее детям:

Пусть их сограждане увидят  
Готовых пасть за край родной,  
Пусть они возненавидят,  
Неправду пламенной душой.

Так Рылеев учит ненависти.

В его стихах патриотический пафос, чувство национальной гордости все теснее переплетаются с социальным протестом. В этом отношении весьма примечательно стихотворение «На смерть Чернова», написанное в связи с гибелью его друга Чернова, лавшего на поединке со знатым аристократом Новосельцевым, оскорбителем чести его сестры. Яростное обличение поэтом «аристократов», «временщиков» незаметно переходит в резкие выпады против «не русских», «презренных пришельцев».

Вот эти стихи:

Клянемся честью и Черновым,  
Вражда и брань временщикам,  
Царей трепещущим рабам,  
Тиранам, нас угнесть готовым.

Нет! Не отечества сыны  
Питомцы пришельцев презренных,  
Мы чужды их семей надменных,  
Они от нас отчуждены.

Так, говорят не русским словом,  
Святую ненавидят Русь.  
Я ненавижу их, клянусь,  
Клянуся честью и Черновым.

Здесь Рылеев является наследником и продолжателем идей Радищева, автора «Путешествия» и «Беседы о том, что есть сын отечества», в которой находим строки: «Не все рожденные в отечестве достойны наименования сына отечества (патриота)...» и т. д.

Стихотворение «На смерть Чернова» близко своим пафосом гениальному лермонтовскому «На смерть поэта». И не только одним пафосом. Ведь и в лермонтовских стихах гнев поэта против жадной толпы «стоящих у трона», палачей «свободы, гения и славы» (социальная тема) неотторжим от ненависти к пришельцам-чужеземцам, «сотням беглецов» (национальная тема). В этом смысле «не русским» для поэта является не только Дантес, непосредственный убийца великого русского поэта, но и те, кто толкал его, раздувая «чуть затанувший пожар» и приближая час гибели.

Не случайно одна из рылеевских песен начинается словами «Царь наш немец прусский...»

Эта песня, весьма популярная в 20-е годы, была впоследствии напечатана Герценом и Огаревым в «Полярной звезде». Мысль Рылеева была подхвачена и развита Герценом, называвшим русского царя «русским немцем», а самодержавие «прусским деспотизмом».

Беспокойная и неутомимая мысль поэта-декабриста идет все дальше и дальше в разрешении противоречий эпохи. С каждым годом он все отчетливее постигает разницу между нацией и ее самодержавным правительством. Он стремится как бы «расщепить» понятие национального, оставшееся неразделимым и цельным для большинства его предшественников и многих современников, стремится отделить паразитическую верхушку, правительство, противоречащее национальным интересам. В этом отношении весьма примечательны слова, сказанные Рылеевым и дошедшие до нас в передаче декабриста Д. Завалишина (см. его «Записки декабриста», 1904 г., I, стр. 237):

«Мы мало того, что не признаем законным настоящее правительство, — заявляет Рылеев, — мы считаем его изменившим и враждебным своему народу, а потому действия против него не только не считаем незаконными, но глдим на них как на обязательные для каждого русского, как если бы пришлось действовать против неприятеля, силой или хитростью вторгнувшегося в страну и захватившего ее».

Слова эти знаменательны во многих отношениях. Борьба против «своего», русского правительства названа здесь «обязательной для каждого русского». Она не объявляется вообще свойством русского; она продиктована именно данными, современными условиями. Настоящее правительство изменило народу, самодержавие перестало выражать интересы народа. Так в творчестве поэта-декабриста зарождается исторический взгляд на самодержавие.

Эта рылеевская мысль будет также унаследована Герценом. Достаточно вспомнить его слова, помещенные в «Полярной звезде» и впервые произнесенные им на польском митинге в 1853 году, чтобы почувствовать эту органическую связь двух эпох, двух поколений:

«Россия сильна, но императорская власть, как она сложилась теперь, неспособна вызвать этой силы. У ней нет корней в народности. Она не русская и не славянская... Она может исторически была необходима, но пережила себя, она совершила судьбы свои...»

Связь этих двух высказываний, двух приговоров самодержавию несомненна. В то же время ясно, насколько определеннее исторический подход в словах Герцена.

Мы видели на различных примерах с какой неизбежностью приводили Рылеева его искания и мысли о несовместимости интересов России народной и России царской, к мысли с революционности.

Второй волной освободительного движения после славного 1812 года прокатились революции в Испании, в Неаполе, в Греции. Декабристы смотрели на запад с нескрываемыми надеждами. Но судьба этих революций хорошо известна. Они были подавлены, а Риего, вождь испанской революции, казнен 12 октября 1823 года.

Вместе с поражением европейского освободительного движения ослабли надежды декабристов:

Не сбылись, мой друг, пророчества  
 Пылкой юности моей:  
 Горький жребий одиночества  
 Мне сужден в круту людей.  
 Слишком рано мрак таинственный  
 Опыт грозный разогнал, —

горестно восклицает поэт в стансах, написанных несколько времени спустя после разгрома европейских революций.

Кстати сказать, эти горькие мысли приходили на ум не одному Рылееву. Именно в это время (1823 г.) пишет Пушкин свои стихи «Свободы сеятель пустынный», перекликающиеся с рылеевскими стансами и по тону и в отдельных выражениях. Сюда же следует отнести и элегию Языкова (1824 г.) «Свободы гордой вдохновенье, тебя не слушает народ...»

В последний период творчества, наиболее напряженный и героический, Рылеев пишет лучшие свои произведения, поэмы и стихотворения. Они заставляют Пушкина резко изменить свое отношение к таланту Рылеева и отозваться о нем с высокой похвалой.

Отчетливо звучит в незаконченной поэме Рылеева тема беспощадного гнева к «тиранам родины». При чем разрешается эта тема уже не в личном плане, как это иногда было раньше, но в подчеркнуто общественном, общенародном плане:

Быть может, я еще могу  
 Дать руку личному врагу;  
 Но вековые оскорбленья  
 Тиранам родины прощать  
 И стыд обиды оставлять  
 Без справедливого отмщенья —  
 Не в силах я...

Наконец, Рылеев пишет свое знаменитое стихотворение «Гражданин», которое справедливо считается высшим поэтическим достижением писателя.

Не предназначенное для печати, оно было самым автором распространено в многочисленных рукописных копиях. Его передавали из уст в уста.

Позднейшая революционная литература так же широко использовала его. Так, в 1861 году это стихотворение открывало собою известную прокламацию «К молодому поколению», вышедшую из кругов «Современника» Чернышевского. Через все произведение проходит резкая антитеза двух начал: личного эгоизма, «постыдной праздности и неги» и — высокого гражданского пафоса, устремленного против «тяжкого ига самовластья».

С огромной силой раскрывается Рылеевым тема исторического возмездия. При чем носителем этого возмездия выступает уже не «бог» и не «рок», как это было, скажем, у Державина, но сам восставший народ, который «в бурном мятеже ищет свободных прав».

Так с каждым новым произведением растет революционный пафос поэта. Мысль о приближающейся катастрофической развязке не парализует его душу страхом — наоборот, она удесятерляет его энергию, его революционную страсть.

И вот наступило 14 декабря.

«Когда я пришел на площадь с Гвардейским экипажем... — вспоминает Николай Бестужев, — Рылеев приветствовал меня первым целованием свободы и, после некоторых объяснений, отвел меня на сторону и сказал: — Предсказание наше сбывается: последние минуты наши близки, но это минуты нашей свободы: мы дышали ею, и я охотно отдаю за них жизнь свою!»



Теперь, в дни 150-летия со дня рождения, Рылеев особенно близок нам своей неиссякаемой, героической и жертвенной любовью к России, к ее народу.



## БИБЛИОГРАФИЯ

### ЧЕЛОВЕК В ПРИРОДЕ \*

Случается так, что человек прямо из огня боя попадает на побывку домой, в отпуск, в командировку. Поезд на полном ходу влетает в густые леса, ветки бьют в окна, косой дождь, отсвечивающий солнцем, оставляет отблеск на стеклах вагона...

Войти в мир Михаила Пришвина — значит подлинно, с полного хода, из огня, с фронта ворваться в распахнутые ворота удивительного лесного царства, погрузиться в затишье дремучих чащ, в светлое мерцание лиственных навесов, в сияние залитых солнцем открытых полей.

Обаяние пришевских описаний природы в том, что они подлинно проникнуты тем «родственным вниманием к жизни природы», которое и в левитановских пейзажах, где не было ни одной человеческой фигуры, заставляло незримо ощущать человека. Непонимание этого свойства дарования Пришвина было причиной многих досадных недоразумений в суждениях критики о творчестве одного из наиболее самобытных мастеров русской прозы.

В творчестве Пришвина поразительно сочетались наблюдательность натуралиста и проникновенность лирика. Отсюда слепящая яркость красок и вместе с тем редчайшая точность его описаний, и какой-то особый, «дурнопахнущий», употребляя выражение Шолохова, густой, медовый аромат их. «Над этими долинами, простыми и прекрасными цветами, всюду летали бабочки, похожие на летающие цветы, жёлтые с черными и красными пятнами аполлоны, кирпично-красные, с радужными переливами крапивицы и огромные, удивительные тёмносиние махаоны».

Это способность подмечать в природе удивительные вещи и свойственный только живописцам прием их запечатления: «Пятнистые олени, полежав, наверно, где-нибудь тут вбли-

Пусто никогда не бывает в лесу, и если кажется пусто, то сам виноват.

*М. Пришвин*

зи, встали и пошли, перемещая свои пятна среди солнечных зайчиков, на водопой». Отсюда та особая интонация влюбленности в природу и вместе с тем равноправного, хозяйского обращения с ней, которая присуща, может быть, только Пришвину из старых наших мастеров, и лишь в следующем писательском поколении — в Паустовском, Багрицком — нашла своих продолжателей.

Со временем эти свойства дарования Пришвина не тускнели, а становились всё ярче и очевиднее. В последних его предвоенных произведениях видимо-невидимо «золотых, чудесных, нерукотворных», употребляя его же выражение, образов. Для него дерево «целое государство, объединенное одной державой ствола». Морозной осенью, на рассвете он видит, как «в полумраке рассвета приходят невидимые лесные существа и потом начинают по всей поляне растилать белые холсты. Первые же лучи солнца убирают холсты, и остается на белом зеленое место. Мало-помалу белое всё исчезает, и только в тени деревьев и кочек долго ещё сохраняются беленькие клинушки». Ему известна тайна пленённого дерева, перекинувшегося аркой: под аркой всю зиму проходили звери и люди на лыжах, но стоит только стукнуть по склонённому дереву палочкой, как оно «прыгает вверх и уступает дорогу». Он замечает даже подземную работу леса: семечко ели, упавшее между обнажёнными корнями березы, принялось, елка стала расти и, когда ей некуда было девать своих корней, так как им мешали корни березы, она «подняла свои корешки поверх березовых, обогнула их и на той стороне воустила в землю». Природа в его глазах олицетворяется: «Выходила из-под земли посеянная рожь солдатиками: каждый из этих солдатиков был в красном до самой земли, а штык зелёный, и на каждом штыке висела промадная, в брусничину, капля, сверкавшая на солнце то прямо, как солнце, то радужно, как алмаз».

Во всех этих примерах бросается в глаза одна общая черта: всюду в природе писатель видит жизнь. Он не просто созерцает — он как

\* М. Пришвин — «Избранное». («Курьмушка», «Черный араб», «Рассказы егеря Михал Михалыча», «Корень жизни Жень-Шень», «Календарь природы», «Лисичкин хлеб», «Дедушкин валенок», «Фацелия»). ГИХЛ, 1944 г.

бы участвует в жизни природы. Это относится к прищивинским этюдам о нравах и повадках животных не в меньшей мере, чем к его пейзажам. Вот почему мы испытываем боль за «Анчара», вот почему живут в нашей памяти и «Удалец», и «Лимон», и «Пиковая дама», и «Хромка» — прелестные очерки, продолжающие гуманистическую традицию «Муму», «Каштанки», «Холстомера». К этим издавна знакомым нам образам прибавились новые любопытные зарисовки: «Отражение», «Беличья память», «Дятел», «Пауки». Дети прочтут эти рассказы, причуяющие их и любить, и изучать природу с особым удовольствием.

Замечательно: многие прищивинские этюды отличаются настолько глубоко-личным восприятием красоты и своеобразия природы, что звучат почти символически. Вот один из них — «Дорога»; «Оледенелая, натруженная, набитая копытами лошадей и полозьями саней, занавоженная дорога уходила прямо в чистое море воды и оттуда, в прозрачности, показывалась вместе с весенними облаками, преображенная и прекрасная». В этот набросок можно внести очень многое.

Творчество Прищвина рождает человека природой не через уподобления, а потому, что и в человеке, и в природе раскрывает жизнь, движение, энергию, могучие силы, побуждающие к творчеству, борьбе, соревнованию. В этом смысл прищивинского «родственного внимания».

«Удивительно богат и широк мир, познанный вами», — говорил Горький в статье о Прищвине, и тут же добавлял: «Так вот, М. М., в ваших книгах я не вижу человека коленапреклоненным перед природой... ваши слова о «тайнах земли» звучат для меня словами будущего человека, полновластного владыки и мужа земли, творца чудес и радостей её. Вот это и есть то совершенно оригинальное, что я нахожу у вас и что мне кажется и новым и бесконечно важным. Обычно люди говорят земле: Мы — твои. Вы говорите ей: Ты — моя!»

Хозяйское отношение к природе, то отношение, которое было в своё время замечательно выражено Базаровым: «Природа — не храм, а мастерская, и человек в ней работник», это отношение создало лучшее произведение Прищвина «Корень жизни Жень-Шень». Эта книга вместе с «Колхидой» Паустовского, «Победителями» Вагрицко, «Юргой» Тихонова, «Летом» Рыльского составила первый круг произведений, отразивших победоносную деятельность советского человека, покоряющего себе природу. В книге «Корень жизни» советская действительность не фигурирует в терминах, в приметах быта, но книга эта пронизана ощущением нового. На ней знак времени — знак переустройства мира. Пусть здесь нет материала современности, здесь есть пафос её. Герой её действует в одиночку — это, конечно, не случайно. Но он делает то, что надо — а это не менее существенно.

Здесь мы сталкиваемся с одним из центральных вопросов творчества Прищвина — с вопросом о герое.

У Прищвина нет человека, — этот упрек часто обращался по адресу писателя. На первый взгляд он может показаться совершенно справедливым. Даже в одноименнике избранных произведений Прищвина большая часть книги — «Рассказы егеря Михал Михальца», «Календарь природы», «Лисичкин хлеб», «Дедушкин валежник» представляет собою заметки-наблюдения над животным и растительным царством.

Но Прищвин — преимущественно лирик, поэт. Не случайно «поэмами» названы два лучших его произведения: «Корень жизни» и «Фацелия». Поэтому «человек», о котором говорили всегда критики, раскрывается, главным образом, в лирическом герое Прищвина. Внутренняя жизнь этого героя сложнее, чем это порою кажется. Его характернейшая черта — «родственное внимание» к явлениям мира, интерес, любопытство, жажда познания. Но это лишь первая, очевидная черта. В герое Прищвина тонкое чувство красоты сочетается с волей к пересозданию мира, блаженная созерцательность с любовью к «благословенному человеческому труду», чуткая и нежная душевная организация с мужественным преодолением душевной боли. На этой последней черте особенно стоило бы остановиться. Прищвин — писатель очень крепкий, здоровый, «северный орех». И это сказывается в том, как герой его переносит испытания. В «Жень-Шене» рассказывается о том, как рухнуло с таким трудом созданное героем предприятие — пантовое хозяйство, питомник оленей. Из-за нелепой случайности перепуганные олени разнесли ограду и вырвались на волю. И вдруг в самую тяжелую для героя минуту за его спиной показались любимые его олени Хуа-Лу и Мишутка. «Какая глубина долины, какая неистощимая сила творчества заложена в человеке, и сколько миллионов несчастных людей приходит и уходит, не поняв свой Жень-Шень, не сумев раскрыть в своей глубине источник силы, смелости, радости, счастья! Вот сколько же было у меня оленей и какие!.. Но разве я радовался когда-нибудь им всем, как обрадовался бешено, когда пришла одна Хуа-Лу? Я обрадовался потому, что разлука с оленями раскрыла мне самому, какие силы вложил я в это дело, я обрадовался потому, что мог теперь снова начать свое необыкновенно прекрасное строительство». Герою Прищвина доступна мысль, превосходно выраженная некогда Киплингем: «Всё потерять — и всё начать сначала, ни слова об утрате не сказав».

Мы видели прищивинского героя в минуту испытания, когда рухнуло, казалось, дело его жизни. Но уже здесь, в «Жень-Шене», а еще сильнее в поэме «Фацелия» видим мы героя в часы его глубоко личных переживаний, и в том, как он выходит из них, тоже познается существо героя. Здесь, кстати, вскрывается нам подспудная движущая сила прищивинского отношения к природе.

«Ранняя весна возвращает меня к тому дню, от которого начинаются все мои сны. Мне долго казалось, что это острое чувство природы мне осталось от первой встречи себя, как ребен-

ка, с природой. Но теперь я хорошо понимаю, что само чувство природы начинается от встречи моей с человеком.

Это началось в далекой молодости, когда я был на чужбине, когда впервые мелькнуло, что, может быть, необходимо расстаться с этой любовью к Фацелии, и когда на этой стороне стало так больно, что пальцем потрогай по телу, и душа отзывается, то на другой стороне, взамен, встал великий мир моей радости. Кажалось, так легко заменить свою боль от утраты Фацелии причастностью к благословенному человеческому труду, в котором живёт красота и радость. Тогда я и вспомнил и узнал себя ребёнком в природе. На чужбине родина моя оказалась во всей своей пленительной силе, и вот когда встала ярко первая встреча с природой, и родной человек в родной стороне показался прекрасным».

Горький говорил, что обыватель — это человек, который может восхищаться дикой красотой Кавказа, но стоит ему споткнуться один раз, чтобы горы превратились для него в безобразную грудку камней. Сильные люди умеют вспомнить добром даже большое испытание, если оно в какой-то степени возвысило, приподняло их дух, обогатило их душевный мир. Через утрату они могут что-то приобрести. Таков и герой Пришвина.

На первый взгляд может показаться, что творчество Пришвина «индивидуалистично». Это также, в значительной степени, происходит оттого, что Пришвин — лирик, и действует у него, главным образом, его лирический герой. Но какое у этого героя стремление к человеку! Мотив преодоления одиночества и отрешенности от людей — один из наиболее выразительных мотивов поэзии Пришвина. «Я боролся еще в ранней молодости с этим одиночеством пустыни, обращаясь в дневниках своих с призывом к неведомому другу... В этом преодолении пустыни и состоит цель моего писательства и смысл того «оптимизма» (радость жизни), о котором столько раз говорили мои критики. Это необычное для художника саморазъяснение вызвано, очевидно, тем, что критика не уловила характернейшего этого побудительного мотива творчества Пришвина. Но сильнее всего, быть может, выражен этот мотив в рассказе о художнике, которым завершается «Фацелия»: «— А мне этого и хочется,— ответил художник,— чтобы у меня было теперь, как у всех. Я же об этом именно и говорю, что наконец-то испытываю великое счастье не считать себя человеком особенным, одиноким и быть, как все хорошие люди». Мотив о том, как «человек до последнего доходит в тоске по человеку», очень характерен для Пришвина.

Пришвин ненавидит страдание. И многочисленные его странствования «в краю непуганных птиц», и блуждания с ружьем по лесам России, и наблюдения над животными и над травами, и олений питомник в «Жень-Шене», и его мечта о Фацелии— всё это пути к преодолению душевной неустroенности, «охота за счастьем». Это не благополучное счастье обывателя, а неспокойное, ищущее, жадное. «Вся-то беда людей

и состоит в том, что они привыкают ко всему и успокаиваются... Но творческое счастье — это счастье человека, живущего за тремя замками». Счастье пришвинского героя — «творческое счастье».

«Я переполнен счастьем, — говорит писатель, — мне хочется открыть всем глаза на возможности для человека жить прекрасно, дышать таким солнечно-морозным воздухом, смотреть и слушать лилии, угадывать их музыку...»

Но здесь мы сталкиваемся с наиболее серьезным противоречием в творчестве Пришвина.

То, что «Избранное» начинается отрывком из «Кашеевой цепи» и кончается «Фацелией», образует как бы замкнутый круг творчества Пришвина. «Кашеева цепь» — как бы исходная точка «охоты за счастьем», «Фацелия» — найденное счастье.

«Кашеева цепь» — наиболее «социальная» из всех произведений Пришвина. Здесь писатель, хотя и сквозь некую идеальную пелену, попытался увидеть страшные противоречия, разъедающие людей и уродующие их жизнь.

Но если «Кашеева цепь» оказалась разбитой, то звенья её остались. Гётевский мотив: «Мгновенье! Прекрасно ты. Остановись, постой...» — может быть, слишком громко звучит в его творчестве... Чересчур блажен и безмятежен воздух его последних книг.

И в этом смысле острая полемичность некоторых высказываний Пришвина не кажется убедительной. «Враг мой! — говорит писатель. — Ты вовсе не знаешь, и если узнаешь, тебе никогда не понять, из чего я сплел радость людям. Но если ты не понимаешь моего лучшего, чего же ты хватаешься за мои ошибки, и на основе таких мелких пустяков поднимаешь свое обвинение против меня? Проходи мимо и не мешай нам радоваться!».

О придирках ограниченных критиков вряд ли стоит говорить. Они не заслуживают даже такого краткого возражения. Но здесь затронут вопрос гораздо более существенный, чем мелкие придирки.

Речь идет об отношении к современности.

«Неизвестный друг», к которому обращается Пришвин, поймет и оценит высокое эстетическое и нравственное значение творчества замечательного русского писателя. Он не забудет ни прелесть мира, открытой ему зорким и искусным мастером, ни тех уроков жизненной мудрости, которые передал ему крепкий, сильный человек-победитель. Но этому «неизвестному другу» не покажутся естественными в лесном царстве Пришвина — «колючево», «парторги», «кооперация» и прочие термины нашей современности: таким наивным приемом нельзя ввести в свой творческий мир советскую действительность. Мы уже говорили: в «Жень-Шене» нет этих терминов, но современность сказывается в пафосе всей вещи. Не терминами действия писатель и в «Кашеевой цепи»... И, принимая писателя таким, каков он есть, не может, однако, не пожалеть «неизвестный друг», что не найдет у любимого художника отклика многим своим тревогам и радостям, которыми живет современный советский человек.

Пришвин прошел огромный и сложный путь, хотя более цельного писателя в современной литературе трудно назвать. Сорок лет был он следопытом своей родины, изучал её леса, и поля, и пустыни, и горы и всюду искал места своему герою. Самоопределение человека в мире — вот подлинный смысл всей работы Пришвина. Творческий метод его при всём своём единстве также развивался. Прежде у Пришвина встречались еще суховатые заметки натуралиста, подобные наклейкам на гербарии, оставившие читателя равнодушным. С годами всё более выяснялась истинная природа творчества Пришвина, — не натуралиста — лирика. Всё эмоциональнее становился его слог. Изданная Пришвиным в годы войны книга «Лесная капля» — торжество лирики в его творчестве.

Последние произведения Пришвина — подлинны «стихотворения в прозе». Здесь встретятся отдельные изъятия, своего рода «притчи», которые могут показаться «мелкой философией на глубоких местах», но не они определяют книгу. В общем это новая ступень в многолетней плодотворной работе писателя.

И только напрасно пытается замечательный художник оградить «болотную» позицию писателя: «...не было бы ничего удивительного видеть живописца, работающего в болоте. Почему

же на писателя в этом положении странно смотреть? Вероятно, потому, что писатель в общем понимании есть благополучный художник и живет в кабинете».

Нет, не в благополучии тут дело, а как раз наоборот. Речь идет о том, что странно иногда видеть на полотне одно только мерное, и спокойное, и ясное, и лучистое сияние радуги в годы великих страданий и великого счастья народа.

И странно, что писатель, о котором Горький говорил: «Вы как-то особенно глубоко и всегда помните, насколько поучителен и чудесен был путь его (человека—Г. Л.) от эпохи кремневого топора до аэроплана», может написать такие строки: «Слышу, треплется где-то какой-то мотор, но я в мыслях своих так далек от моторов, что не различаю — от самолета это звук или от Форда, или пришёл он через окно какой-нибудь фабрики, слышу — треплется звук, а спроси — и не скажу». Пришвин ли это говорит — писатель-победитель, который ввёл в русскую литературу тему овладения природой, художник, проявивший точное знание мира природы и науки, автор «Жень-Шеня» и «Кашеевой цепи»?

*Григорий Левин*



### НЕУДАЧНАЯ ПОВЕСТЬ\*

Композиционная схема, положенная в основу этой военно-морской повести, безукоризненна, хотя отнюдь не нова, все частности умело подчинены общему стройному замыслу, они ритмически толкают вперед развитие сюжета и слагаются постепенно в прочную и цельную повествовательную ткань, скрепленную на конце последним, стягивающим, завершающим стежком. И если говорить о формальном повествовательном умении автора — то оно налицо и не вызывает никаких сомнений. Но ведь композиционное умение — это только условие, предпосылка художественной работы, не более того. Оно входит, разумеется, в понятие мастерства, но обретает жизнь и смысл лишь при наличии всех прочих элементов художественного умения. Как правило, композиционная схема является художнику лишь после того, как родился образ произведения и определились в сознании образы людей и событий. А в повести Л. Лагина именно композиционная схема, заранее данная, формирует, — точнее деформирует, — весь примышленный образный материал, «нарезает» его на геометрически правильные, симметрические куски, в которые автор тщетно пытается вдохнуть жизнь...

В известном смысле, читатель, взявший в руки эту повесть, может смело довериться опытному автору: он не испытает ни трудностей, ни волнения, ни беспокойства, ни особой скуки.

Л. Лагин. «Броненосец «Анюта». «Знамя», № 7. 1945 г.

На всем протяжении повести автор ревниво и заботливо оберегает покой читателя, а в самые трагические минуты, когда, казалось бы, героев ждет неминуемая и страшная гибель, он как бы подсказывает читателю: не тревожься, друг, это же не всерьез, это всего лишь перипетия сюжетного хода!

Впрочем, автор заблуждается: читатель вовсе и не испытывает тревоги. Уже первое знакомство с героями убеждает его, что лагинские военморы — не настоящие. Все сюжетные приемы автора, имеющие целью напугать читателя, напугать «почти до конца», чтобы утешить на следующей же странице, давно и хорошо известны. Они освещены незапамятной традицией и, кстати сказать, уже доброе столетие, как перекочевали из взрослой литературы... в детскую.

Конечно же, если отвлечься от некоторых необязательных аксессуаров, Л. Лагин написал детскую морскую повесть, по всем канонам стародавней, милой и уютной морской робинзонады, а вовсе не взрослую, всамделишную военно-морскую повесть из эпохи Великой Отечественной войны. Ведь жанр не меняется от того, что роли акул и пиратов в данном случае выполняют «Мессершмитты» и фашистские дозорные суда. Иной вопрос — насколько эта повесть соответствует установкам нашей детской литературы о великой войне. Во всяком случае, думается, что переход от взрослой военно-художественной литературы к детской всего менее является переходом от реализма к условности.

Вот костяк сюжета. Три военмора, защитники Севастополя, героически прикрывшие отход своей части, в последний момент уходят в море на случайно подвернувшимся рейдовом катерке-лимузине. Катерок, не способный противостоять морским волнам и к тому же порядком изрешеченный в боях, преследуют в открытом море вражеские истребители, он выдерживает яростный бой с вражеским кагером, и топит его; лишившись горючего, он попадает в чудовищный шторм, но усилиями своего маленького экипажа, борющегося на пределе сил, остается целым. Параллельно со всеми этими бедами, три военмора испытывают муки голода и жажды: на катерке не оказалось ни пищи, ни воды. В довершение бед, одного из моряков, Степана Вернивечера, тяжело ранило фашистской пулей. Теперь вся непомерная тяжесть управления полуразбитым катерком легла на двух остальных моряков, Аклеева и Кутового, изнемогающих от голода и жажды. Но их нечеловеческое упорство, находчивость, железная дисциплина, которой они подчинили себя даже в условиях полной оторванности от коллектива, берут свое: через пять суток непрерывного бедствия и борьбы они встречаются в море советский тральщик, который торжественно, как героев, принимает их на борт...

В этом сюжете нет, разумеется, ничего невероятного или искусственного: советские военморы совершали куда более удивительные подвиги. Из этого сюжета можно сделать и взрослую, и детскую военно-морскую повесть; можно сделать повесть и хорошую, и плохую. Этот сюжет — лишь предпосылка для художественной работы. Автор пытался использовать эту предпосылку — сюжетную ситуацию — для того, чтобы, на примере трех военморов, показать типичные советских моряков, их беззаветную дружбу, их беспредельный героизм, любовь к родине, дисциплинированность, воинское уменье. Познакомимся же с тем, как наращивает автор образный материал на этот сюжетный костяк.

Прежде всего о языке. Мне не хотелось бы быть неверно понятым: я не изолирую вопрос о качестве языка от общей оценки произведения. Ведь писатель общается с читателем исключительно при помощи слова, и потому неточность языка, его несоответствие задачам, которые ставит себе автор, отработанность эпитетов, скользящих мимо читательского внимания, определяют, по сути, художественную оценку произведения.

Известно, что у черноморцев есть свой особый, южный морской говор и свой особый юмор, тонкий и благородный в самой основе: этим юмором сильные и чистые души застенчиво прикрывают свою затаенную человеческую нежность к товарищам, к родным, к любимым, к людям своей родины. Но как мало похож жаргон, на котором изъясняются между собой герои Л. Лагина, на подлинный язык этого юмора!

«— Помереть спешаешь, — холодно констатировал Аклеев. — Не понимаю, почему такая спешка. Царства небесного нету. Это я тебе заявляю официально».

«— Типичный некрейсер!» — так определяет матрос Вернивечер изрешеченный катерок.

«— Фриц-то оказался очень даже неасс», — так изъясняется моряк Аклеев.

Тот же Аклеев обращается к Вернивечеру со следующей фразой, явно отзывающей «блатным» жаргоном:

«— Я тебе удивляюсь, Степа. Ты же военный человек. От тебя же еще может большая польза в военных действиях произойти, а ты — ах, ах, дайте мне моментально погибнуть!»

А вот размышление Вернивечера, который не верит утешениям Аклеева, что их путешествие на катерке окончится благополучно:

«— ...а мальчик тертый. И я могу в случае чего помереть и без самообмана».

Тяжело раненный Вернивечер, к тому же не евший и не пивший уже двое суток, поднимается со своего ложа, выходит из каюты и обращается к своим друзьям, стоящим на посту, с такой репликой:

«— Загораем? Самая, между прочим, здоровая обстановка. Воздух, солнце и вода».

Право же, автор проявил очень мало вкуса, приписав своим героям (в прямом смысле — героям!) такую фразеологию. А ведь автор полагает, что за этой фразеологией кроется «возвышенная стыдливость страдания» — не более, не менее! Но язык персонажей — это их мышление, даже если он служит им для сокрытия их истинных мыслей и чувств. Надо ли удивляться, что вопреки всем авторским рекомендациям, лагинские военморы никак не могут быть приняты читателем всерьез. К тому же, не только реплики моряков, но и вся повесть выдержана в этаким анекдотическом и якобы скрытно-душевном тоне.

«А потом, когда Галя, глянув на часы, вдруг заторопилась и объяснила причину своей спешки, Аклеев в какую-нибудь секунду стал самым несчастным человеком во всем Рабоче-крестьянском Военно-морском флоте».

«До флота, «на гражданке», в Москве он.. был тайно влюблен в одну хорошенькую и, по видимому, неглупую линотипистку».

«Вернивечеру очень не хотелось умирать. Килучая натура, легко увлекающийся, храбрый и незлой, хороший парень и любимец женщин, он всегда был полон всяческих планов и жизнь любил так, как может ее любить человек, только что перешагнувший в третий десяток».

«Еще он не знал, что ее зовут Галя Сыророва... а уж он был влюблен в нее по самый клотик».

Однажды Аклеев и Кутовой услышали тяжелый всплеск. Они не подозревали, что это Вернивечер, не желая обременять товарищей «своей стонущей особой», бросился в воду, с намерением утонуть.

«— Ну, це кит, — лениво усмехнулся Кутовой, — теперь держись, Никифор, бо он нас сейчас будет глотать.. Со всем боезапасом..»

«Аклеев обрадовался возможности пошутить, собрался развернуть перед Кутовым забавную картину, как они чудно устроятся в чреве китовом и как они превратят этого кита на страх фрицам в мощную боевую единицу...».

Разрушительная работа этого неверно взятого тона ощущается буквально на каждой странице повести. И когда автор пытается говорить серьезно, когда он тщится изобразить трагические перипетии похода трех военморов — у него естественно и неизбежно ничего не получается. С особой наглядностью это сказывается в эпизоде неудачного — и, кстати сказать, совершенно необоснованного — самоубийства Вернивечера.

А вот, к слову, еще один образец «возвышенной стыдливости страдания», проявленной военмором Кутовым, когда Аклев со спасенным Вернивечером подплыл к катерку:

«— А я ж думал, что Степан потоп!.. И что ты гоже потоп!.. Что вы оба потопли, бисовы ваши души, морячки мои родненькие, душа с вас вон!.. Плыли до лимузина, Никифор, подгребай!.. Подгребай со Степаном — этим нахалом! Тоже взял себе, бродяга, привычку: чуть что, кидается в море, ровно в какой бассейн в бане!..»

Примерно столь же жалкая судьба постигает и все «трагические» эпизоды повести: читатель не верит им, их условность, их фарсовый характер, подчеркнутый авторской интонацией, претендующей на «печальный юмор», слишком очевидны. Нет, это не «всамделишная» военноморская повесть: произведение Л. Лагина построено на условности дореволюционной детской литературы, и лишь осложнено ложной, анекдотической фразеологией.

Эпитеты автора не отличаются точностью или свежестью: «чудовищная слабость», «огромное. ни с чем не сравнимое ощущение сча-

стья», «до того не испытанное чувство непередаваемой нежности», и т. д. Все это — также функция основного авторского греха: неверно взятого тона. В свое время Л. Лагин написал удачную фантастическую книгу для детей, приобретшую значительную популярность. И надо полагать, что «детскость» и «невсамделишность», проникающие в данную повесть, возникли в результате какой-то ошибки художественного мышления, исказившей подлинное чувство и подлинный опыт автора. Искусство—область высокого напряжения, и вступающий в эту область должен каждый раз твердо помнить «правила безопасности». Иначе слово отказывается служить ему и сообщает его строке совсем иной смысл, чем тот, который намерен был вложить в нее автор.

В повести «Броненосец «Анюта» жанр растворил, деформировал до неузнаваемости лично пережитый опыт писателя. Нельзя лить новое вино в старые мехи. Совсем нелегкое для писателя дело — создать полноценные образы людей Отечественной войны. Линия наименьшего сопротивления — упрятать свой подлинный, живой опыт и привычный или случайно подвернувшийся жанр — не может привести к удаче. Правильное художественное решение темы не лежит ни рядом, ни на поверхности. Найти его можно только на трудных путях искусства. Советский военмор эпохи Отечественной войны — фигура исполнившая, историческая. И наша литература обязана передать ее потомству во всем ее величии и жизненности.

Я. Рыкачев



### НЕУМИРАЮЩИЕ АКТЕРЫ\*

Лучшее в книге Б. Алперс определяется вдумчивым, широким изображением жизни больших актеров-художников, великих характеров в конкретных исторических культурных связях — с эстетико-философскими обобщениями. Давно мы не читали книги по театроведению, где бы жизнь актеров, при всех недостатках ее изучения, была показана так непринужденно, свободно и полно из поколения в поколение.

Б. Алперс счастливо избежал вульгаризации. И не потому ли его книга даже в самых бесспорных местах часто звучит как открытие?.. Это достигнуто и глубоким внутренним тоном, в котором автор любовно и наблюдательно рассказывает об актерах, — тон, как известно, тоже делает музыку.

В введении Алперс определяет круг своих задач и метод их решения:

«...центральное место по своему значению в истории русской сцены занимают представите-

ли актерского искусства в традициях, связанных с именами Щепкина и потом Станиславского...» Чем же объясняется, что «искусство Щепкина—Станиславского вбирает в себя все отдельные творческие линии русского актерского мастерства?»

Нельзя не согласиться с Б. Алперсом, когда он видит в этом проявление русского национального характера, русского народного гения с его реалистическим мироощущением.

В то же время Б. Алперс отмечает, что эстетский театр гораздо теснее связан с западноевропейским театром, чем с русским. «Об этом говорят и сами «предки», на которых обычно с гордостью ссылались деятели условного театра. Среди этих предков есть итальянцы, французы, испанцы, японцы, но нет ни одного русского имени...» «Творчество художников условного стилизаторского театра, при всех качественных различиях в отдельных случаях, имеет одну общую черту. Оно космополитично в своей основе, лишено национальной окраски, нигилистично по отношению к самобытной культуре русского актерского искусства...» «В области актерского искусства эта школа оказалась бесплодной. Она не создала ни одного крупного актера.»

\* Б. Алперс. «Актерское искусство в России». Том первый. «Искусство», 1945 г., стр. 550.

Как же возник и сложился в России наш господствующий театр, театр художественного глубокого реализма, который стал типичным выражением русской культуры и национальной гордости России? Б. Алперс убедительно доказывает, что для того, чтобы это понять, надо осветить и оценить искусство актера в его широком жизненном смысле.

Щепкин в русском искусстве актера, — говорит Алперс, — занимает такое же место, как Пушкин в литературе.

Девятнадцатый век в русском сценическом искусстве — это прежде всего Щепкин, так же, как двадцатый век освещен именем Станиславского. Это потому, что историческая роль этих художников, их принципы сценического реализма не ограничиваются узко эстетическим значением. Их программа и их практика вырастают прежде всего из общественного содержания, из общественного служения театрального искусства, из сознания огромной этической силы искусства актера.

Б. Алперс последовательно и наглядно, в частности путем бережного изучения конкретных фактов из жизни и творчества Щепкина, показывает, что жизненный глубокой реализм этого актера-художника вытекает из того, что театр был для Щепкина «высшей инстанцией для решения всех жизненных вопросов» (Герцен). И его реализм на сцене означал прежде всего внимание к простому рядовому человеку, своему современнику.

Иначе говоря, реализм Щепкина, как и реализм Станиславского смыкается с мощным демократическим прогрессивным движением в русской общественной мысли. Отсюда духовная сила, пылкость и глубина этого реализма. И, конечно, отсюда русский театр — средство не только изучения действительности, но и средство воздействия на жизнь общества, средство пропаганды и воспитания, борьбы за человека и за лучшее будущее человечества!

Б. Алперс прав, что без влияния или прямого выражения прогрессивных демократических идей не было ни одного этапа в развитии русского реалистического психологического театра, чуждого холодной условности, формального штукатуризма, голый техники, пустого бессердечного эстетства.

В первый том исследования Б. Алперса, заканчивающийся развернутым анализом игры Щепкина, вошли интересные материалы и о его предшественниках и современниках — замечательных русских артистах: Шушереине, Плавильщикове, Екатерине Семеновой, Яковлеве, Каратыгине, Мочалове, Прохе Садовском и других.

В обычных приложениях, составляющих вторую половину книги, Б. Алперс привлек в качестве свидетелей правоты своих суждений (пользуясь выдержками из статей, письмами, дневниками) таких лучших представителей русской мысли девятнадцатого века, как В. Белинский, А. Герцен, Н. Гоголь, Т. Грановский, И. Тургенев, С. Аксаков, Аполлон Григорьев, С. Станкевич. Тут же приведены интересные высказывания великих актеров: самого М. Щепкина, П. Мочалова, В. Каратыгина.

И, разумеется, все эти свидетельства вполне подтверждают слова исследователя: «Творчество актеров-художников может быть понято только в связи с их общим мировоззрением, с теми идеями, которые владели ими и ради которых они выходили на сцену перед зрителем».

В связи с этим Алперс верно говорит: «Актер, если он не только мастер, виртуозный исполнитель чужих замыслов, но прежде всего самостоятельный художник... такой актер всегда говорит о сегодняшнем, всегда рассказывает о своих современниках, даже тогда, когда обращается к классическому или переводному репертуару».

Эту мысль он подтверждает многими убедительными примерами о Щепкине, Мартынове, Мочалове, Ермолове и других артистах.

Как известно, Щепкин потрясал сердца зрителей, играя в незабываемой переводной с французского мелодраме «Матрос».

И вот в то время, как Мочалов в Гамлете, — говорит Б. Алперс, — вывел на сцену по существу «одного из героев своего времени, не находившего прямого пути в литературную драму, — его Гамлет был своего рода Печориным на театральной сцене, — «Матрос» Щепкина — повесть о маленьком человеке щепкинского времени, о его страданиях, душевной доблести, о его вере в людей».

Верна и особенно волнующая Б. Алперса мысль о том, что большой актер-художник всегда несет в себе «свою драматургию», свою личную «тему», свой излюбленный, индивидуальный, всепоглощающий у него «образ» человеческого духа. Разумеется, так же прав Б. Алперс, когда он утверждает, что, вступая с драматургом в творческое «соавторство», большой актер иногда поднимается на сцене выше драматурга.

Да, мы охотно соглашаемся с Б. Алперсом, что эта традиция актера-художника, актера — автора своих образов, актера — глубокого потенциального драматурга, по-своему отвечающего на зовы жизни, актера — современника и друга, и учителя своих современников — могучая, плодотворная традиция русского театра! Ее надо сохранить, продолжить, развивать, не отрываясь от литературы, от драматургии, от глубокого реалистического раскрытия и воплощения литературных образов.

Именно таким нашим другом и глубоко русским прогрессивным актером был Б. Щукин. И того же мы ждем от актеров зрелых и молодых каждый раз, когда идем на спектакль.

Но когда Б. Алперс, справедливо говоря: «Перед советским актером встают новые большие задачи...», добавляет: «нужно сказать, что масштабы и подлинный смысл этих задач остаются до сих пор неясными, неосознанными в должной мере», — мы должны сказать, что некоторые из этих задач, как и уроки, вытекающие из прошлого, мы понимаем с Б. Алперсом по-разному.

Б. Алперс, увлеченный (и правильно, и очень своевременно увлеченный) в актерском искусстве проблемой крупного творческого характера у актера-художника, неосмотрительно бросает односторонний лозунг ложного противопоставления

«великого характера» актерской технике. В пылу увлечения он ошибочно утверждает: «Культ техники облегчает задачу воспитания культурных исполнителей, но в то же время затрудняет рождение актера-художника, актера со своей творческой индивидуальностью, зачастую лишает его новаторской смелости, так необходимой в большом человеческом искусстве».

Не очевидно ли, что так общо и огульно выраженное осуждение техники уже начинает дружески перекликаться с... тезисом госпожи Простаковой о вреде и ненужности образования вообще? Вероятно, это неожиданно для самого Алперса... Но вот до чего доводит одностороннее увлечение свободой проявления сильного характера!

И после, конечно, вы будете правы, когда с недоверием станете пересчитывать такое привлекательное на первый взгляд суждение Алперса: «Мастерство... в своих высших проявлениях... так же индивидуально, как и сам талант, и путь к нему идет не по проторенным тропинкам. Для актера-художника, а не только исполнителя, мастерство всегда останется не суммой правил и законов, а «открытием», которое заново, как будто впервые делает для себя актер».

Чем привлекает это Б. Алперса? Тем, что направлено против штампа, против банальности, против серости, против бескрылого эпигонства, против бесталанной зубрежки и демонстрации актерами сценических «правил» и «законов», когда они такими средствами пытаются подменить живую жизнь в искусстве. Верно, что для истинного художника каждое правило когда-нибудь, в первый раз, осознается как чудесное, радующее своей новизной и жизненной мудростью, захватывающее дух открытие. Верно так же, что и в высших своих проявлениях произведения искусства и само мастерство снова становятся открытием, притом открытием всегда индивидуальным...

Но путь от первого актерского открытия до последнего, до самого высшего, — путь труда, на котором отнюдь не следует пренебрегать многими ранее найденными правилами и законами. И это путь, на котором надо хорошо изучить именно проторенные тропинки и не бояться ходить по тем из них, что надежно ведут к цели. Это путь образования и воспитания. Путь науки. Путь освоения техники. Пусть даже культура (да, именно культура, — мы совсем не боимся этого слова), культура мастерства. Без него ни один великий художник не может стать на ноги. Без него талант безоружен. Идея бессильна. Чувства актера дают короткое замыкание, и все ими кончается. Без него вода мертва, — как и всегда она мертва без дел, то-есть без умения. А умение во многих стадиях отнюдь не так индивидуально, беззаконно и анархично, как может показаться читателю Алперса!

Но получается так, что воображение Б. Алперса, оравленное зрелищем противоречивых, неестественных, неправильных упражнений в актерской технике, отказывается видеть необходимость правильной, разумной, научной актерской школы, преподаваемой в част-

ности теми, кого он справедливо ставит на высшую ступень искусства — Щепкиным и Станиславским. Дело-то в том, что мудрость их заветов лежит как раз не в индивидуалистическом и анархическом понимании техники актера, а во всеобщем, естественном, органичном для всех актеров кодексе разумных правил и законов, выведенных из наблюдения над множеством лучших новаторов и «пророков» этого искусства, — кодексе, покоящемся на объективном и пристальном изучении человеческой природы вообще.

Исходя из мысли, что все дело совсем не в школе, не в мастерстве актера, а в его душевном мире, в его характере, в его идее, Б. Алперс порой как будто забывает, что в поэтическом произведении, а стало быть, и в художественном образе, воплощенном на сцене, идея выражается только через создание мастерства определенной школы и определенного стиля. Их нельзя ни отрывать одного от другого, ни противопоставлять механически одно другому. Они связаны в сложное, может быть внутренне противоречивое, но всегда органическое художественное единство. Это единство никогда не бывает ни случайно, ни мертво, никогда не может быть буквально повторено, оно всегда — процесс, всегда — жизнь, постоянно меняющаяся, обогащающаяся, текущая и, что самое главное, восходящая! По крайней мере — восходящая в наше творческое, созидательное время. Восходящая, если не сегодня, сейчас, сию минуту, в каждом своем проявлении, то уж непременно восходящая завтра, к новым, высшим проявлениям.

И Б. Алперс далеко не все правильно оценил в этом бесконечном процессе, в котором каждый день запечатлевается своей исторической правдой — правдой, не тождественной с правдой другого дня.

Так, между прочим, Б. Алперс пишет, что искусство Щепкина остается «непревзойденным примером». Нам это кажется наивной канонизирующей «святости» великих имен. Нет, во многом, конечно, и Станиславский, и Ермолова, и, скажем, Б. Щукин превзошли своего родоначальника и давнего учителя. И если бы Щепкин мог сегодня воскреснуть и предстал бы перед нами в своих лучших ролях, то несомненно многое в его игре нам показалось бы и архаичным, и наивным, и сентиментальным, и просто беспомощным по сравнению с той высокой школой актерской игры, которая преемственно развивается после него, — школой и мастерством, мимо которых хочет пройти Б. Алперс, пройти прямо к великой душе Щепкина, или к душе Щукина, или к душе Хмелева. А пройти мимо мастерства нельзя! Да и не только в мастерстве, — неужели Алперс серьезно думает, что и в общественной «идее» никто после Щепкина не превосходил его?!

В своем рьяном усердии, желая во что бы то ни стало охранить русскую душу, русский реализм от всяких влияний, Б. Алперс забывает, что русский театр и русский актер стали в своем реалистическом искусстве отнюдь не слабее, а тоньше, изощреннее, глубже, искуснее, богаче



от наблюдений над западным и восточным искусством. Постоянный творческий интерес ко многим достижениям порой «условного» искусства все ослаблял мощной реалистической традицией нашего театра. Она впитала в себя что-то от мастерства Гордона Крага, и Карло Гоцци, и театра «Кабуки», и Мей-Лань-Фаня, и Рашели, и Олдриджа, и Сальвини, и Моиси, и Дуже... Для каждого не забывшего историю нашего театра и помнящего, скажем, лучшие произведения Станиславского и Вахтангова это очевидно!

А в наши дни этот вопрос творческого роста, которому помогает взаимовлияние многих национальных искусств и культур, стоит еще шире. Современный русский актер может многому поучиться, например, у грузинского театра, представителем которого является интереснейший Тбилисский театр им. Руставели и его лучшие мастера — такие, как Хорава и Васадзе. В искусстве этого театра есть много «условного» и как раз, между прочим, такого поэтического условного, что помогает актеру правдиво, реалистически осветить на сцене самую сущность духовной жизни человека, ее драматизм, ее поэзию, ее движение — в точном и ярком выражении. Такая поэтика романтического театра, кстати говоря, очень помогает освободиться от натурализма, злейшего врага всякого искусства, очень распространенного, увы, на нашей русской сцене...

В стремлении Б. Алперса охранить в натуральной чистоте истинно русские традиции порой сказывается фетишизация какого-то вневременного, отвлеченного реализма. Вместо развития и смены стилей, вместо закономерной «эстафеты» актеров разного плана в истории театра получается почти бесперспективная смена актеров разного психологического типа, «творцов» или «исполнителей», «реалистов» или «формалистов», — если не считать предложенной Алперсом перспективы под лозунгом «назад к Щепкину».

Но ведь и в Щепкине ценна не только его самобытность, но и то, что он сумел критически усвоить от западного театра и от отечественно-

го «классицизма». Кстати говоря, в этом последнем Б. Алперс, все по тем же причинам, напрасно не разглядывал ничего для своего времени прогрессивного, даже прямо революционного, не разглядел, не оценил хотя бы переключки ложно-классицизма с революционными влияниями из Франции и с декабризмом.

Сегодня вновь и вновь в жизни России происходят широкие сдвиги, сближающие нашу культуру и искусство не только с культурой и искусством братских советских государств, но и с демократиями во всем мире. И, как показывают новые события, мы, русские, достаточно крепко стоим на своих корнях, чтобы ни в области политики, ни в военном деле, ни в литературе и искусстве не потерять при этом своего естественного лица. А наш реализм, глубокий, жизненный, прорывающийся от этого общения не слабеет, но только получает новое развитие...

И напрасно Б. Алперс, в противоречии с собственным призывом к новаторству, толкает наши театры, — хочет он того или не хочет, — к общей нивелировке под некую провинцию Художественного театра. Ее и так достаточно.

Но всегда, для любого актера, будет плодотворным обращение к Художественному театру и его естественно-научной школе воспитания актерского мастерства по методу Станиславского.

Эта наука, эта теория является органическим выражением нашего реалистического мировоззрения, русского правдолюбия, близости к самой природе, русского стиля мышления и русского гуманизма. Ею выражен в театре творческий гений народа.

Вместе с тем внимательное изучение школы мастерства по Станиславскому должно послужить исследователю толчком, чтобы проблемы мастерства и стиля нашли подобающее им место в его дальнейшем рассказе. И можно думать, что конкретно-исторический широкий анализ при этом обойдется без вульгарного социологизирования, как с успехом обошелся без него Б. Алперс в первом томе.

Х. Херсонский

★

### КНИЖКА О ГРИБОЕДОВЕ\*

Время от времени Гослитиздат выпускает небольшие книжки о классиках русской литературы. Издания эти, судя по тиражам (десятки тысяч), рассчитаны на широкие массы читателей, и многие по этим очеркам впервые познакомятся с биографией и историей творчества великих писателей.

Несмотря на кажущуюся простоту задачи, писать такие книжки трудно, так как они должны содержать исторический обзор эпохи, глубокий и всесторонний анализ творчества писателя, яркий рассказ о его жизни, и все это на каких-нибудь восьмидесяти страничках небольшого формата.

\* С. М. Петров. «А. С. Грибоедов». Гослитиздат, 1945 г.

Недавно вышла из печати новая книжка этого типа. Она посвящена Грибоедову. Книжка написана неровно. Биографии великого драматурга автор уделил весьма небольшое внимание. Приведены важнейшие даты и основные факты жизненного пути Грибоедова без попытки создать живой облик писателя.

Между тем жизнь Грибоедова, в которой Пушкин видел «следствие пылких / страстей и могучих обстоятельств», насыщена исключительными событиями и переживаниями. Об этом следовало рассказать читателю.

О юности будущего драматурга в книжке почти ничего не сказано. Об университетских годах читаем (на стр. 5) такую не совсем грамотную фразу: «За шесть с половиной лет Грибоедов прошел почти весь университет...»

Сложные душевные переживания Грибоедова в эпоху 1812 года сведены к фразе: «1812 год вызвал в Грибоедове большой подъем патриотизма, ставшего основой (!) всей его дальнейшей жизни и деятельности».

Так же обстоит дело и с описанием заключительной трагедии в жизни великого драматурга. В общем автор не нашел достаточно яркие слова для того, чтобы дать читателю живое представление о Грибоедове-человеке. Повидимому, С. Петров эту задачу перед собой и не ставил. Напрасно!

Иной характер принимает книжка в тех разделах, которые трактуют проблематику творчества Грибоедова, объясняют смысл и значение «Горы от ума» и роль творца комедии в истории русской национальной культуры. Собственно-литературоведческая часть книжки (а это ее основная часть) стоит на высоком уровне.

С. Петров правильно рассматривает историческое содержание «Горы от ума» в свете столкновения и смены двух больших эпох русской жизни: «века нынешнего» и «века минувшего». «В сознании передовых людей того времени, — пишет автор, — историческим рубежом русской жизни между XVIII и XIX столетиями были 1812—1814 годы — пожар Москвы, разгром Наполеона, возвращение армии из зарубежных походов. Отзвуками этих событий полна грибоедовская комедия».

В книжке показано, как поставлены и освещены в «Горе от ума» важнейшие политические, моральные и культурные проблемы эпохи: роль идей в общественной жизни, взаимоотношения «отцов и детей», либерализм, истинное и ложное воспитание дворянской молодежи, человеческое достоинство, понятие долга и чести.

Переходя к анализу характеров, созданных великим художником, С. Петров пытается в индивидуальном облике каждого раскрыть его историческую типичность. Особенно удачно сделано это в отношении героя комедии — Чацкого.

Приводя известные высказывания о Чацком — Пушкина, Герцена, Гончарова, используя письма декабристов и другие документы и тщательно анализируя текст комедии, С. Петров стремится проследить идеологический путь Чацкого.

Уже в детстве он испытывает отвращение к «низкопоклонничеству», царившему в фамусовском доме. В начале самостоятельной жизни Чацкий знакомится с вольнолюбивыми идеями. «Чацкий становится подлинным представителем передовой дворянской интеллигенции своего времени, выразителем ее духовной и нравственной эволюции, вызванной великими событиями эпохи».

Пребывание в Москве, затем в Петербурге, поступление на государственную службу, жизнь в деревне, поездка за границу — таковы этапы жизненной судьбы Чацкого, которые формируют «типичного представителя раннего периода декабристского движения». «Любовь Чацкого к «высокому», его вольнолюбие возникает на почве русской действительности, как следствие пробуждения его патриотических чувств, его

благородной вражды к барским нравам и крепостнической морали. Не отрицая роли передовых западноевропейских идей, Грибоедов впервые в русской литературе раскрыл в биографии и образе Чацкого национально-историческое происхождение русского освободительного движения 20-х годов».

Это справедливо.

Автор отвергает трактовку Чацкого, как «лишнего человека». С этой мыслью нельзя не согласиться. Действительно, разве имеет Чацкий что-либо общее с беспочвенным мечтательством, разочарованностью и скептицизмом, которые характерны для «лишних людей» — героев более позднего времени. Глубокая вера в человека, во всеслие разума, оптимистический взгляд на жизнь и стремление осуществить гуманистические идеалы свободы и независимости личности — вот что характеризует Чацкого.

Драма, разыгравшаяся в доме Фамусовых после возвращения Чацкого, явилась лишь отражением той социальной трагедии, которую пережили многие дворянские революционеры, когда они, как Чацкий, подымали восстание против самодержавия и рабства и оставались в одиночестве. Это характерно для освободительного движения той поры.

«...Драму Чацкого, — пишет автор, — пережили не одни декабристы, а вообще многие русские просветители крепостной эпохи. Разве Радищев, создавая свое «Путешествие из Петербурга в Москву», не верил в успех своих горячих призывов к человечности и разве потом не испытал он горя Чацкого, увидя вокруг себя Фамусовых, для которых он был «хуже Пугачева»? Разве Пушкин не испытал разочарования Чацкого, когда после «Кинжала» ему пришлось написать «Сеятеля»? Разве Герцен в страшный момент крушения своих надежд в революцию 1848 года не испытал драмы Чацкого? Пока русские просветители крепостной эпохи стояли далеко от народа, не обладали научной революционной теорией, они все при столкновении с реальной действительностью в большей или меньшей степени испытывали драму Чацкого».

Эта мысль автора ценна и плодотворна.

Анализу драматургического мастерства Грибоедова Петров не уделил столь же пристального внимания, как рассмотрению идейного содержания комедии. Однако отдельные наблюдения автора над композицией и языком «Горы от ума» интересны.

Недостаточно внимания уделил также С. Петров творчеству Грибоедова за пределами «Горы от ума». Почти ничего не сказано о ранних пьесах, написанных совместно с Жандром, Хмельницким, Шаховским. Автор говорит: «Мастерские по изяществу стиха эти веселые пьесы славили любовь». И все? Но это значит почти ничего не сказать!

В целом, несмотря на указанные недостатки, книжка С. М. Петрова представляет значительную ценность.

## НОВЫЕ КНИГИ



### ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

**БЕСТУЖЕВ-МАРЛИНСКИЙ, А.** — *Лейтенант Белозор. М., Л., Военмориздат, 1945, 200 стр.* — Два произведения, помещенные в сборнике, объединены темой героизма русских людей в борьбе с врагами родной земли.

В повести «Лейтенант Белозор» рассказан эпизод войны 1812 года. Лейтенант Белозор с несколькими матросами захватил неприятельское судно у берегов Голландии и присоединился с ним к русской эскадре. Герой рассказа «Мореход Никитин» в 1811 году захватил вражеский корабль и привел его в Архангельск.

Во вступительной статье С. Петров дает краткие сведения о жизненном пути и творчестве А. А. Бестужева-Марлинского, талантливого писателя-декабриста, современника Пушкина.

**БЕРГОЛЬЦ, О. МАКОГОНЕНКО, Г.** — *Они жили в Ленинграде. Пьеса в 4-х действиях, 9 картинах. М., Л., «Искусство», 1945, 112 стр.* — Пьеса о героической рабочей молодежи Ленинграда. Страшная зима 1941—42 года, город в кольце немецкой блокады. Комсомол организует отряд «борьбы со смертью». После рабочего дня истощенные и измученные девушки идут по квартирам, чтобы помочь ослабевшим ленинградцам вернуться к жизни. Выбываясь из сил, носят они из замерзшего канала воду на остановившийся хлебозавод. «Ведь, если мы все умрем, — говорит секретарь комсомольской организации, — это же значит... проиграть сражение, а мы должны выиграть его!»

И они его выиграли! Старик-мастер возвращается на завод и принимает рапорт о работе цеха над новым заказом — особыми баржами для ладожской трассы, на которых с начала навигации привезут исстрадавшемуся городу хлеб и оружие. «Только два выхода знали люди за тысячелетия своей истории — два выхода для городов, осажденных так, как осажден Ленинград, — говорит старый профессор, один из тех, кого комсомольцы поддержали в трудную минуту, — капитуляцию или гордую гибель. Но город нашел третий выход. Не помышляя о капитуляции, он не захотел умереть».

**ВУРГУН, С.** — *Сегодня и завтра. Стихи. Перевод с азербайджанского. М., Гослитиздат, 1944, 30 стр.* — Самед Вургун — дважды лауреат Сталинской премии и член Академии наук Азербайджанской ССР. Он представитель молодой советской азербайджанской литературы. Выросшая на почве народного творчества, поэзия Вургуна продолжает традиции великих писателей-классиков: Низами, Хагани, Физули, истинных патриотов своей родины.

Стихи военных лет, 1941—1943 гг., помещенные в этом сборнике, полны веры в «завтра» своего народа, в грядущий день победы, который увенчает трагическое «сегодня» — тяжкие годы войны. «Нет! Человек уничтожен не будет!», — говорит Вургун в стихотворении «Слово поэта», рисующем народы Европы под пятою фашизма.

Тематика стихов Вургуна широка и многообразна, лирика эмоциональна и политически острена. Он пишет о родине-матери, о Сталине и о Москве, о героических сынах азербайджанского народа, о годах борьбы, о светлой победе, которая, как заря с востока, встает над миром.

Переводы стихов сделаны А. Адалис, П. Антокольским, Б. Пастернаком, М. Петровых, П. Панченко, М. Светловым, А. Плавником.

**КНЕХТ, В.** — *Товарищ Ренэ. Л., Гослитиздат, 1945, 184 стр.* — Действие повести происходит в небольшом эстонском местечке Мыйзама в 1917—1920 годах. Речь идет только об одном местечке, но перед читателем встает жизнь всей Эстонии в те бурные годы.

Автор рассказывает о борьбе трудящихся за власть советов, о заговорах остзейских баронов, о вторжении немцев в Эстонию, где с их помощью в 1919 году установилась антинародная власть, организовавшая жестокий террор против трудящихся масс.

В центре повести — семья рабочего-большевика Виро. Главная героиня повести — дочь Виро — Ренэ, смелая девочка-подросток.

Преданная всеми силами своей молодой, героической души идеям добра и справедливости, она отважно помогает старшим в их борьбе с контрреволюцией. Ренэ действует находчиво и дерзко. Полиция не может поймать таинственного и смелого диверсанта, который причиняет множество неприятностей правителям буржуазной Эстонии.

Читатель с напряжением следит за действиями маленькой героини, к которой тянутся все нити интересного и напряженного сюжета повести.

**КУЧИШВИЛИ, Г.** — *Стихи. Перевод с грузинского Р. Ивнева. Тбилиси, «Заря Востока», 1945, 54 стр.* — Сборник стихотворений, написанных в 1939—1944 гг. Большая часть стихов посвящена Великой Отечественной войне, героизму советских бойцов, великому Сталину.

В поэме «Украина» поэт рассказывает о героической гибели грузина Блевадзе Бека, командира партизанского отряда, действовавшего на Украине.

Сборник заключают «Орел в плену» — поэма о гибели в Метехском замке соратника Сталина, замечательного большевика Ладко Кецховели, и «Легенда о Гори» — поэма, написанная на тему народных грузинских преданий о царике Тамаре.

**ЛЕБЕДЕВ, А.** — *Морская сила. Стихи. Предисловие Н. Тихонова. Иваново, Гослитиздат, 1945, 127 стр.* — Алексей Лебедев — моряк-подводник, погибший в боях за родину в первые месяцы Великой Отечественной войны. Первая книга его стихов вышла в 1939 году.

Лебедев — подлинный певец моря. С морем связаны все его мысли, чувства, дела и мечты. В его страстных, энергичных стихах «много морского воздуха, морских волн, морской тревоги... Его стихи — это он. В его стихах вы найдете сначала восторг перед значительностью избранного им пути, потом упоение романтикой дела, потом описание его суровых особенностей, и пойдете к главному, к тому, что он стал моряком, военным, т.-е. человеком, посвятившим себя защите морских границ» (из предисловия).

**МОПАСАН, Г.** — *В море. Рассказы. М. Л. Военмориздат («Бака красnofлота»), 1945, 183 стр.* — Содержание: В море, Вендетта, Ожерелье, Любовь, Туан, Одиссея прости-гутаки, Исповедь Теодюля Сабо, Гарсон, кружажку пива! Нормандец, Нищий, Покровитель, Бочонок, В порту, Бугатель, Счастье.

В творчестве Гюи де-Мопассана большое место занимает новелла. Тонкий психолог, мыслитель и поэт, Мопассан создал замечательные произведения этого жанра с изумительными по живости сценами, яркими и острыми положениями и эффектными концовками, всегда неожиданными и увлекательными. Сила мастерства Мопассана прекрасно охарактеризована А. П. Чеховым: «Мопассан, как художник, поставил такие острейшие требования, что писать по старинке после него сделалось уже невозможным».

Нормандские крестьяне, парижские буржуа, помещики и чиновники — вот основные герои рассказов Мопассана, воскрешающих перед нами жизнь, быт и нравы французского общества 70—80-х гг. прошлого столетия.

**МОРЕ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ.** — *Избранные стихи. Предисловие П. Антокольского. М. Л., Военмориздат, 1945, 166 стр.* — В сборник вошли «морские» стихи русских классиков от Ломоносова до Горького; из позднейших поэтов включены стихи В. Маяковского и Э. Багрицкого.

«Наши великие поэты — Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Тютчев — животворящие русскую поэзию, любили море... Едва вдохнули они соленый морской простор, любовь к морю стала неотъемлемой частью их лирики... Море стало для них синонимом свободы, счастливой полноты жизни и вольного дыхания...»

Поэзия моря была для русских поэтов поэзией борьбы с природой и победой над ней... Мотив этот звучит и в стихах Ломоносова и в стихах советского поэта Багрицкого. В этих сти-

хах раскрывается предчувствие новых и новых побед, которые ждут нашу родину на омывающих ее морях» (из предисловия).

**ПОЭТЫ-ЯРОСЛАВЦЫ.** — *Вступит. статья, биографические очерки и подбор материалов М. Н. Пархоменко. Ярославль., Облиз, 1944. 199 стр., 6 вкл. л., портр.* — Сборник-антология «Поэты-ярославцы» знакомит читателя с творчеством поэтов XIX века, уроженцев Ярославля и Ярославской области: Ф. Н. Слупшккина, Ю. Жадовской, А. Ф. Иванова-Классика, И. И. Пальмина, С. Я. Дерунова, И. З. Сурыкова, Л. Н. Трефолева, Н. А. Некрасова.

Краткие критико-биографические очерки рассказывают о жизни и творчестве этих поэтов.

Вступительная статья М. Н. Пархоменко посвящена культурному прошлому Ярославской области. Автор сообщает о древних литературных памятниках — замечательном «Молении Даниила Заточника» и полном любви к родине «Слове о гибели земли русской», описывающем татарское нашествие; о написанных на исторические темы произведениях XV—XVII вв. («Сказание о Петре царевиче Ордынском», «Сказание об осаде Троицко-Сергиевского монастыря от поляков и Литвы...»); о сатирических повестях XVII века («Повесть о Шемякинском суде», «Повесть о Ерише Ершовиче, сыне Щепинникове» и др.); о ярославских поэтах и писателях XVIII века (М. Поляк, М. А. Чулков, В. И. Майков); о возникновении в Ярославле русского профессионального театра, о замечательных актерах — Ф. Г. Волкове (1728—1763) и И. А. Дмитриевском (1733—1821); об издании первого в России провинциального журнала «Уединенный пошехонец»; о Демидовском лицее высших наук, положившем начало литературным объединениям и издательской деятельности в Ярославле в XIX веке.

**ТБИЛЕЛИ, И.** — *Дидмоуравиани. Поэма о Георгии Саакадзе. Перев. с грузинского. Г. Дзарели, Тбилиси, «Заря Востока», IX, 1944, 81 стр.* — Поэма «Дидмоуравиани», написанная во второй половине XVII века одним из самых просвещенных и образованных людей того времени, занимает особое место в литературном наследии грузинского народа. Это не только значительное художественное произведение, но и исторический документ, воскрешающий действительные события грузинской истории.

К началу XVII века Грузия, раздираемая кровавыми распрями феодалов, прозяла опасности полной потери национальной независимости. Турция и Иран — ее могущественные соседи — стремились захватить ее земли, поработить свободолобивый грузинский народ. В эту эпоху внутренних бурь и потрясений на политическую арену Грузии выдвинулся Георгий Саакадзе. Выходец из народа, Саакадзе посвятил свою жизнь борьбе с феодалами за централизованное, независимое грузинское государство. Грузины дали Саакадзе почетное имя «Великий Моурави».

Поэма Тбилели — сказание, прославляющее жизнь и деятельность этого выдающегося полководца и политического деятеля. Поэт раскрывает трагическую судьбу Саакадзе и разоблачает его политических врагов, обвинявших Великого Мюуравя в измене родине.

Вступительная статья академика Г. Леонидзе содержит очерк жизни Иосифа Тбилели, историю написания и анализа его поэмы.

**ТУРКМЕНСКИЕ РАССКАЗЫ.** — Ашхабад. *Туркменоиз*, 1945, 193 стр. — Сборник рассказов современных туркменских писателей Хаджи Измайлова, Ата Каушуктова, Нурумурод Сарыханова, Берды Кербабаява, Агахан Дудыева, написанных на военные темы и сюжеты из жизни советской Туркмении.

Вступительная статья Викторина Попова «От дестана к роману» — краткий очерк развития этого жанра в советской туркменской литературе, свидетельствующего о громадном росте культуры туркменского народа.

**ТЮТЧЕВ, Ф. И.** — *Стихотворения*. Ред., вступит. статья и коммент. К. Пигарева. М., Гослитиздат, 1945, 303 стр. 1 вкл. л., портр. — Книга избранных произведений одного из самых значительных русских поэтов XIX века. Творчество Тютчева, художника и мыслителя, знали и ценили многие замечательные люди России: Пушкин и Некрасов, Добролюбов и

Тургенев, Лев Толстой, Валерий Брюсов, В. И. Ленин.

Н. А. Некрасов, анализируя стихи Тютчева напечатанные Пушкиным в 1836 году в «Современнике», относил его «к русским первостепенным поэтическим талантам», произведения которого «каждый любитель отечественной литературы поставит в своей библиотеке рядом с лучшими произведениями русского поэтического гения».

Первый отдел сборника включает лучшее из поэтического наследия Тютчева — его вдохновенные стихи о природе и человеке, его замечательную любовную лирику.

Во второй отдел вошли философские и политические стихи, большинство которых было написано в связи с событиями современной Тютчеву общественно-политической жизни.

Во вступительной статье К. Пигарева дан краткий очерк жизни и творчества поэта.

**ЯШИН, А.** — *Земля богатырей*. Книга стихов. Л., «Молодая гвардия», 1945, 190 стр. — Большую часть сборника составляют фронтовые стихи, написанные на протяжении 1941 — 1944 гг.

Стихи Яшина — говорят о великой миссии русского солдата, о его непобедимости.

Заключающее сборник стихотворение «Русский человек» — гимн советским людям, которые спасли мир от немецкого нашествия.

## ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

**БАЛАБАНОВИЧ, Е.** — *Николай Островский*. Библиографический очерк. Под ред. Н. Клубуновского. М., изд-во Гослитмдзеза, 1945, 70 стр., с илл. — «Писатель должен учить не только своим словом, но всей своей жизнью, поведением», — говорил Н. Островский.

Очерк Е. Балабанович говорит о замечательной жизни писателя-героя, о его благородном и самоотверженном служении родине.

В книге, помимо материалов, уже появившихся в печати, использованы неопубликованные ранее письма, воспоминания и документы из личного архива писателя.

Все эти материалы рисуют образ писателя-борца, говорят о его огромном влиянии на целые поколения советской молодежи.

**ОРЛОВ, А. С.** — *Казахский героически эпос*. М., Л., Изд-во Акад. наук СССР (Академия наук Союза ССР. Научно-популярная серия), 1945, 148 стр. — Это очерк истории казахского героического эпоса, сделанный в материале Института языка, литературы и истории Казахского филиала Академии наук СССР.

Книга содержит характеристики героических казахских былин об Алпамесе-батыре, о Кабланды-батыре, о Ер-Саяне, о Ер-Тархыне, Шура-батыре, о Кавбаре-батыре, о Едыге. Автор утверждает, что героический эпос казахского искусства: «Былины эти... живописны и эмоциональны, взаимоотношения персонажей психологически сложны... Мы находим в этих былинах... реализм, верность бытию — вплоть до жестов... Достоинством повествования казахской героики является и пользование юмором».

Редколлегия: М. М. Розенталь, А. А. Сурков, А. Н. Толстой, К. А. Федин, М. А. Шолохов, В. Р. Щербина (ответственный секретарь).

Редакция: Москва, 6, Пушкинская площадь, 5.  
Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».